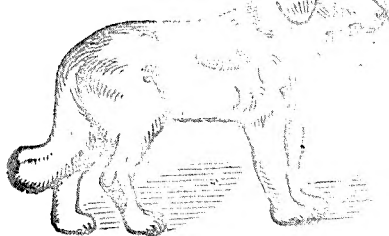




У 381
942



ОРДЫНСКАЯ

КРАСАВИЦА.

Романъ изъ жизни Замоскворѣчья
А. М. Пазухина.



Изданіе А. А. КАСПАРИ.

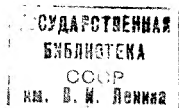


С.-ПЕТЕРБУРГЪ

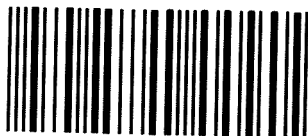
Издательство А. А. Каспари, Лиговская ул., собственный домъ, № 114.

Типографія А. А. Каспари.

С.-Петербургъ, Лиговская улица, собств. домъ, № 114



13309-89



2007064490



ОРДЫНСКАЯ КРАСАВИЦА.

Романъ.

I.

Въ богато убранной, изящной спальнѣ купеческаго дома въ Москвѣ, на Ордынкѣ, сидѣла только что обвѣнчанная купеческая дочка, Марина Григорьевна Ладыжникова, а пылъ супруга первой гильдіи купца Акима Осиповича Лоскутника. Нѣсколько часовъ тому назадъ было совершено ихъ пышное бракосочетаніе; теперь кончился брачный пиръ, и гости собирались по домамъ, чтобы дать покой молодымъ. Изъ зала доносились веселые возгласы подгулявшихъ гостей и звуки оркестра, который, торопясь и сбиваясь съ темпа, наигрывалъ маршъ расходившимся роднымъ и знакомымъ молодымъ, собирая по заведенному обычаю на чай, сколько кто изъ гостей жаловалъ. Гости торопливо допивали послѣдніе бокалы, шумѣли, звонко смѣялись и покидали гостепріимный домъ.

Молодой провожалъ ихъ вмѣстѣ со своей престарѣлой матерью и дядей, замѣнявшимъ ему отца, а молодая уже простилась со всѣми и удалилась въ свою богатую опочивальню. Ея замужняя подруга, пышная красавица, Елена Игнатьевна Трусына, и сваха приняли къ ней, чтобы помочь переодѣнуть вѣнчальный нарядъ на роскошный пенъжаръ изъ брюссельскихъ кружевъ.

Но молодая не торопилась переодеваться. Она сидѣла въ низенькомъ креслѣ-пуфѣ изъ темно-синяго атласа и съ глубокой тоской глядѣла на дорогую обстановку своего новаго жилища. Ея прекрасное лицо было блѣдно, какъ мраморъ, руки безсильно брошены на колѣна, головка съ вѣнкомъ изъ флеръ-д'оранжа опустилась на пышную грудь, гдѣ искрились сотнями лучей брилліанты драгоцѣннаго фермуара. Шатенка, роста немного выше средняго, она была сложена на-диво, и ея рукамъ и шеѣ позавидовала бы любая статуя греческой богини, если

бы въ мраморномъ тѣлѣ статуи могла гнѣздиться зависть. Не парфюмерія, а природа дала роскошнымъ формамъ тѣла ослѣпительную бѣлизну, прозрачность и бархатистую нѣжность. Носикъ съ горбинкой, ротъ, изъ-за красивыхъ губъ котораго сверкали маленькіе, точно перламутровые зубы, темныя брови, задумчивые глаза съ темно-синимъ оттѣнкомъ, овалъ лица, косы шелковистыхъ волосъ — все было прекрасно въ этомъ юномъ, роскошно расцвѣтшемъ созданіи, и недаромъ прозвала ее стоустая молва „Ордынской красавицей“.

На Ордынкѣ она родилась, тамъ выросла и тутъ же вышла замужъ. Но, должно быть, не радовало ея замужество, и не счастье свѣтилось въ прекрасныхъ глазахъ. Въ нихъ блистали сейчасъ слезы, обильно падавшіе на драгоценные брилліанты, спори съ ними въ прозрачности и блескѣ, сверкая и скатываясь на кружева, на цвѣты, на вздымавшуюся грудь.

— Ну, полно, Марина, будетъ тебѣ тосковать! — обратилась къ молодой ея замужняя подруга. — Дѣла теперь не передѣлаешь, и надо покориться. Да и, ей Богу же, твой мужъ — хорошій человекъ. Положимъ, онъ — не красавецъ, не первой молодости, но зато любить тебя безъ ума; кромѣ того онъ — прекрасный дѣлецъ, богачъ, умница. Стерпится — слюбится, Мара, и заживете отлично!

— Не могу, не могу, не могу! — простонала молодая.

— Ахъ, какая ты странная, Марина! Да зачѣмъ же ты шла, если Акимъ Осиповичъ ужъ такъ противенъ тебѣ? Вѣдь не могли же бы тебя насильно отдать за него! Меня вотъ тоже принуждали идти за Сметкина, и грозили, и били, и тиранили, однако я отбилась — таки, поставила на своемъ! Надо бы и тебѣ поступить такъ, а теперь уже поздно!

— Поздно! Господи, какое страшное слово! Поздно! Но не поздно умереть... И я умру... Я не вынесу этого... Я ненавижу Акима Осиповича, боюсь его, онъ отвратителенъ мнѣ! Пусть меня убьютъ теперь, пусть сошлютъ куда нибудь, но я... не хочу быть его женой! О, нѣтъ, нѣтъ, ни за что!

— Господи, что же это будетъ теперь? — проговорила подруга, пожавъ плечами. — Меня вчужѣ страхъ беретъ. Вѣдь это — ужасъ что такое; вѣдь это ты скандалъ на всю Москву дѣлаешь!

— Истинно, что скандалъ! — покачала головой сваха, все время со злобой глядѣвшая на молодую. — Такого жениха я теперь сосватала, первѣйшаго, можно сказать, жениха, и вдругъ такой репримандъ! Надо, должно быть, идти родителю сказать. Григорій Петровичъ потачки не дастъ, живо образумить.

Марина Григорьевна быстро встала. Ея глаза сверкали гнѣвомъ.

— Злая, дурная, нехорошая женщина!—задыхаясь обратилась она къ свахѣ.—Сколько несчастныхъ сдѣлала ты своимъ ужаснымъ ремесломъ! И никакого раскаянія!.. только зло, одно зло!.. Оставь меня, иди!

Сваха удалилась, бормоча что-то подъ носъ.

Елена Игнатьевна взяла молодую за руки, говоря:

— Успокойся, Мариночка! Ты ужъ очень взволнована, такъ и трисеть тебя всю, какъ въ лихорадкѣ. Вѣдь шагъ уже сдѣланъ, ну, и надо покориться своей судьбѣ. Что же дѣлать-то?

— Ахъ, не могу я покориться, не могу! — замомила руки молодая.—Вѣдь это вынне силъ моихъ! Сперва я думала такъ же, какъ ты говоришь: „стерпится, слюбится“,—махнула рукой и пошла. Видѣла, что нехватить у меня силы противиться отцу и перенести его тиранство; какъ люди въ пожарѣ изъ оконъ на улицу бросаются, чтобы не сгорѣть, такъ и я бросилась. А теперь... нѣтъ, лучше ужъ сгорѣть бы! Я видѣть не могу этого мужа своего, голосъ его слышать не могу и... и должна жить вѣкъ съ нимъ. Нѣтъ, не могу!

Молодая быстро сорвала съ себя цвѣты, брилліанты и еще быстрѣй сбросила вѣнчалное платье.

— Глупенькая, что же дѣлать-то?—опять заговорила Елена Игнатьевна.—Вѣдь уже поздно, теперь не веротишь.

— Да, поздно. Иди, Леночка, оставь меня! Я помолюсь.

Трусица покачала головой и вышла. Въ одинъ мигъ молодая достала изъ шкафа и быстро одѣла первое попавшееся платье, накинула подвернувшуюся подъ руку шубку, покрыла голову платкомъ и, сдѣлавъ предъ иконой нѣсколько торопливыхъ поклоновъ, выбѣжала изъ спальни. Она прошла корридоръ и буфетную комнату, гдѣ двѣ бабы мыли цѣлая горы посуды, а затѣмъ прошла въ кухню. Судомойки не обратили на нее никакого вниманія, будучи заняты облизываніемъ тарелокъ съ остатками какого-то кушанья и вѣроятно полагая, что это прошла какая нибудь служанка или бѣдная родственница молодыхъ. Вся остальная прислуга была въ переднихъ комнатахъ, помогая официантамъ убирать столы и провожать гостей. Поэтому Марина Григорьевна, никѣмъ не замѣченная, сбѣжала съ лѣстницы и очутилась на дворѣ, сплошь уставленномъ экипажами.

— Иванъ съ Полянки! Григорій изъ Кожевниковъ! Карета Синяковыхъ!—голосисто кричалъ швейцаръ съ подъѣзда, и то одинъ, то другой экипажъ съѣзжали со двора.

Марина Григорьевна слѣдомъ за экипажами, стараясь быть

въ тѣни, вышла на улицу и спѣшно пошла по троттуару среди собравшейся толпы, глазѣвшей на развѣздѣ. Два-три разбитыхъ парня затронули ее шуточками, какая-то женщина съ удивленіемъ оглянула ее, пораженная щегольски сшитой бархатной шубкой и запахомъ дорогихъ духовъ, которыми пахнуло на нее; стоявшіе въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ дома извозчики предлагали ей услуги, забѣгая впередъ и даже трогая за руки и за полы.

Однако Марина Григорьевна шла, не обращая ни на что вниманіи, все ускоряя шагъ. Она прошла Ордынку и повернула налево, по берегу Отводнаго канала. Тутъ было пустынно и тихо, такъ что Маринѣ Григорьевнѣ стало жутко. Слѣва темной массой стояли заснувшіе дома безъ признаковъ жизни, точно вымерли всѣ ихъ обитатели или заснули заколдованнымъ сномъ. Даже ночныхъ сторожей не было видно, даже собаки не лаяли нигдѣ. Справа мрачно зіяла такъ называемая „Канавка“. За нею далеко-далеко сверкали фонари столицы, и при свѣтѣ ихъ искрились кресты кремлевскихъ соборовъ, а ближе сіялъ при свѣтѣ электрическихъ фонарей величавый храмъ Христа Спасителя. Съ нѣмой мольбою устремила на него взглядъ Марина Григорьевна и все шла и шла, прибавляя шагъ, и уже почти достигла Малаго Каменнаго моста.

Не доходя до него шаговъ сто, она увидала извозчика, одиноко дремавшаго на углу переулка. Извозчикъ, заслышавъ шаги, встрепенулся и спросилъ:

— Подавать, что ли?

Марина Григорьевна вздрогнула и остановилась.

Извозчикъ чмокнулъ на лошаденку и подбѣхалъ къ ней, говоря:

— Подавать, что ли, молъ, барышня? Пожалте!

Извозчикъ былъ очень древній старикъ въ изорванномъ армячишкѣ, въ громадной шапкѣ, изъ-подъ которой глядѣло добродушное лицо съ изжелта-сѣдой бородкой.

— Да, я бы хотѣла поѣхать;—проговорила Марина Григорьевна очень робко и нерѣшительно.

— Пожалте, сударыня. Куда ѣхать-то?

— Въ Ситунь мнѣ надо.

— Въ Ситунь?—протянулъ извозчикъ.—Это въ деревню Ситунь? за Дорогомиловской заставой? Далеко больно, барышня. Да что это тебѣ, на ночь глядя, такую даль ѣхать познанилось? Въ гостяхъ, что ли, гдѣ была?

— Да, въ гостяхъ.

— Ишь ты! Такъ ты бы переночевала, милая.

— Не могла я, дѣдушка, переночевать, не могла. Непременно мнѣ надо ѣхать.

— Ишь ты!—старикъ покачалъ головой, оглядывая Марину Григорьевну.—Молоденькая вовсе, одѣта таково хорошо, а ночью такую даль ѣхать хочешь! А если на лихого человѣка попадешь? Развѣ долго до грѣха? Напрасно ты, милая, напрасно! Можетъ, набѣдокурила что? Убѣгаешь, можетъ, отъ кого?

Марина Григорьевна вдругъ схватилась за пролетку, припала къ ней головой и сквозь слезы проговорила:

— Да, убѣгаю, убѣгаю, дѣдушка. Увези меня, спаси! Я тебѣ заплачу. Я несчастная.

— Вотъ оно что! Отъ кого же ты убѣгаешь-то?

— Отъ мужа.

— Поди-жъ ты! Вѣдь отъ мужа не убѣжишь, онъ тебя отовсюду по закону вытребуетъ. Ишь убивается какъ, сердешная!.. Не плачь, полно убиваться - то! Садись, повезу, что съ тобою дѣлать... Н-но, сивый, трогай!

Марина быстро вскочила въ пролетку и стала жарко молиться на сіявшій куполъ храма Спасителя, моля о прощеніи и спасеніи.

На Большомъ Каменномъ мосту извозчикъ оглянулся къ ней.

— Билъ, что ли, мужъ-то тебя?—спросилъ онъ.

Долго было объяснять, почему молодая женщина бросила свой новый домъ, не живя еще въ немъ, а потому она отвѣтила:

— Да, билъ.

— Злой, стало быть? Бываетъ это, есть изъ нашего брата изверги великіе. Вотъ у насъ, въ деревнѣ, одинъ мужикъ до смерти забилъ жену... Бываетъ это!.. Въ Ситунѣ у тебя мать, что ли, живетъ?

— Кормилица моя тамъ... Любитъ она меня пуще матери.

— Такъ, такъ! А къ матери, къ отцу боишься идти?

— Боюсь.

— То-то вотъ и есть! Дѣло твое не ладно, молодка: вернутъ тебя къ мужу, а онъ еще пуще... Эхъ, бабы, бабы, не сладкое ваше житье, не позавидуешь ему! У меня вотъ дочка такъ-то...

— Убѣжала?—спросила Марина Григорьевна.

— Какъ такъ убѣжала! У насъ не бѣгаютъ; у насъ терпятъ, касатка. Выдавалъ я дочку за хорошаго, а онъ пить сталъ, добро свое расхищать, жену тиранить. Ну, дочка-то моя терпѣла-терпѣла, да и умерла, касатка, второй годъ, какъ умерла.

— Ты любилъ ее, дѣдушка?

— Какъ же родного дитяти не любить-то? Извѣстно, любилъ.

— Такъ почему же ты не заступился за нее? не взялъ къ себѣ?

— Ахъ, ты, несмышляючекъ! Развѣ можно отъ мужа законную жену взять? Женѣ отъ мужа только Богъ—заступникъ. Да... Такъ вотъ и у тебя. Охъ, бабы, бабы!

По улицамъ, почти безлюднымъ теперь, доплелся старикъ до заставы и, миновавъ Дорогомилевское кладбище, поѣхалъ по шоссе.

— Ишь ты, безлюдье-то какое!—указалъ онъ кнутомъ во-кругъ.—На дачахъ теперь никто уже не живетъ—времени осе-нее, глухое, а бездомный бродячій людъ такую вотъ глушь и любить, тутъ лихому человѣку и творить беззаконіе... Хорошо вотъ, что на меня, старика, напала ты, не трону я тебя, а попадись на другого, такъ и до грѣха недолго!

— Можетъ быть, Самъ Богъ помогаетъ мнѣ, дѣдушка; Онъ видитъ, какъ мнѣ невыносимо тяжело,—сказала Марина Григорьевна.

— Можетъ быть, касатка! Можетъ быть, ты и спасешься отъ лихого мужа... Только мудро это! Давно ты замужешь-то? Марина Григорьевна помолчала, а затѣмъ отвѣтила:

— Сегодня въ пять часовъ пополудни обвинчали насъ.

Старикъ такъ и ахнулъ. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но въ это время его лошадка взбѣжала на мостикъ, загромыкала развинченной пролеткой и въѣхала въ деревню Ситунь, гдѣ ее встрѣтили оглушительный лай собакъ.

II.

Вдругъ бѣшено лаявшихъ собакъ отогналъ какой-то мужикъ, вѣроятно исполнявшій ночную стражу, и подошелъ къ пролеткѣ.

— Скажите, любезный, который тутъ домъ Агафьи Пантелеевны?—обратилась къ нему Марина Григорьевна.

— Агафьи Пантелеевны? А вотъ палѣво, четвертый домъ отсюда... Вы изъ города, што ли?

— Да, изъ города.

— А Агафья-то Пантелеевна нѣтъ дома, на свадьбѣ она у питомки своей. Нонѣ ея питомка, богатая купецкая дочка, замужъ выходить.

— Да, я знаю. А сынъ ея дома?

— Это Степанъ-то? Степанъ дома.

Марина Григорьевна поблагодарила мужика и приказала ѣхать.

— Знать, не бывала у кормилки-то у своей?—спросить ее извозчикъ.

— Бывала, да забыла домъ, дѣдушка!.. Не думала, что придется когда нибудь ночью ѣхать.

Вскорѣ извозчикъ подѣхалъ къ указанному дому, кряхтя слѣзъ съ козелъ и постучалъ кнутовищемъ въ окно.

— Кто тамъ?—послѣ нѣкотораго времени раздался звучный мужской голосъ.

— Отпирай, почтенный, гости пріѣхали. Отпирай, молодецъ, не бойся, не воры!

Въ избѣ засвѣтился огонекъ, и черезъ минуту дверь на крылечко отворилась, и всю ея ширину заняла мощная фигура молодого человѣка въ красной ситцевой рубашкѣ. Парень освѣтилъ фонаремъ дорогу и оглядывалъ ночныхъ посѣтителей. Марина Григорьевна сошла съ пролетки и поднялась на лѣстницу.

— Марина Григорьевна!—почти съ ужасомъ воскликнулъ парень, отступая назадъ.—Она и есть... Господи, что же это за оказія такая? Какъ это вы, Марина Григорьевна? Ночь... свадьба нонѣ ваша... Ужъ не привидѣніе ли мнѣ, прости Господи...

— Я—это, Степанъ, я, а не привидѣніе,—грустно улыбнулась Марина.—Вотъ въ гости пріѣхала, прими.

— Пожалуйста, пожалуйста! А матушка моя?

— Матушка у насъ...

Глядя на гостью широко открытыми глазами, Степанъ ввелъ ее въ сѣни, крикнулъ въ лѣтнюю свѣтелку женѣ, чтобы вставала, и торопливо зажегъ въ горнищѣ свѣчу въ желѣзномъ под-свѣчникѣ.

Марина Григорьевна вошла въ горницу, опустилась на лавку, обвела кругомъ глазами и заплакала.

Степанъ остановился у дверей и робко глядѣлъ на нее. Его жена, молодая, красивая женщина, тоже вошла въ горницу и съ выраженіемъ величайшаго недоумѣнія глядѣла на гостью.

— Господи! да вѣдь это — никакъ Марина Григорьевна?—воскликнула она.—Какъ же это она попала къ намъ, Степа?

— Я все, все расскажу вамъ, мои милые,—подняла на нихъ заплаканные глаза Марина Григорьевна,—все расскажу... А теперь дайте мнѣ ради Бога что нибудь... озябла я, трясетъ меня всю... Да отдай, Степанъ, извозчику деньги. Спроси его, сколько ему надо, и отдай!

Жена Степана схватила съ полки самоваръ и бѣгомъ пошла съ нимъ въ избу, а Степанъ отперъ сундукъ, стоявшій подъ одной изъ лавокъ, досталъ кошелекъ и вышелъ на дворъ.

Марина осталась одна, одна со своими думами. А подумать

было о чемъ. Вся жизнь промелькнула предъ нею рядомъ картинъ въ эти минуты тяжелаго раздумья, въ этой тишинѣ, нарушаемой только методическимъ чиликаньемъ сверчка да отдаленнымъ лаемъ сторожевой собаки.

Марина Григорьевна Ладыжникова была дочерью богатаго купца, имѣвшаго обширную оптовую торговлю укупорочнымъ матеріаломъ. Она рано лишилась матери, и ея дѣтство прошло невесело. Домомъ вдоваго Григорія Петровича Ладыжникова управляла его сестра, сварливая старая дѣвица, и не легко было дѣвчкѣ жить подъ властью этой женщины, грубой и жестокой отъ природы и воспитанной въ дикихъ понятіяхъ, по которымъ требовалось давить все, что можно было давить. Она и давила. Отъ ея желѣзной руки терпѣли приказчики, прислуга, а всего болѣе—племянница. Быть можетъ, дѣвушка вышла бы изъ-подъ ферылы своей воспитательницы забитой, обезличенной, но, когда Мариинѣ исполнилось десять лѣтъ, ея тетка умерла, объѣвшись на какомъ-то обѣдѣ непривычной поварской стряпней, отецъ отдалъ дѣвочку учиться въ частный пансіонъ, который содержали двѣ старушки-сестры изъ институтокъ стараго типа. Эти сестры были довольно ограничены, знали мало, но обладали прекраснымъ сердцемъ, и изъ ихъ скромнаго пансіона выходили дѣвушки далеко не съ обширными свѣдѣніями, но мило воспитанныя, вполне благонравныя и немного сантиментальныя. Марину сестры совсѣмъ передѣлали; изъ забитой дѣвочки-буки, робкой, запуганной, необщительной она къ шестнадцати годамъ стала очень милой дѣвицей, скромной, но не дикой, не хватающей звѣздъ съ неба, но кое что знающей, деликатной, приличной и чувствительной. Впрочемъ эту чувствительность регулировала, такъ сказать, школа тетки, которая помѣшала ей обратиться въ глупую, ~~сантиментальность~~. Тяжелая школа тетки сослужила еще и ту службу, что познакомила дѣвушку съ горемъ и научила многому, чему не научить никакая книга.

Григорій Петровичъ объявилъ дочери; что ей науки достаточно, и, взявъ изъ пансіона, показалъ ее роднѣ: какова, молъ, у меня дочка, не слишкомъ ли учена и образована? Родня—старозавѣтные купчихи, воспитанныя на рогожкѣ лѣстовкой, и угрюмые лабазники—нашла, что Марина слишкомъ образована. Ихъ дочери при постороннихъ мужчинахъ поникали головой, отвѣчали: „Да-съ“ и „нѣтъ-съ“ — и хотя одѣвались по модѣ, но выглядывали коровами въ сѣдлахъ, умѣли однимъ пальчикомъ наигрывать на фортепіано „Чижика“ и читали лишь нѣсенники и оракулъ, а Марина, стройная, прекрасно выдержанная, одѣтая со вкусомъ, умѣла ловко войти, отвѣчать безъ

смѣшныхъ ужимокъ и застѣнчивости, держала себя вполне прилично и скромно, мило и свободно, читала довольно много и бойко разбирала ноты.

— На барышню больно смахиваетъ, а это по нашему мѣсту не рука!—рѣшилъ совѣтъ родныхъ. — Ес, по ухваткамъ-то ея, надо выдать за щеголя во фракѣ, анъ у тебя, Григорій Петровичъ, кругъ твой изъ рогожниковъ состоитъ. Опять же съ модой-то этой до грѣха недолго — живо какой нибудь карамболь устронть, или съ офицеромъ убѣжить.

— Я перефасону!—рѣшилъ родитель и сталъ „перефасонивать“.

Марину засадили за пяльцы, ея книги выбросили, приобрѣтенное было фортепіано заперли, къ воспитательницамъ ходить не приказали, а за каждое проявленіе воли „учили“... Это „ученіе“ состояло въ томъ, что родитель грозно бранилъ дѣвушку, грозилъ спустить шкуру и увозилъ послѣ этого на послушаніе къ старухѣ-бабкѣ, начетчицѣ на Преображенскомъ раскольничьемъ кладбищѣ. Тамъ дѣвушку одѣвали въ послушническое платье, заставляли отбивать поклоны и для острастки били на ея глазахъ ременной лѣстовкой послушницъ изъ простыхъ.

Марина „сократила“ сама себя, какъ выражалась ея кормилица Агафья Пантелеевна, любившая свою питомицу наравнѣ съ родными дѣтьми: она ушла сама въ себя, какъ улитка уходитъ въ раковину. Не велѣли читать—она въ тиши своей комнаты вспоминала прочитанное и продолжала въ воображеніи повѣсть того или другого автора, передѣлывала ее и заставляла ея героевъ поступать такъ-то и такъ-то, и думала, что изъ этого должно выдти. Ей запретили съ кѣмъ бы то ни было видѣться, кромѣ нечасто пріѣзжавшихъ родственниковъ — она замѣняла бесѣду съ людьми бесѣдой съ самой собою и напряженно думала о сотняхъ вопросовъ, которые задавалъ пытливый умъ, тронутый образованіемъ. Дѣвушка сдѣлалась сосредоточенна и молчалива. Потомъ она стала грустить, и въ ея юной душѣ начинали назрѣвать недовольство жизнью, неудовлетворенность ею. Часто приходило на умъ: „Зачѣмъ жить? Что выйдетъ въ концѣ концовъ?“. Слыхала она, что любовь даетъ извѣстную долю счастья, но о любви не могло быть и рѣчи при такой обстановкѣ. Вывозили иногда дѣвушку на вечера, на свадебные балы; она встрѣчала тамъ мужчинъ, но ни одинъ изъ нихъ не могъ внушить ей какое нибудь чувство.

— Дозвольте васъ просить на вторую кадрили-съ!—подлеталъ къ ней на такихъ балахъ завитой балбесъ съ выраже-

ниемъ тупого довольства на упитанномъ лицѣ, и Марина шла танцовать.

Иной кавалеръ упорно молчалъ, обтирая обильный потъ съ раскраснѣвшагося лица; другой занималъ разговорами, получивъ откуда-то смутное понятіе о свѣтскомъ обращеніи, но это было еще болѣе невыносимо, нежели упорное молчаніе перваго. Разговоръ только утомлялъ и раздражалъ дѣвушку, жаждавшую услышать что нибудь новое, живое и лишь истязуемую вопросами вродѣ: „Васъ какъ зовутъ-съ? Вамъ который годъ-съ? Вы какой цвѣтъ болѣе обожаете — желтый или розовый - съ? Вамъ нравится намѣ визави или нѣтъ-съ?“.

Къ концу бала дѣвушка замѣчала, что ея кавалеры и ихъ пріятели становились развязнѣе, ихъ лица краснѣли, а болтающіе всякій умопомрачительный вздоръ рты издавали запахъ вина.

„Неужели возможно полюбить такихъ и найти въ этомъ счастье?“—думала дѣвушка и отвѣчала сама себѣ отрицательно.

Подруги Марины выходили замужъ. Сколько было радостей у этихъ „счастливицѣвъ“, какъ ихъ называли тогда, сколько восторговъ!

„Вотъ, гдѣ, должно быть, счастье!—думала Марина:—въ замужествѣ, въ той свободѣ, которая получается тогда въ своей семьѣ“.

Но—увъ!—черезъ очень короткій промежутокъ времени вышедшія замужъ подруги говорили:

— Ахъ, какая ты счастливица, Марина!.. ты—дѣвушка, ты—свободна!..

— А вы?—спрашивала Марина.

Одна отвѣчала на это, что ее поѣдомъ ѣсть свекровь; другая говорила, что ея мужъ только и знаетъ, что кутить и пьянствовать, а ее совсѣмъ бросилъ; третья наконецъ говорила, что у нея мужъ оказался совсѣмъ-таки извергомъ и бьетъ ее, какъ рабу, какъ вьючное животное.

Хорошенькая, бойкая Елена Игнатьевна Трусина, учившаяся когда-то вмѣстѣ съ Мариной, но удаленная изъ пансіона высоконравственными сестрами-воспитательницами за чрезчуръ сангвиническій темпераментъ, выйдя замужъ, говорила Маринѣ, что она счастлива.

— Въ чемъ же состоитъ твое счастье?—спрашивала Марина.

— Въ свободѣ, душечка... Я, какъ птица, свободна, что хочу, то и дѣлаю!.. Мужъ у меня дуракъ-дуракомъ, а отъ власти его родныхъ я отбилась и его съ ними поссорила. Очень мнѣ нужно имъ подражать! Я сама богата, я двѣсти тысячъ съ собою принесла!.. Какъ хочу, такъ и живу!.. Сперва было

мамаша сдерживала меня—вотъ какъ школила, а теперь мнѣ мамаша—пустякъ, потому я—дама. Захочу, такъ мамашин и на порогъ не пушу; пусть только попробуетъ хоть разъ тронуть..

— Какъ же ты пользуешься своей свободой, Леля?

— А вотъ какъ: во-первыхъ, мы съ подругами страхъ какъ веселимся и даже, вообрази себѣ, два раза шампанскимъ напивались!.. Во-вторыхъ, я чуть не каждый день въ гостяхъ; въ-третьихъ, въ меня офицеръ влюбленъ, прелесть, какой хорошенькій офицеръ, и мы съ нимъ одинъ разъ... ха-ха-ха!.. одинъ разъ на тройкѣ катались!

— А мужъ?

— Я же тебѣ говорю, что онъ у меня дурачекъ и влюбленъ въ меня при этомъ. Сидитъ себѣ въ лавкѣ, а я веселюсь во всю ночь!

— Тебѣ не жаль его?

— Нисколько! Я вышла за него потому, что видѣла, что онъ—дурачекъ и влюбленъ въ меня. Если бы за умнаго вышла—той воли не было бы.

Маринѣ казалось, что счастья въ такой жизни немного. Наконецъ одна изъ ея родственницъ, которая была замужемъ шесть лѣтъ, говорила ей, что она—счастлива. Марина какъ-то спросила у нея, чѣмъ она счастлива.

— Дѣтьми счастлива!—отвѣтила эта родственница. — Двое ихъ у меня, и въ нихъ все мое наслажденіе; имъ отдаю я всю свою жизнь.

Счастье быть матерью надо испытать, а потому понятіе о счастьѣ этой женщины не вполне усваивалось Маришею. Тѣмъ не менѣе идея быть матерью когда нибудь нѣсколько мирила ее съ жизнью, и она уже безъ ужаса стала помышлять о томъ днѣ, когда ее позовутъ въ парадныя комнаты, покажутъ незнакомаго ей мужчину и скажутъ, что этотъ мужчина—ея женихъ, а черезъ нѣсколько времени будетъ ея мужемъ.

Этотъ день не замедлилъ придти. Сперва въ домъ Ладыхниковыхъ ходила сваха и вела продолжительныя бесѣды съ отцомъ; потомъ Маринѣ объявили, что ее пріѣдетъ смотрѣть женихъ и что она должна одѣться особенно тщательно и вести себя такъ-то и такъ-то.

— Смотрѣть?—спросила она у свахи.

— Да, милушка, сегодня смотрѣть пріѣдутъ.

— Развѣ онъ не видалъ меня никогда?

— Одинъ разъ въ церкви видѣлъ и весьма влюбился. „Не надо,—говорить,—мнѣ ни приданаго большаго, ни денегъ, а желаю,—говорить,—взять ее за себя, въ чемъ есть и съ чѣмъ отпустить“.

— Какъ же онъ можетъ желать этого, если не знаетъ, какая я? Можетъ быть, я—дура, злая, дурная во всѣхъ отношеніяхъ?

— А вотъ для этого онъ и ѣдетъ смотрѣть, милая.

— А если я ему не понравлюсь?

— Ой, полно, милая!.. Развѣ можетъ такая картинка не понравиться? Говорю тебѣ, онъ влюбленъ!

— Ну, а если ему не понравится мой характеръ, мои взгляды?

— Ну, можетъ, что не по мыслямъ и кончено дѣло!

— И, по-вашему, не оскорбительнъ для меня и для папаша такой смотръ?

— И полно, голубка!.. Это по-вашему, по-пансіонному, оскорбительно, а, по-нашему, по-старинному, ничего... Одѣвайся-ка, краля, приготовляй себѣ, да смотри, не ударь лицомъ въ грязь!

Марина одѣлась и вышла. Лоскутниковъ не понравился ей, даже противнымъ показался, и она сказала объ этомъ отцу. Однако послѣдній и весь сникнуть родни вознегодовали. Женихъ былъ богатъ и бралъ безъ всякихъ обязательствъ со стороны отца невесты.

— Что дадите за вашей дочерью, то и возьму, хоть такъ одинъ мѣдный!—говорилъ онъ, и вдругъ невестѣ такой женихъ не нравился, не нравится такая очевидная выгода, при которой возможно смѣло рассчитывать на двадцать тысячъ экономіи.

— Все пансіонъ виноватъ!—резюмировали родные длинный рядъ обвиненій Марини.—Все онъ дѣвченку испортилъ... Поди, ей теперь офицера съ эполетами подавай, или барина какого, а надлежащій женихъ ей, вынь ты, не нравится.

— У меня понравится!—сурово промолвилъ родитель и приказалъ позвать дочь.—Вотъ что, Марина,—сказалъ онъ,—мы вотъ сообща порѣшили, что лучшаго жениха нигдѣ и никогда не найти, а потому я тебя за него выдаю, а если онъ тебѣ не нравится, такъ это пустое. Нравится онъ тебѣ или нѣтъ, это все равно, ты должна понимать надъ собою родительскую волю. Завтра мнѣ некогда, потому что на веревочное заведеніе поѣду, а вотъ послѣзавтра и богомолье сдѣлаемъ, по рукамъ, стало быть, ударимъ. Вотъ тебѣ мой сказъ и чтобы возраженій съ твоей стороны никакихъ! Я съ мастеромъ новаго образца веревку придумалъ, завтра она въ первый разъ изъ станка выйдетъ; эта веревка для укуорки предназначена, однако весьма способна и для иного чего; такъ ты это помни.

Дѣвушка не возражала и въ день богомолья отдала свою руку нелюбимому жениху. Она утѣшала себя мыслью, что обязанности жены и хозяйки дома, а потомъ и матери вознагра-

дять се за ту жертву, которую она принесетъ отцовскому деспотизму.

Женихъ сталъ ѣздить почти каждый день и все болѣе отдалялъ себя отъ невѣсты; каждый день пропасть между нимъ и дѣвушкой становилась все больше и больше, а невозможность сдѣлать шагъ назадъ все увеличивалась и увеличивалась. Если дѣвушка не нашла въ себѣ силы въ первый разъ объявить роднымъ, что ей этотъ женихъ не нравится, что она не пойдетъ за него, то тѣмъ болѣе это было трудно теперь, когда всѣ приготовления къ свадьбѣ были сдѣланы, когда многочисленныя родные и знакомые были уже извѣщены о днѣ свадьбы, когда женихъ уже оуѣлалъ новый домъ для будущей супруги. Марина растерялась. Она шла впередъ точно съ закрытыми глазами, зная, что ее ждетъ нѣчто ужасное, но вернуться назадъ тоже было невозможно: тамъ что-то еще ужаснѣе. Поэтому лучше впередъ; пусть будетъ то, что Богъ дастъ!

III.

Трудно было бы Маринѣ объяснить, чѣмъ именно ей такъ противенъ ея женихъ. Акимъ Осиповичъ Лоскутниковъ былъ очень недурень собою, обладалъ мягкими манерами и вкрадчивымъ голосомъ, выглядывалъ приличнымъ, чистенькимъ и сулилъ невѣстѣ блаженство. Но именно эти манеры, его костюмъ съ претензіями на франтовство и всѣ его рѣчи были несказанно противны дѣвушкѣ. Безцвѣтные глаза Акима Осиповича, холодные, безъ выраженія или съ выраженіемъ подавленной ненависти почти ко всему человѣчеству, производили невыносимо тяжелое впечатлѣніе. Но всего болѣе ей былъ ужасенъ его взглядъ на людей, которыхъ онъ дѣлилъ всего лишь на двѣ категоріи: богатыхъ и бѣдныхъ. Последнихъ онъ видимо вовсе не считалъ за людей и прямо-таки мѣрилъ человѣческое достоинство капиталомъ.

— Это кто вотъ этотъ старичекъ? — спросила Марина жениха про одного его родственника, пріѣхавшаго на сговоръ и уныло забившагося въ уголъ, откуда онъ поглядывалъ на гостей добрыми, симпатичными глазами.

— Такъ-съ, ничтожная личность. Родственникъ нашъ, бѣдный человѣкъ.

— Онъ, кажется, такой добрый, хорошій.

— Ничего хорошаго нѣтъ-съ, помилуйте!.. Живетъ приказчикомъ и получаетъ сто рублей въ годъ! Ха-ха-ха!.. Вотъ у него племянникъ есть, такъ тотъ дѣйствительно хорошій господинъ: былъ въ приказникахъ у одного миллионера, десять

тысячъ въ годъ получалъ и теперь свою фабрику имѣть, на богачкѣ женился. Только довокъ ужъ черезчуръ: хозяина-то почти вконецъ разорилъ.

И все въ такомъ родѣ.

Это раздѣленіе людей на хорошихъ и нехорошихъ сперва очень занимало дѣвушку:

„Какъ же такъ? — думала она, — неужели тотъ только и хорошъ, кто много денегъ имѣетъ? Это что нибудь да не такъ!“.

Чѣмъ дальше она думала, тѣмъ болѣе убѣждалась, что это именно не такъ, а убѣдившись въ этомъ, невольно съ негодованіемъ посмотрѣла на своего жениха, и его нравственный портретъ показался дѣвушкѣ особенно непригляднымъ. Но она все еще не имѣла силы оттолкнуть его, объявить во всеуслышаніе, что она ненавидитъ его, что онъ гадокъ ей, что она не хочетъ быть его женою. На послѣднемъ предсвадебномъ пиру она чуть-чуть не поднялась со своего мѣста и не крикнула: „Не хочу я идти за этого человѣка! Не пойду я за него!“. Но, точно кто нибудь сдавилъ ей горло и слова не шли съ языка. Ей только сдѣлалось дурно и ее унесли изъ зала, объяснивъ обморокъ слишкомъ крѣпкой шнуровкой.

Насталъ и день свадьбы.

Марина Григорьевна не помнила, какъ провела время до вѣнца, какъ ее одѣвали, посадили въ карету и повезли къ вѣнцу. Она точно въ чадѣ какомъ-то была все это время и дѣйствовала, какъ автоматъ. Но подъ вѣнцомъ она почувствовала сознаніе глубокаго несчастья, безысходнаго горя.

Вѣроятно подобное чувство испытываетъ человѣкъ въ летаргическомъ снѣ. Онъ все чувствуетъ, все понимаетъ. И вотъ его кладутъ въ гробъ, несутъ въ церковь и совершаютъ надъ нимъ обрядъ отпѣванія. Вотъ-вотъ допоютъ послѣднія молитвы, и все кончено—онъ оторванъ отъ міра и сейчасъ его опустятъ въ могилу.

Такъ было и съ Мариной. Каждый отдѣльный актъ глупства точно обрывалъ у нея что-то внутри, и она чувствовала, что все больше и больше принадлежитъ стоящему рядомъ съ нею человѣку, который съ видомъ величайшаго самодовольства глядѣлъ кругомъ, отводя иногда взоръ отъ толпы, чтобы поглядѣть то на невѣсту, то на крупныя, игравшія лучами солнца брилліантовые запонки своей сорочки, занимавшія его вѣроятно не менѣе, если не болѣе, жены. Жену-то такую пожалуй можно было добыть въ Москвѣ и еще, ну, а за запонки онъ ручался: брилліанщикъ сказалъ ему, что подобныхъ въ Москвѣ нѣтъ ни по цѣнѣ, ни по достоинству.

Марина понимала это, точно читая мысли на лицѣ жениха. А священный обрядъ шелъ своимъ чередомъ. Обручили вѣнчающихся, обвели вокругъ аналая:

— Поцѣлуйте!—сказалъ священникъ.

Ледяными устами прикоснулась новобрачная къ улыбающимся губамъ своего мужа.

„Все кончено теперь!“—точно какой-то голосъ сказалъ ей.

Она обвела толпу гостей безучастнымъ взглядомъ и нигдѣ, ни въ чьихъ глазахъ не прочла участія, не нашла сочувствія своему положенію. Ее оглядывали то любовными, то удивленными глазами.

Одна только пара глазъ обратила на себя вниманіе новобрачной и потомъ приковала къ себѣ ея взглядъ, пара темныхъ, задумчивыхъ глазъ съ выраженіемъ грусти и даже тоски. Эти глаза принадлежали какому-то молодому человѣку, одѣтому очень просто и стоявшему почти позади всѣхъ, около входной арки храма. По костюму это былъ даже вѣроятно и не приглашенный на свадьбу, а одинъ изъ немногочисленныхъ зрителей бракосочетанія, допущенныхъ по протекціи церковнослужителей. Онъ стоялъ, прислонившись къ колоннѣ храма, и глядѣлъ на молодую своими красивыми, печальными глазами, и эти глаза чуть не сверкнули, когда встрѣтились съ глазами Марины. Въ это время къ ней подошелъ кто-то изъ новой родни съ поздравленіемъ и загородилъ молодого человѣка, и послѣ уже Марина не видала его, только печальные глаза мерещились ей и въ каретѣ по дорогѣ домой, и во время брачнаго стола, и особенно тогда, когда мужъ цѣловалъ ее, поощряемый шумными возгласами гостей: „Горько!“.

Когда кончился пиръ, когда ей надо было идти въ опочивальню, Марина уже рѣшила уйти, убѣжать. Куда? Она не знала этого и не думала объ этомъ, но рѣшила уйти, и, приведя эту мысль въ исполненіе, уже на дорогѣ рѣшилась идти къ своей кормилицѣ, зажиточной крестьянкѣ деревни Ситунь. Сама кормилица пиновала на свадьбѣ своей питомки, нѣжно любимой и жалѣемой. Она, быть можетъ, и подмѣтила чувства Марины къ жениху, но ничего не говорила объ этомъ, а только особенно нѣжно ласкала ее всѣ эти дни, гостила у нея въ Москвѣ и поплакала, провожая къ вѣнцу. Марина знала, что на груди старой кормилицы она можетъ выплакать свое горе, а потомъ... Она не знала, что будетъ потомъ.

Молодой проводилъ послѣднихъ гостей, до крыльца проводилъ тестя, приказалъ развести по особымъ комнатамъ особенно упившихся родственниковъ и родственницъ, пожелалъ по-

койной ночи матери, очень сурового вида старухѣ, пожалъ руку дядѣ, компаньону по дѣлу, и сіяющій направился къ женѣ, переѣбнвъ фракъ на роскошный атласный халатъ. Онъ дошелъ до спальни и отворилъ дверь. Его лицо сіяло улыбкой полнаго самодовольства. Онъ чувствовалъ себя и красивымъ, и богатымъ, и любимымъ, даже боготворимымъ: вѣдь онъ такъ великодушно поступилъ съ приданнымъ и наконецъ онъ такъ уменъ, что его невозможно не любить и не преклоняться предъ нимъ. Ослабленный такими чувствами, Акимъ Осиповичъ не могъ замѣтить, что Марина не любитъ его и даже ненавидитъ; онъ весь былъ проникнутъ сознаніемъ своего величія.

Въ спальнѣ былъ мягкій полусвѣтъ отъ матовыхъ колпаковъ на свѣчахъ и отъ темно-синяго фонарика на потолкѣ.

— Марина, вы здѣсь?—нѣжно спросилъ молодой, притворивъ за собой дверь и онутивъ бархатную портьеру.

Отвѣта не послѣдовало, комната была пуста. Молодой съ удивленіемъ оглянулся кругомъ. Вотъ брошено на стульяхъ вѣщальное платье со множествомъ цвѣтовъ; вотъ сверкаютъ на столкѣ изъ розоваго дерева брилліанты.

Акимъ Осиповичъ сѣлъ на кресло и почесалъ затылокъ.

„Придетъ!“—рѣшилъ онъ, оглядывая свою нарядную фигуру въ трюмо.

Посидѣвъ онъ зѣвнулъ и взглянулъ на тихо тикавшіе часы на каминѣ. Было сорокъ минутъ третьяго.

„Однако это скучно,—подумалъ молодой.—Это у нихъ тамъ какіе нибудь обычаи замоскворѣцкіе. Я ихъ выведу. Надо будетъ жену по-современному образовать да родню ея турнуть. Одно невѣжество только, глупость. Жить не умѣютъ“.

Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ. Ему захотѣлось покурить, а папиросы остались въ его комнатѣ.

„Совсѣмъ глупое положеніе!—опять подумалъ онъ.—Вотъ уже три часа. Она съ Еленой Игнатьевной, тары-бары идутъ. Глупо и тово, дико, не по-барски все это. Я эту бабенку отучу отъ дома“.

Въ эту минуту изъ сосѣднихъ комнатъ раздался звонкій голосъ Елены Игнатьевны Трусинной. Она переговаривалась съ матерью молодого, вѣроятно оставившей се ночевать.

— Пѣтъ, Лукерья Федоровна, ни за что не останусь!—выкрикивала вѣтрена красавица.—Если бы еще мужу сказала—то туда-сюда, а вѣдь я общала ему черезъ четверть часа прѣхать, сердиться на меня будетъ, ну его. Не боюсь, говорите? Бояться не боюсь, а все же. Вѣдь онъ моей мамашѣ будетъ жаловаться. Прощайте, Лукерья Федоровна, Маришу по-

цѣлуйте! Скажите, чтобы завтра конфетъ больше привозила мнѣ съ визитомъ.

До слуха молодого долетѣли поспѣшные шаги шаловливой барыньки, а потомъ трескъ колесъ отъѣзжавшаго экипажа.

Акимъ Осиповичъ безпокойно и растерянно оглянулся кругомъ.

— Гдѣ же однако Маринка? — вслухъ проговорилъ онъ и пошелъ изъ комнаты въ корридоръ.

Лакей, несшій изъ зала какую-то посуду, посторонился и съ удивленіемъ поглядѣлъ на молодого.

— Гдѣ Маринка Григорьевна? — чуть было не спросилъ у него Акимъ Осиповичъ, но только поглядѣлъ на него и пошелъ дальше.

Въ залѣ кончали уборку официанты, шепоткомъ переругиваясь и стараясь не стучать и не шумѣть. Акимъ Осиповичъ поглядѣлъ на нихъ и вернулся назадъ.

„Гдѣ же Маринка?“ — уже совсѣмъ тревожно подумалъ онъ, не зная, куда идти, и чувствуя, что его положеніе смѣшно и неловко.

— Гдѣ эта... сваха? Спиридоновна эта? — спросилъ Лоскутниковъ лакея, и ему страшно захотѣлось услышать отвѣтъ: „Она съ вашей супругой“.

Но лакей отвѣтилъ не то.

— Сваха-съ? Она уѣхала-съ, — сказалъ онъ.

— А горничная Маринка Григорьевна?

— Она въ своей комнатѣ-съ. Рядомъ съ уборной вашей супруги ея комната. Дѣвушка вѣроятно уже легла.

Акимъ Осиповичъ совсѣмъ растерялся. Онъ постоялъ одну минуту, а потомъ быстро пошелъ по корридору и поднялся наверхъ, въ комнаты матери. Старуха раздѣвалась при помощи пожилой служанки, ея наперсницы и фаворитки. Увидавъ вошедшаго сына, она накинула на плечи платокъ и съ удивленіемъ поглядѣла на него.

— Что ты, Акимушка?

— Я... Гдѣ же Маринка, маменька? Ея нѣтъ нигдѣ, — проговорилъ молодой.

— Что-о? Какъ нѣтъ?

— Нѣтъ. Я жду; думаю — она со свахой, съ Трусинной, а ея нѣтъ. Маменька, да что же это такое? Это вѣдь, маменька, ужасъ что такое! Гдѣ же она, маменька?

Смертельная блѣдность покрыла лицо родовой старой купчихи, благочиніе и честь дома для которой были дороже всего. Увы, благочиніе было уже нарушено, а честь была на волоскѣ.

— Какъ нѣтъ? Что такое? Гдѣ же она? — едва слышно проговорила старушка.

— Нѣтъ, маменька!

— Дуракъ! затвердиль одно слово. Анна, поди, погляди.

Служанка, какъ спугнутая мышь, пырнула изъ комнаты.

— Какъ же нѣтъ? Гдѣ же она?—обратилась Лукерья Федоровна къ сыну.

— Нѣтъ. Я пришла, а ея нѣтъ.

— Господи, неужели же? — прошептала Лоскутникова, съ мольбою взглянувъ на образа въ серебряныхъ и золоченыхъ ризахъ.

— Вы что же думаете, маменька?—испуганно спросилъ сынъ.

— Убѣжала.

— Какъ убѣжала? Куда убѣжала?—воскликнулъ молодой.

— Я почему знаю, куда она убѣжала? Къ батюшкѣ своему вѣроятно, а, можетъ быть, къ дружкѣ своему. Къ отцу убѣжить—не приметъ онъ, изобьетъ. Стало быть, дружокъ есть.—Старуха схватилась за голову.—Господи, да что же это такое? За что такой позоръ моему дому незапятнанному? А все ты, ты все!—накинулась она на сына.—Красавицу взялъ, въ пансіонѣ образованную, вотъ она и покажетъ тебѣ образованіе свое!

— Это еще дѣло нерѣшенное. Можетъ быть, она и не думала убѣгать?

— Гдѣ же она? Подъ кровать, что ли, спряталась? Ты о себѣ очень много понимаешь, а другіе-то видѣли, какъ она отъ тебя носъ воротила; немало и я насмѣшекъ подмѣчала надъ женихомъ... Ну, что?—быстро и тревожно обратилась старуха къ вошедшей служанкѣ.

— Нигдѣ нѣтъ, матушка Лукерья Федоровна; всѣ углы я перешарила, словно иголку искала!

Самодовольное лицо Акима Осиповича приняло теперь выраженіе и боли, и тоски, и страха. Онъ сѣлъ на стулъ, сгорбился какъ-то и съ тупымъ отчаяніемъ глядѣлъ на мать. Старуха стиснула руки и стояла безмолвная, неподвижная.

— А что, Лукерья Федоровна, была у нея въ приданомъ бархатная шубка на пуху, расхожая?—спросила служанка.

— Была.

— Нѣтъ ея въ гардеробѣ, а гардеробъ раскрытъ стоитъ. Убѣжала, окайнная, убѣжала! Ахъ, что она надѣлала-то!

Служанка непритворно прониклась горемъ и заплакала. Эти слезы показали молодому его положеніе въ истинномъ свѣтѣ, и рядомъ картинъ мелькнули предъ нимъ сцены предстоящаго позора. Завтра весь городъ будетъ знать объ этой исторіи; онъ погибъ, онъ опозоренъ!

Акимъ Осиповичъ схватился за свои напomaженные п' завитые волосы и, рванувъ ихъ изъ всѣхъ силъ, простоналъ:

— Маменька, я пропалъ, я руки на себя наложу!

— Не дури!—сурово остановила его мать.—Ты на себя руки налoжишь, а мать, а дядя, а домъ Лоскутниковыхъ? Не руки надо накладывать на себя, а обдумать все! Поди, разбуди дядю и пошли его къ отцу этой... негодяйки; пусть тотъ ищетъ, гдѣ знаетъ, и привезетъ хоть живую, хоть мертвую. Она мой домъ только мертвой можетъ оставить безъ позора для меня. Скажешь это дядѣ, а самъ иди спать и завтра утромъ объяви, что жена больна. Вотъ Анна ходитъ за нею, за больной, будетъ. Доктора пригласимъ и... и купимъ его, чтобы молчалъ, чтобы говорилъ о ней, какъ о больной.

— Поздно, матушка, Лукерья Федоровна, поздно, голубушка вы моя!—сквозь слезы проговорила служанка.—Вся прислуга уже знаетъ и говоритъ...

— Ты... ты разболтала?—зашипѣла на нее старуха.

— Боже меня сохрани! Лакен видѣли, какъ Акимъ Осиповичъ по корридору ходили и искали жену.

— Все пропало!—простонала старуха и почти упала въ кресло.—Ступай, дуракъ, къ дядѣ, распутывай, расхлебывай свое дѣльце! Ха-ха-ха! Съ новобрачной поздравляю, съ супругой!..

Старуха захохотала, заплакала, опять захохотала, и съ нею сдѣлалась сильнѣйшая истерика.

Растерянно посуетился по комнатѣ молодой и выбѣжалъ, бросившись на половину дяди.

Черезъ полчаса весь домъ былъ на ногахъ, и отъ мезонина, занимаемаго старухой, до подвального этажа съ кухней все говорило о пропажѣ молодой, толкуя вкривь и вкось, прибавляя и сочиняя различныя небылицы.

Дядя Акима Осиповича спѣшно одѣлся, приказалъ заложить лошадь и помчался къ отцу Марины Григорьевны.

IV.

Невеселое утро наступило въ домѣ Лоскутниковыхъ на другой день послѣ свадьбы. Всѣ ходили на ципочкахъ, разговаривали шепотомъ, точно въ домѣ былъ покойникъ или тяжело больной. Фактъ бѣгства молодой былъ извѣстенъ уже всѣмъ, и слухъ объ этомъ перешелъ границы дома, сдѣлался достояніемъ улицы.

Въ комнатахъ Лукерья Федоровна собрался домашній совѣтъ. Въ глубокомъ креслѣ у окна сидѣла Лукерья Федоровна съ компрессомъ на головѣ. Поодаль отъ нея, на диванѣ, си-

дѣлъ отецъ Марины Григорьевны. Это былъ высокій старикъ съ длинной сѣдой бородой, съ угрюмымъ лицомъ, съ выраженіемъ какого-то жестокаго презрѣнія въ темныхъ глазахъ. Въ своемъ длинномъ сюртукѣ онъ походилъ на суроваго монаха, давно покинувшаго міръ и только презирающаго его въ своихъ воспоминаніяхъ. Нелюдимъ, несообщителенъ, грозенъ и немилостивъ былъ всегда Григорій Петровичъ въ глазахъ всѣхъ, кто его зналъ, теперь же онъ казался особенно мрачнымъ и суровымъ. Изъ угла въ уголъ комнаты ходилъ торопливыми шагами дядя опозореннаго молодого, Иванъ Борисовичъ, учитель племянника въ коммерческомъ дѣлѣ и теперь его компаньонъ.

Иванъ Борисовичъ одѣвался по модѣ и очень щеголевато, говорилъ нѣсколько свысока, старался сдѣлать свою рѣчь цвѣтистой, но, достигая этого, становился иногда непонятнымъ отъ изобилія иностранныхъ словечекъ, которыя онъ употреблялъ очень часто неумѣло. Иванъ Борисовичъ, родной братъ отца Лоскутникова, поразстратилъ свое состояніе и, состоя теперь компаньономъ племянника, дорожилъ этимъ, и хотя племянника иногда третировалъ, но его матери побаивался и старался ей угодить всѣми силами. Онъ былъ холостъ и, несмотря на свои сорокъ семь лѣтъ, молодился и старался слѣдить за женихомъ. Въ дѣлѣ коммерческомъ онъ былъ не ахти какой мудрецъ, но имѣлъ способность показать себя большимъ знатокомъ и дѣльцомъ, во всякомъ случаѣ смысла гораздо больше племянника, занятаго только самимъ собою.

Племянникъ теперь чувствовалъ себя какъ будто виноватымъ и безъ обычнаго самодовольства пріютился на стулѣ около матери, сосредоточенно грызя ногти и прислушиваясь къ рѣчамъ дяди.

— Итъ-съ, почтеннѣйшій Григорій Петровичъ, ваше предложеніе не выдерживаетъ критики! — сказалъ Иванъ Борисовичъ, быстро ходя и подпрыгивая на-ходу. — Гм... Вы предлагаете сдѣлать публикаціи для розысковъ вашей дочери, чтобы, найдя ее, водворить, какъ вы выражаетесь, въ нашемъ домѣ. Это нельзя-съ! По моему убѣжденію, теперь между нею и моимъ племянникомъ все разорвано-съ! Кончено дѣло-съ!

— А, по-моему, не кончено! — угрюмо возразилъ старикъ. — Я сужу по-русски, по-старинному. Что Богъ соединилъ, то человѣку разъединять не положено! Убѣжала—найди ее, спусти съ нея десять шкуръ, и пусть живетъ у мужа... хоть послѣдней судомойкой, да у мужа. Опять убѣжитъ—опять найди, опять издомай ее и опять водвори. Пустьдохнетъ подъ налками въ домѣ мужа. Вотъ какъ, по-моему!

— Да-съ! Ну, а позоръ, который она нанесла? Развѣ вы

сможете этот позоръ побоями? Развѣ наше поруганное реноме поправится отъ того, что съ нея будетъ десять шкуръ спущено?

— Вотъ за позоръ-то ее и казни.

Старикъ всталъ.

— Я съ вамъ, роденька новая, разговаривать объ этомъ дѣлѣ не желаю, вотъ что!—сказалъ вдругъ Ладыжниковъ.—До вчерашняго дня Маринна была моя дочь, а со вчерашняго дня жена купца Лоскутникова; пусть купецъ Лоскутниковъ и дѣлаетъ, какъ знаетъ, а мое дѣло—сторона. У меня изъ дома она не бѣгала, а если изъ вашего убѣжала, значитъ, ваша и вина въ томъ, вы и дѣлайте, какъ въ вашихъ мысляхъ лучше.

— Но вѣдь вы—отецъ ея? Вѣдь вы...

— Знаю, что отецъ! Я ее возрастилъ худой ли, хорошей ли, вы ее взяли не ночью, а обычнымъ порядкомъ, стало быть, я теперь—сторона.

— Да вѣдь она—дочь ваша!—крикнулъ Иванъ Борисовичъ.

— Ты, купецъ, не кричи—въ крикѣ толка мало, я и самъ могу крикнуть, да еще громче твоего, вотъ что! Говорю тебѣ, что была у меня дочь, а теперь эта дочь—вотъ его жена, онъ надъ нею и власть имѣетъ. Вотъ если она придетъ ко мнѣ, да я ее укрою, повадку ей дамъ—тогда я виноватъ буду, а то, братъ, это—не мое дѣло.

— Боже, Боже!—возвелъ къ небу руки Иванъ Борисовичъ.—И это—отецъ! Его родная дочь бѣжала изъ дома мужа, а онъ... онъ—хладнокровенъ... О, темного, о, шогес *)!

— Ну, какъ хочешь, такъ и суди. Прощенья просимъ, сватьяшка. Прощай, зять любезный... Свать, до свиданья!—и Ладыжниковъ пошелъ къ двери.—Ахъ, да, вотъ что!—остановился онъ;—если вы ее не найдете—я приданое ея у васъ отберу, а если добромъ не отдадите—судиться буду. Если жена умираетъ бездѣтною, ея приданое отцу идетъ, а что умерла, что пропала—пѣна одна.

Старуха Лоскутникова злобно засмѣялась.

— Можешь взять, свать, хоть сегодня же,—сказала она.—Ты, кажется, и радъ этому случаю, потому тебѣ прямая выгода.

— Если тебѣ кажется—ты перекрестись, сватья, а я тебѣ дѣло говорю. Плохъ ли я, хорошъ ли, отъ меня дочка не бѣгала, а вотъ отъ тебя невѣстка убѣжала; стало быть, ты мудра-мудра, да не больно! До свиданья—съ пока!

*) О, времена! О, нравы.

— Негодяй! — бросила ему вѣздъ старуха. — Вотъ твоя ро-
денька, вотъ твой выборъ! — обратилась она къ сыну.

— Я, маменька, не виноватъ, — несмѣло произнесъ сынъ.

— Я виновата, я! Не знаю, гдѣ глаза у меня были, что
позволила... Эхъ, не веротишь теперь! Теперь надо поправлять
бѣду. Братецъ, что же намъ дѣлать теперь? Научи, ты умнымъ
слынешь.

— Затрудняюсь, сестрица, право, затрудняюсь! — пожалъ пле-
чами Иванъ Борисовичъ. — Но ужъ если вы желаете моего со-
вѣта — извольте, я скажу. По моему мнѣнію, Акимъ надо уѣхать
куда нибудь на время, чтобы дать успокоиться унамъ, ну, хоть
въ Питеръ, что ли, или въ Одессу, съ которой мы хотимъ за-
вязать торговые сношенія, или вообще куда нибудь...

— А она? Негодяйка эта?

— Ее уличить, но не теперь, а современемъ, въ измѣнѣ и
хлопотать о разводѣ.

— Да-съ, маменька, это самое лучшее, — поспѣшили одоб-
рить планъ дяди Акимъ Осиповичъ.

— Ну, а пока-то? Что же она будетъ дѣлать пока? — спро-
сила старуха.

— Пусть живетъ себѣ, гдѣ хочетъ и какъ хочетъ.

— Не бывать этому! — рѣзко крикнула старуха, ударивъ ку-
лакомъ по ручкѣ кресла. — Она надругалась надъ нами, скан-
далъ сдѣлала, опозорила насъ и пусть себѣ живетъ, пусть по-
коемъ наслаждается да съ дружкой своимъ милымъ насмѣ-
хается надъ нами? Нѣтъ, шалишь, этому не бывать. Н-нѣтъ!
разыскать ее и водворить въ домъ мужа!

Покинутый мужъ всталъ со своего мѣста и слезливо ска-
залъ:

— Зачѣмъ же она мнѣ, маменька? Такъ надругалась она
надо мною, и вдругъ я съ нею жить буду?

— Кто тебѣ велитъ жить съ нею, дуракъ? Не женой она
тебѣ будетъ, а слугой, кухаркой, прачкой! Пусть живетъ въ
загонѣ, пусть свѣта Божьяго не видитъ! Хоть потѣшимся надъ
нею, хоть зло сорвемъ, обиду свою выместимъ! А то на-поди —
на свободѣ ее оставить! Она, злодѣйка, такую обиду намъ на-
несла, а мы ее на всѣ стороны пустимъ? Нѣтъ, пусть она
горя отвѣдаетъ, если хорошей жизни не хотѣла! Вотъ мой
сказъ: ты, Акимъ, пожалуй уѣзжай отъ срама, а я ее разыщу
и по твоей бумагѣ въ домъ верну. Я сказала, что она изъ
моего дома только мертвая уйдетъ — такъ оно и будетъ! Сего-
дня же ты заявку подай, а тамъ можешь и уѣхать; я и безъ
тебя справлюсь съ нею!

— Хорошо, маменька, пусть будетъ такъ-съ.

— Ну, а вы, братецъ, что скажете? Кажется, вамъ не по вкусу такое мое рѣшеніе?—обратилась Лукерья Федоровна къ деверю.

— Мое дѣло тутъ—сторона, — сказалъ тотъ. — Я полагаю только, что это несовременно; изъ моды вышли теперь такіа мѣры.

— У кого, можетъ, и вышли, а у меня нѣтъ. Я надругаться надъ собою и надъ своимъ сыномъ не позволю! Слышите это?

— Это—ваша воля, сестрица,—почтительно отвѣтилъ Иванъ Борисовичъ и вышелъ изъ комнаты, сказавъ, что ему пора по дѣламъ.

Но онъ не поѣхалъ по дѣламъ, а вошелъ къ себѣ въ кабинетъ и усѣлся съ сигарой предъ затопленнымъ каминомъ.

Иванъ Борисовичъ жилъ на барскую ногу и любилъ хвастнуть своей обстановкой, какъ любилъ хвастнуть и своимъ образованнымъ языкомъ. Обстановку онъ завелъ щегольскую и очень цѣнную, но нельзя сказать, чтобы она была съ особеннымъ вкусомъ, и только была на эффектъ. Дорогая мебель была неудобна и видимо поступила сюда съ выставки второстепеннаго магазина, бронза блистала отсутствіемъ вкуса, картины пахли рынкомъ и брали цѣнными рамами, а не искусствомъ; громадный письменный столъ темнаго орѣха видимо стоялъ безъ употребленія и служилъ только для выставки немудрыхъ статуэтокъ; въ шкафахъ пестрѣли переплеты книгъ, врядъ ли когда читаемыхъ, и рядомъ съ классиками тамъ стояли лубочныя изданія Никольскаго рынка, вродѣ какого нибудь „Зеркала тайныхъ наукъ“ и т. п. Хороши были въ комнатахъ только цвѣты, но и они стояли, какъ въ магазинѣ, не производя впечатлѣнія изящества и не радуя взора. Но Иванъ Борисовичъ считалъ свои комнаты верхомъ изящества и вкуса, какъ себя считалъ умнѣйшимъ и пріятнѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ.

Придя теперь къ себѣ, онъ по обыкновенію съ удовольствіемъ оглянулъ свои апартаменты и, развалившись предъ каминомъ, сталъ мечтать, поныхивая сигарой. Съ юнаго возраста любя пожить, пошиковать и пофлиртовать, онъ значительно поистрепалъ свое состояніе и близокъ былъ къ полнѣйшему разоренію въ то время, когда его братъ Осипъ, отецъ Акима Осиповича, составилъ себѣ крупное состояніе. Этотъ братъ, обольщенный его рѣчами, помогъ ему выпутаться изъ бѣды, но къ своему дѣлу не подпустилъ. Вѣроятно Ивану Борисовичу пришлось бы опять скоро „допнуть“, и уже окончательно, но въ это время братъ Осипъ умеръ, и Иванъ Борисовичъ поддѣлался къ его женѣ; онъ сумѣлъ увѣрить ее, что имѣетъ довольно по-

рядочныя средства, и представилъ ей лицъ, имѣющихъ съ нимъ дѣла; въ дѣйствительности онъ набралъ ихъ изъ числа торговцевъ-хищниковъ новѣйшей формаціи, посуливъ имъ великіе барыши. Все это повело къ тому, что онъ вступилъ въ компанію съ племянникомъ, обладая единственно лишь ненасытной алчностью къ наживѣ, въ то время какъ его племянникъ имѣлъ почти миллионное дѣло, отлично поставленное. Такимъ образомъ образовался торговый домъ „Поскутниковъ - сынъ и Компанія“, причемъ мать Акима была тоже компаньонкой.

Умная старуха конечно видѣла, что деверь больше богатъ на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, но она считала его дѣльцомъ, сына же ставила довольно низко по части коммерческаго дѣла и довѣрять ему не могла. Старуха стала въ сторонѣ, но зорко слѣдила за компаньономъ, обучая сына и вводя его въ кругъ дѣла. Послѣднее ей до нѣкоторой степени удавалось, такъ что Акимъ, какъ говорится, наметался и сталъ понимать всю сложную махинацію торгово-промышленной дѣятельности. Въ концѣ концовъ его дядюшкѣ надо было держать ухо востро. Впрочемъ онъ и держалъ себя такъ, очень скоро убѣдивъ старуху въ своей честности, какъ ранѣ сумѣлъ убѣдить въ дѣловитости. Тогда онъ сталъ цивилизовать племянника. Обучать юнца купечамъ и такимъ образомъ развращать Иванъ Борисовичъ нашелъ пріемомъ устарѣвшимъ и до нѣкоторой степени опаснымъ. Онъ изобрѣлъ новый методъ, вполне безопасный отъ подозрѣнія и никоимъ образомъ не могущій вызвать нареканія и упреки. Онъ сталъ аристократить племянника. Слово „аристократить“ было имъ выдуманно и имъ же пущено въ многочисленномъ кружкѣ его поклонниковъ.

Тонко и ловко началъ Иванъ Борисовичъ доводить племянника до сознанія, что богатому купечеству надо встать на одну ногу съ барами и бросить устарѣлыя привычки замкнутого и изолированнаго отъ прочаго міра купечества. Онъ показалъ ему прелесть шикарнаго выѣзда, моднаго костюма, свободнаго входа въ первый рядъ креселъ театра съ ухватками театрала-мецената, умѣющаго заставить говорить о себѣ благодаря поднесенію какой нибудь „дивъ“ букета съ крупнымъ подаркомъ, ввелъ его въ будуары дамъ полусвѣта, которыя умѣли обласкать новаго члена ихъ общества и ловко курили фиміамъ его блестящимъ достоинствамъ; онъ познакомилъ его съ владѣльцами скаковыхъ лошадей, и, будто бы по случаю, устроилъ ему покупку скаковой лошади, которая послѣ этого взяла призь и возвела владѣльца на недосигаемую высоту предъ его недавними собратами, скромными и „не-аристократическими“ купцами.

Акимъ Осиповичъ пошелъ на эту удочку отлично, и черезъ годъ пребыванія въ дядиной школѣ до того „обаристократился“, что всѣ свои помышленія обратилъ на стремленіе жить показной стороной и во что бы то ни стало прослыть представителемъ высшаго общества. Онъ сталъ одѣваться по примѣру тѣхъ „Жоржей“ и „Пьеровъ“, которыхъ можно видѣть по субботамъ въ первыхъ рядахъ цирка, въ дни скачекъ — на ипподромѣ, ночью — въ первоклассныхъ загородныхъ ресторанахъ, выѣзжалъ верхомъ въ паркъ, состоялъ членомъ общества охоты, до совершенства дошелъ въ подражаніи этимъ „Жоржамъ“ и „Пьерамъ“ и только иногда забывалъ свою роль и становился прежнимъ Акишей, прибавляя въ разговорѣ „съ“, подавая барышнямъ въ танцахъ руку кренделемъ и выкидывая какое нибудь колѣно таганско-ордынскаго образца. Онъ мало пилъ, почти не игралъ, но занятіе аристократизмомъ такъ привлекало его, что онъ совершенно забылъ дѣло и жилъ лишь для того, чтобы блистать и поражать.

Иванъ Борисовичъ самодовольно посмѣивался и, превознося предъ Лукерьей Федоровной ловкость, умъ, развитіе и способности ея сына, чѣмъ приводилъ ея материнское сердце въ сладостное трепетаніе, все больше и больше дѣлался заправилою дѣла и полнымъ хозяиномъ его, причемъ льстилъ племяннику почтительно-дружескимъ обращеніемъ и полифѣйшимъ преклоненіемъ предъ его волей.

Акимъ Осиповичъ росъ выше лѣса стоячаго въ своемъ самообожаніи и весь ушелъ въ поклоненіе самому себѣ, самообольщенный до манинъ.

Въ это время ему привелось увидать гдѣ-то Марину Григорьевну, и красота дѣвушки увлекла его.

— Вотъ бы, дядюшка, къ моей-то обстановкѣ такую же-ну! — сказалъ онъ Ивану Борисовичу, — шикъ бы!.. На моей парѣ въ ландо прокатиться съ нею — въ носъ бы всѣмъ бросилось. Или въ ложу въ бенуаръ съ нею — первый сортъ! У всѣхъ у нашихъ жены-то болѣно полинялыя, а тутъ такой адамантъ... Зарѣзались бы многіе отъ зависти, ей-Богу! Лошади теперь у меня первыя, обстановка тоже, брилліантовъ такихъ, какъ у меня, ни у кого нѣтъ, и вдругъ еще жена при этомъ перваго сорта!.. Лучше не надо!.. Какъ полагаете, дядюшка?

Иванъ Борисовичъ вполне одобрилъ. Онъ сперва хотѣлъ было женить племянника на одной куртизанкѣ, намѣреваясь совсѣмъ окрутить его и довести до послѣдняго идіотизма систематическимъ обезличиваніемъ, но потомъ рѣшилъ, что такая дама пожалуй отберетъ у него власть и сама наложитъ на все свои

руки, а потому жена изъ простенькихъ представилась ему вполне подходящей.

„Пусть они наслаждаются медовыми мѣсяцами, а я въ это время тутъ поработаю, какъ мнѣ надо,—думалъ Иванъ Борисовичъ. — Мужъ - дуракъ, жена - дура — лучше не надо!.. А маменька тѣмъ временемъ, видя сына озабоченнымъ, совсѣмъ успокоится“.

— Отличная идея, Киша!—одобрилъ дядюшка мысль Акима Осиповича.—Тебѣ теперь только и недостаетъ красавицы-жены, чтобы первое мѣсто занять. А черезъ жену-то, съ такой красотой ея, можно, въ какой хочешь, домъ проникнуть. Да и солидности больше: на женатаго человѣка совсѣмъ взглядъ другой, такъ что даже коммерческому дѣлу отъ этого польза—шире кредитъ, больше шансовъ довѣрить семейному человѣку.

— Зато ужъ тогда свобода ау, дядюшка!

— Вотъ вздоръ! Вѣдь уже отошла мода на сидѣнье у женной юбки. Жена—сама по себѣ, а ты—самъ по себѣ; только поставить себя умѣй.

Мать тоже одобрила намѣреніе сына, и изъяснила согласіе на его сватовство къ Марьѣ Григорьевнѣ.

Проникнуть въ домъ Ладыжниковъ было довольно мудрено, а потому Акимъ Осиповичъ рѣшился нарушить свои аристократическіе принципы и попросту послать сваху. Сперва было Ладыжниковъ уперся, имѣя предубѣжденіе противъ молодого жениха, но, когда ему объявили, что отъ него не требуютъ никакого вознагражденія дочери, согласился и выдалъ Маришу за Лоскутникова.

Побѣгъ Мариши перевернулъ планы Ивана Борисовича, но онъ сейчасъ же ориентировался въ своемъ новомъ положеніи и нашелъ, что оно для него даже много лучше.

V.

— Отлично, что все это такъ устроилось, ей-Богу отлично! — вслухъ произнесъ Иванъ Борисовичъ, съ наслажденіемъ затягиваясь сигарой. — Племянничекъ теперь уѣдетъ, маменька горемъ удручена, а я тутъ теперь—все! Займемся дѣлами, какъ слѣдуетъ, н...—Иванъ Борисовичъ весело разсмѣялся,—и примемъ подъ покровительство эту бѣгляночку. Ее конечно найдутъ, приведутъ и меня стражемъ при ней сдѣлають. Я ее приручу, вышколю и квартиру ей отдѣльную найду. Прехорошенькая, каналья! Тихоня, тихоня, а какую штуку отмочила!.. Съ огонькомъ бабеночка-то!.. Старуха ее живьемъ ѣсть будетъ, а я тайнымъ покровителемъ и явлюсь. Моя, честное слово, моя!.. Отъ меня не убѣжить, нѣтъ! Придетъ время, самъ прогоню,

пу, а ужъ побѣги-то эти надо отдумать. Подъ покровительство, непременно подъ покровительство!.. Отцу ее отдать—въ гробъ заколотить, старуха загрызеть, а такой красъ втунѣ пропадать зачѣмъ же? И радехонька, я думаю, будетъ, бѣдняжка, какъ я ей свое участіе предложу! Нда, видно настало мое время, повернулась судьба лицомъ ко мнѣ, и колесо фортуны склонилось на мою сторону. Лови, лови часы любви! Однако часы любви часами, а приумноженіе капиталовъ своимъ чередомъ. Нда... У дураковъ затѣмъ и денегъ много, чтобы умнымъ людямъ они доставались... Хе-хе-хе... Шикъ!..

Пріятныя мечтанія нарушилъ своимъ приходомъ Акимъ Осиповичъ. У него былъ весьма жалкій видъ, точно его публично высѣкли и ему отъ стыда совѣстно было глядѣть на людей. Куда и аристократизмъ дѣвался! Бывало Акимъ Осиповичъ уже съ утра блещетъ туалетоу п, раздушенный, причесанный, въ какомъ нибудь моднѣйшемъ галстухѣ, въ пестромъ жилетѣ съ металлическими пуговицами, гордо ходитъ по дому и по конторѣ, напоминая индѣйскаго пѣтуха. Теперь этотъ пѣтухъ приналъ къ землѣ и опустилъ перья, какъ облитый холодной водой. Онъ вошелъ къ дядѣ робко, глядѣлъ неувѣренно-пытливымъ взглядомъ.

— Ну, что, племянничекъ, на чемъ порѣшили?—обратился къ нему дядя, предлагая гостю сигару.

— Какъ вы слышали: жену будутъ разыскивать, а я уѣду... въ Одессу поѣду. Такъ-то всего лучше пожалуй,—отвѣтилъ молодой, садясь и закуривая сигару.

— Конечно! Прокатишься, людей поглядишь, себя покажешь и все, какъ съ гуся вода. Время, милый, все излечиваетъ.

— Такъ-то такъ, а все же скверно, дядя.

— Жену жаль?

— Нѣтъ. Послѣ этой ея низости я уже нисколько не влюбленъ въ нее, напротивъ даже. Скверно потому, что общество пересмѣивать будетъ.

— Пустяки, милушка, сущіе пустяки! Ты что, купецъ, что ли, старозавѣтный? Ты, я полагаю,—современный человѣкъ, представитель золотой молодежи, а въ этомъ обществѣ это не только не позорно, а даже пріятно. Жена убѣждала—это, знаешь ты, пикантность одна, и больше ничего. Игнорируй этотъ фактъ—и кончено дѣло, непременно игнорируй! О тебѣ говорить будутъ, шумъ по городу надѣлаетъ твоя исторія, и ты будешь героемъ, героемъ дня, какъ это говорятъ въ высшемъ обществѣ. Что же тутъ нехорошаго?

Акимъ Осиповичъ выпрямился въ креслѣ, поправилъ прическу, закрутилъ усыки.

— А вѣдь пожалуй и такъ, дядюшка!—сказаль онъ.—Если по-современному разсуждать, это—именно такая модная штука... Ужъ коли по модѣ жить, такъ во всемъ по модѣ. Вѣрно? Такъ что пожалуй мнѣ и уѣзжать не надо.

Дядюшка ерзнулъ въ креслѣ.

— Ну, нѣтъ, уѣхать все-таки не мѣшаетъ, хоть ради того, чтобы дать иное направленіе мыслямъ общества и его толкамъ. Я здѣсь распушу слухъ, что въ день свадьбы къ тебѣ явилась одна обольщенная тобою актриса, и это послужило причиной побѣга жены, и что ты съ этой актрисой уѣхаль на югъ.

— Отлично, дяденька, отлично!—весело подпрыгнулъ на стулѣ племянникъ, совершенно просіявъ.

— Ужъ худого я не придумаю для тебя!—сказаль дядя, самодовольно улыбувшись, и даже поцѣловаль племянника отъ избытка чувствъ.

— Спасибо вамъ, дяденька, отъ души спасибо! А какую актрису вы назовете? Надо какуюнибудь хорошенькую, модную, чтобы всѣмъ было завидно.

— Вотъ-вотъ! Я узнаю, кто изъ артистокъ уѣхаль на югъ, да изъ числа уѣхавшихъ какуюнибудь лучше выберемъ. Говора-то сколько будетъ—ужасъ!

— Ужасъ, дядюшка. Ну, дядюшка, такъ вы меня обрадовали, что я васъ сегодня намѣренъ шампанскимъ поить.

— Ха-ха-ха! Идетъ, принимаю угощеніе. Ты, братъ, положиись на меня, Киша, а ужъ я худому не научу! Ну, а вотъ что: какъ ты думаешь, куда супружница-то твоя стреканула? Значить, у нея есть какойнибудь дружокъ. Тихоня-тихоня, а какъ ловко надула всѣхъ!

— Да! Я положительно не знаю, гдѣ она! Вѣдь совсѣмъ не было похоже, чтобы она такая... А все-таки ее надо проучить, дядя!

— Застрѣли сперва гуся, да потомъ и ощипывай! Сперва еще надо найти ее, милый! И проучивать такъ, какъ ты думаешь, опять—таки несовременно, дико. Вѣдь съ точки зрѣнія твоей матушки и этого дикаго Ладыженикова проучить надо какъ? палкой! Развѣ это достойно аристократа? Фи! А ты склонни родительницу на то, чтобы твою жену безъ всякихъ петицій посадили въ отсѣденныхъ ей апартаментахъ и выдержали въ такомъ карантинѣ годъ, что ли, а тамъ видно будетъ! Ну, отца для острастки можно къ ней разикъ пригласить, какъ доктора къ больному приглашаютъ, пусть ей пропишетъ... Хе-хе-хе! Но на этомъ и кончить, именно только для страха. Я тебѣ вотъ что скажу, Киша: пріѣдешь ты въ Москву черезъ годикъ—не узнаешь жены! Я возьму на себя трудъ

образовать ее, перевоспитать и, повѣрь, достигну своей цѣли. Въ годъ вся эта исторія забудется, и ты прекрасно заживешь съ молодой женою, какъ будто ничего и не было, какъ будто ты только что женился. Положись на меня!

Дядя съ племянникомъ поцѣловались еще разъ въ знакъ поистинней дружбы и солидарности и разошлись, условившись встрѣтиться въ ресторанѣ „Эрмитажъ“ часовъ въ пять.

* * *

Агафья Пантелеевна, старуха-кормилица Мариши, горько и много плакала въ покинутомъ ея питомицей домѣ Лоскутниковыхъ, куда старуха пришла погостить, пируя свадьбу, и поплелась домой, чуть не выгнанная озлобленной матерью молодого. Точно родную дочь схоронила старуха—такъ ей было горько и тяжело. Безъ чувствъ она упала, когда узнала, что Мариша убѣжала отъ мужа въ первую ночь супружеской жизни. Какъ и почему это случилось, куда убѣжала Марина, кормилица и ума не могла приложить. Могла ли она когда нибудь думать, что ея кроткая, покорная воспитанница, ея ангелъ-Маришенька, можетъ сдѣлать это. Она видѣла, что дѣвушка не любитъ жениха и идетъ за него противъ воли; она чисто материнскимъ чутьемъ понимала это и глубоко жалѣла Марину, но утѣшала себя мыслью, что „стерпится—слюбится“. И вдругъ страслась такая бѣда.

„Нѣтъ, она по къ чужому ушла!—думала старуха, пѣшкомъ плетясь въ Ситунь.—Не было у нея никого и не могло быть! Видимо она душеньку свою загубила, руки на себя наложила. Пожалуй въ Москву-рѣку бросилась, сердечная. Экій грѣхъ, экій грѣхъ-то, Господи!

И роняла на-ходу слезинку за слезинкой кормилица, обращая на себя вниманіе прохожихъ.

Агафья Пантелеевна не только выкормила Марину, но и возрастила ее, живя при ней няней до самаго поступленія дѣвушки въ пансіонъ. Это была женщина глубоко честная, добрая, умѣвшая страдать безропотно, любить безгранично. Полученныя за кормленіе деньги она сберегла отъ первой до послѣдней копейки, равно какъ и все жалованье за свою службу въ качествѣ няни; по поступленіи Мариши въ пансіонъ и послѣ смерти своего мужа она завела у себя въ Ситунѣ хозяйство, и безъ работника, съ однимъ мальчуганомъ-сыномъ умѣла вести это сложное, трудное крестьянское хозяйство; она держала двухъ коровъ и продавала молоко и масло окрестнымъ дачникамъ, зимой ткала холстъ, а сына отдала въ обученіе столярному ремеслу. Когда этотъ сынъ подросъ и женился, се-

мья вдовы Агафьи была одной изъ первыхъ по благосостоянію въ деревнѣ. Такая трудолюбивая, честная, высоконравственная и глубоко любящая женщина конечно благотворно повліяла на Марину. И дѣйствительно она приобрѣла неограниченную любовь и уваженіе дѣвушки и въ свою очередь полюбила ее, какъ родную дочь.

Понятно теперь, съ какимъ чувствомъ шла Агафья Пантелеевна домою съ печальной свадьбы Марины. Побѣгъ молодой вызвалъ гнѣвъ у ея отца и страшное негодованіе у свекрови и мужа и лишь эту женщину повергъ въ печаль. Агафья Пантелеевна одна понимала Марину, не вѣрила, что причиной ея побѣга могъ послужить какой-то таинственный романъ. Старикъ-отецъ, не говоря уже о свекрови и мужѣ, и тотъ готовъ былъ думать, что ополоумѣвшая дочь могла убѣжать къ дружкѣ, кормилица же съ негодованіемъ отвергла эту мысль и была права.

Подошла старуха къ своему дому и остановилась у крыльца, не зная, какъ сообщить сыну печальную вѣсть. Молодой малый и его жена тоже любили Марину чисто по-родственному.

„Шибко загрустилъ мой Степа, — думала старуха, остановившись у крыльца. — Ну, да что дѣлать, сказать-то все же надо. Пойду. Вотъ такъ радостную вѣсточку принесу, вотъ такъ гостинецъ со свадьбы!“.

Старуха поднялась по лѣсенкѣ, прошла сѣни, отворила дверь въ избу и ахнула, чуть не упавъ навзничь.

Въ избѣ около печки возилась ея невѣстка, у окна за верстакомъ стоялъ ея сынъ, обстругивая какую-то доску, а у стола сидѣла Марина Григорьевна, блѣдная, печальная, и что-то шила, низко наклонивъ голову.

При входѣ кормилицы она тоже вскрикнула, подбѣжала къ ней, бросилась на грудь и зарыдала.

— Голубча ты моя желанная, головѣшка твоя безталанная; что ты надѣлала-то? Съ кѣмъ ты думушку эту обдумала, кого спросилась? — цѣлуя Марину въ голову и обливая ее слезами, стала причитать кормилица, какъ причитаютъ по покойникѣ. — Охъ, ты, горяшко, горяшко!.. пошто ты пришло къ намъ, пошто набрело на насъ?

Всплакнула и молодая невѣстка, глядя на эту сцену. Даже молодцеватый Степанъ смахнулъ украдкой слезу и такъ сильно взмахнулъ рубанкомъ, что изъ него выскочила клепка.

— Будетъ... не плачь, кормилица, не разрывай моего сердца! — проговорила Марина. — Ушла, не стерпѣла. Теперь не воротись. На Бога надежда, на Его милость. Сядь, родная! —

Марина отерла слезы и глубоко вздохнула.—Что... что тамъ?—отрывисто спросила она.

— Вѣда тамъ! Гнѣваются, грозятъ.

— Отецъ что?

— Грозенъ. Отъ него, сама знаешь, милости ждать нельзя.

— Да я и не жду; пусть... пусть убьютъ! Что говорятъ?

— Охъ, разное говорятъ! Кто говорить—утопилась, кто говорить—къ другу милому ушла.

— Мужъ что? Что онъ говорить? что думаетъ?

— Вотъ,—говорить,—вышестовала ты дитятко, кормилица: въ первый же день отъ мужа ушла.

— Боже! Зачѣмъ онъ женился на мнѣ, когда думаетъ такъ? Взять не зная, погубилъ и теперь... Хотятъ искать?

— Хотятъ. Свекровушка твоя разлютовалась, говорить, страсти какъ! „Найдемъ,—говорить,—приведемъ, натѣшимся“.

— Такъ они хотятъ меня къ себѣ взять?—еле-еле выговорила Марина Григорьевна, вся затрепетавъ.

— Найдутъ—возьмутъ. На то ихъ воля, голубка: жена мужу принадлежить. Да батюшка тебя и не приметъ.

— Агафьюшка, родная, не отдавай меня имъ! Спрячь меня! Если къ отцу—то отдай, пусть, что хочетъ, дѣлаетъ, а къ нимъ не отдавай.

— Я не отдамъ, да они сами возьмутъ, дитятко мое; не моя на то воля, да и не твоя. Сохраню тебя, уберу, спрячу, ну, а потомъ что? Вѣдь весь свой вѣкъ тутъ не проживешь.

— Я въ монастырь... Я знаю одну игуменью, она любитъ меня и приметъ. Изъ монастыря не возьмутъ.

— Ой, ужъ не знаю, что и дѣлать съ тобою!—покачала головой кормилица.—Поживи пока у меня, голубка, безталанная ты моя, а тамъ увидимъ. Поговорю я кое съ кѣмъ, совѣта спрошу. Съ мужемъ-то жить ты вовсе не хочешь?

— Нѣтъ, нѣтъ! Пусть убьютъ, пусть, что хотятъ дѣлаютъ, но не пойду я къ нему... не останусь съ нимъ!

— Зачѣмъ же ты шла за него, если онъ такъ противенъ тебѣ?

— Сама не знаю. Вотъ закрыла глаза и шла въ потемкахъ, а дошла до его дома, не могла остаться. Погубила я себя, совсѣмъ погубила.

Подъ окномъ въ это время задребезжали колеса подѣхавшаго экипажа.

— Кажется, къ намъ кто-то, Степанъ? Погляди-ка!—обратилась кормилица къ сыну.

Тотъ выглянулъ въ окно.

— Семенъ Максимовичъ прїѣхалъ, матушка,—сказалъ онъ.—
Пойти, коня его убрать.

— Это--кто?—спросила Марина.

— Кунецъ одинъ, мельникъ... Ты ничего, не бойся, останься
здѣсь! Въ горенкѣ-то у насъ холодно, непривычно тебѣ... Онъ
хорошій и дальній онъ, ничего.

Марина Григорьевна отошла въ дальній уголокъ и сѣла у
окна. Въ избу вошелъ молодой человекъ, лѣтъ двадцати трехъ,
одѣтый въ такъ называемую сибирку изъ сѣраго сукна, под-
поясанную кушакомъ, въ высокихъ сапогахъ и барашковой
шапкѣ.

Этотъ молодой человекъ былъ средняго роста, довольно ху-
дощавъ и строенъ; его русые волосы вились изъ-подъ шапки
прихотливыми колечками; мягкая, шелковистая борода и усы
красиво обрамляли полныя губы.

Онъ обвелъ присутствующихъ улыбающимся взглядомъ, нѣ-
сколько удивленно, вопросительно остановилъ его на секунду
на Маринѣ Григорьевнѣ и, поклонившись старухѣ, произнесъ:

— Агафья Пантелеевна, добраго здоровья!.. Какъ пожива-
ешь, голубушка?

— Здравствуйте, Семенъ Максимовичъ, батюшка. Живу себѣ
помаленьку, по-старушечьи... Вы какъ въ своемъ здоровьи? Са-
дитесь-ка, батюшка, пожалуйста впередъ-то... Луша, поставь са-
моваръ поскорѣе!

— Да, ужъ похлопочи насчетъ самоварчика, Луша, прѣзѣбъ
я порядкомъ и чайку попить теперь въ самый разъ!—прогово-
рилъ Семенъ Максимовичъ, усаживаясь къ столу и снова взгля-
нувъ на Марину любопытнымъ взглядомъ.

Она, помимо своей чарующей прелести, должна была непре-
мѣнно обратить на себя вниманіе своей стройною, изящною, во-
все неподходящей къ обстановкѣ этой избы, фигурою, хотя и
въ простенькомъ, но дорогомъ и красиво сшитомъ платьѣ.

Она склонила теперь голову надъ шитьемъ, и лучи свѣта
изъ окна золотили ея волосы и ярко освѣщали профиль блѣд-
наго, нѣжнаго личика, съ выступившимъ послѣ слезъ и волне-
нія румянцемъ. Длинные рѣсницы легли на щеки, скрывая яс-
ные, лучистые глаза, грудь высоко поднималась, рука слегка
дрожала, едва владѣя иглой. Въ ушахъ сверкали и искрились
не снятыя еще послѣ вѣнца серьги.

— Нарочно къ намъ въ Ситунъ пожаловалъ, Семенъ Макси-
мовичъ, иль прѣѣздомъ куда?—спросила кормилица гостя.

— Въ Москву ѣду, Агафья Пантелеевна, кое что купить
надо, а къ вамъ заѣхалъ, во-первыхъ, чайку попить, а, во-

вторыхъ, насчетъ овса; если будете нынче продавать, такъ я покупателемъ на весь буду.

— Будемъ... Овесъ нашъ хороший, рѣдкій овесъ... У васъ какой хлѣбушка уродился?

— Слава Богу, хорошо... Поработали, Агафья Пантелеевна, тоже хорошо, теперь вотъ отдохнуть надо. Охотникъ вѣдь я, единственное удовольствіе у меня — охота, такъ вотъ ѣду въ Москву кое что прикупить; ружье себѣ думаю купить... дорогое ружье, рублей во сто.

— Ну, что же, вамъ себя потѣшить можно.

Разговоръ перешелъ на дѣло, видимо интересовавшее какъ молодого гостя, такъ и кормилицу съ ея сыномъ, который пришелъ, обрядивъ коня, и, одѣвъ поверхъ рубахи поддевку, присоединился къ разговору.

Марина чутко прислушивалась къ разговору, и, чѣмъ дальше говорилъ гость, тѣмъ болѣе его разговоръ интересовалъ и занималъ ее, открывая новый, незнакомый ей міръ. Рѣчь молодого человѣка была проста, и въ ней не слышалось ничего дѣланнаго, искусственнаго; голосъ былъ немного пѣвучъ, но съ пріятными нотками мягкаго баритона.

— Хорошее житіе въ деревнѣ, Агафья Пантелеевна, право, хорошее!—говорилъ гость.—Мнѣ вотъ московскіе знакомые говорятъ, что въ деревнѣ съ тоски можно умереть. Пустое! Я, какъ переселился въ деревню, другимъ человѣкомъ сталъ—точно помолодѣлъ, точно силъ у меня прибавилось, и такъ-то вольно да спокойно чувствую себя—прелестъ!.. Тамъ, въ городѣ, люди тебя точно тѣснятъ, все будто для нихъ живешь и такъ, какъ имъ хочется, а въ деревнѣ я—самъ себѣ господинъ, и какъ-то веселѣе смотришь на свѣтъ Божій. А ужъ куда какъ хорошъ въ деревнѣ свѣтъ Божій!.. Весна это придетъ, заживетъ все новой жизнью; выйдешь въ поле ли, въ лѣсъ ли — душа радуется, самъ точно по-иному зажилъ. Вѣришь ли, старая, птичка каждая радуется тебя, цвѣтокъ утѣшаетъ!.. А тамъ дѣло пойдетъ... Вдосталь поработаешь, кровь ключемъ кипитъ отъ работы, и тутъ же видишь плоды своей работы—зацвѣтетъ все, зазеленѣетъ, рожь пойдетъ наливаться, сытъ отъ нея будешь и другихъ накормишь. Пѣсни пѣть я выучился, Агафья Пантелеевна,—съ веселой улыбкой закончилъ гость.

— И поешь?

— Пою!.. Въ городѣ на умъ не шло пѣть, а тутъ выйдешь это на зорькѣ въ поле, глянешь на добро свое и запоешь!.. Еще какъ пою-то—слушать меня собираются!..

Гость весело разсмѣялся и опять глянулъ на Марину. Она тоже глядѣла на него, оставивъ питье.

VI.

Невѣстка кормилицы внесла самоваръ, приготовила недорогую, но красивую и опрятную посуду, принесла на тарелкѣ бѣлаго хлѣба, горшокъ сливокъ и вареныхъ янцъ. Кормилица сама заварила чай и пригласила къ столу Марину Григорьевну.

— Пожалуйста къ столику, Марина Григорьевна, покушать чайку, родимая, яичкомъ закусить... Пожалуй, милая!

Марина подошла и сѣла на лавку, какъ разъ напротивъ гостя.

— Извините, что заговариваю съ вами,—обратился онъ къ ней со своей доброй, хорошей улыбкой,—но думаю, что какъ-то удобнѣе сидѣть со знакомыми, чѣмъ не знать, кто съ тобою сидитъ и какъ его звать. Простите, что до сихъ поръ это не сдѣлано, да, въ деревнѣ у насъ представлять не принято... Купецъ Семень Максимовичъ Гуршинъ, дозволейте назваться,—и онъ поклонился.

— Очень пріятно,—тихо проговорила Марина Григорьевна и назвала свое имя.

Фамиліи она почему-то не сказала — ни родовой, ни приобрѣтенной наканунѣ.

— Это — питомичка моя, Семень Максимовичъ, — пояснила кормилица. — Выкормила я ее, вынянчила и вотъ... — старуха глубоко вздохнула, — погостить ко мнѣ пріѣхала.

— А, это—вы?—съ любопытствомъ поглядѣлъ на дѣвушку Гуршинъ. — Знаю васъ. Марина Григорьевна, по слухамъ давно знаю! Кормилица васъ такъ хвалить, съ такой душевной радостью всегда вспоминаетъ о васъ, что, каюсь, сторалъ любопытствомъ васъ видѣть. Вотъ какая твоя воспитанница — то, Агафья Пантелеевна!..

— Какая?—спросила кормилица.

Гуршинъ ничего не отвѣтилъ и опустилъ глаза.

Чай прошелъ почти молча. Маринѣ и ея кормилицѣ было не до разговоровъ, а Гуршинъ вдругъ замолчалъ и лишь перекинулся нѣсколькими словами насчетъ хозяйства съ сыномъ кормилицы. Окончивъ чай, онъ сейчасъ же сталъ собираться въ дорогу.

— Я, Агафья Пантелеевна, къ вечеру вернусь, и ужъ позволь у тебя переночевать, а завтра утромъ и домой,—обратился онъ къ старухѣ. — Не люблю я въ городѣ ночевать; тоска одному въ городѣ, а ужъ какъ нибудь по-городски вечера проводить я отвыкъ.

— Милости просимъ, Семень Максимовичъ, милости просимъ!

— Спасибо. За ночлегъ тебѣ гостинецъ привезу. Ну, до

свиданья пока! До свиданья, Марина Григорьевна... Не дадите ли какого порученія въ Москву?

— Въ Москву? Нѣтъ!.. Или вотъ что: заѣзжайте въ часовню Иверской Божіей Матери и поставьте свѣчку.

— Слушаю-съ. До свиданья пока!—и Гуршинъ поклонившись вышелъ, сопровождаемый Степаномъ.

— Онъ кто же такой, кормилца?—спросила Марина, думая объ ушедшемъ гостѣ.—Чѣмъ занимается? Купецъ, говоритъ онъ!

— Изъ купцовъ. Теперь-то, кажется, мельница у него верстахъ въ двадцати отсюда, ну, и усадѣбка небольшая, заводъ маленькій кирпичный. Хорошій, душевный человѣкъ! У него, вишь ты, отецъ былъ очень богатъ, фабрику имѣлъ, да прожилъ все. Чуденъ былъ, сказываютъ, покойникъ. Сенъ-то онъ ничего не оставилъ, но послѣ матери, которая уже давно умерла, осталось ему кое что; вотъ онъ и купилъ усадѣбку, да и зажилъ не то помѣщикомъ, не то мужикомъ. Охъ, ужъ какой хорошій человѣкъ!.. на рѣдкость! Въ округѣ его всѣ такъ „нашимъ“ и зовутъ: „Нашъ,—говорятъ,—Семенъ Максимовичъ“, — то есть вродѣ родного, стало быть... Да что родной! Нынче и родныхъ-то такихъ нѣтъ.

— Что же, онъ—богатъ? Деньгами помогаетъ?

— Помогаетъ и деньгами. А только онъ не богатъ... Какое богатство? Такъ себѣ, живетъ не нуждаясь, а богатства нѣтъ. Его, вишь ты, не то что за его деньги любятъ, что вотъ-де онъ дастъ, поможетъ, изъ бѣды выручить или тамъ лошадку ссудить, лѣску погорѣльцу какому нибудь, а за душевность его. Къ нему иди, какъ къ брату родному, да и открывай свою душу... Хорошій, рѣдкостный человѣкъ! Вотъ бы тебѣ, касатка ты моя, женишка такого высватать, вотъ была бы счастлива!

— Онъ холостой?

— Холостъ. Старушка-тетка у него живетъ по хозяйственной части. Только съ нею да еще съ дядей своимъ, тоже старикомъ, онъ и живетъ. Говорила я какъ-то твоему родителю про него. „Вотъ,—говорю,—Григорій Петровичъ, если вы счастья Маринѣ желаете; если человѣка ей въ мужья хотите; а не за деньгами гонитесь, такъ есть у меня женихъ“. — „Кто такой?“—спрашиваетъ батюшка. Я и назвала Сеню, сказала, кто—онъ и какъ. Махнулъ рукой твой родитель. „Хоть,—говоритъ,—ты—и умная баба, Агафья, а дура! Развѣ,—говоритъ,—могу я отдать свою дочь за какого-то мельника тамъ? Какъ же я такого зятя въ домъ свой пущу, если у меня милльонщики бываютъ?“. Я и замолчала, потому—кто же знаетъ, какъ тамъ у васъ, у богачей-то, это дѣлается?

Старуха еще долго рассказывала про Гуршина задумчиво

слушавшей ее Маринѣ Григорьевнѣ, а потомъ уложила свою питомицу спать, зная, что та не спала эту ночь. Плохо спала и сама кормилица. Уложивъ на приготовленную съ особеннымъ стараніемъ постель Марину, она убаюкала ее, какъ ребенка, разказами и сама прикуринула рядою съ нею.

Къ вечеру пріѣхалъ Гуршинъ, и при огонькѣ снова всѣ собрались за самоваромъ. Марина чувствовала теперь себя гораздо спокойнѣе. Крѣпкій ли, животельный сонъ, мнѣ ли тихой деревни были тому причиной, но только она далеко не такой удрученной выматривала теперь и смѣлѣе глядѣла въ будущее. Она вѣрила теперь, что мужъ не приведетъ ея силой въ свой домъ и отпустить въ монастырь. Она окончательно рѣшила поступить такъ. Ей хотѣлось какого нибудь подвига, хотѣлось принести жертву и искупить ею свой грѣхъ. Она даже не жалѣла, что такъ именно все случилось, и на будущую жизнь въ тихой обители смотрѣла съ надеждой и вѣрою, ожидая тихаго душевнаго покоя и мира. Даже на возможность попасть въ домъ мужа она смотрѣла съ наименьшей тревогой, какъ на искупленіе, на очищеніе путемъ страданій своего грѣха, каковымъ она считала свой бракъ съ нелюбимымъ человѣкомъ, грубо обиженнымъ ею теперь.

Иногда одинъ часъ тяжелой думы переворачиваетъ все міросозерцаніе человѣка и вѣрующаго дѣлаетъ скептикомъ, а скептика—глубоковѣрующимъ, готоваго на отчаяніе мирить съ жизнью, а вполне счастливаго вчера доводитъ до самоубійства сегодня.

— Много ли я побылъ въ Москвѣ, а уже сплетню успѣли мнѣ сообщить,—сталъ рассказывать Гуршинъ, сидя за чаемъ.— Да и не отъ одного человѣка слышалъ я эту сплетню, а отъ нѣсколькихъ, и все на новый ладъ. Охъ, этотъ городъ, разбѣдаетъ онъ людей!

— Какую, батюшка, сплетню?—спросила кормилица.

— А вотъ какую! Былъ я за Москвой-рѣкой и съ однимъ нужнымъ человѣкомъ въ трактирѣ сидѣлъ; тамъ вотъ и говорили про исторію одну—про то, какъ у купца одного жена сейчасъ же послѣ свадьбы сбѣжала. Какъ его фамилія-то? Забылъ! Да, Лоскутниковъ! Женился онъ, видите ли, на красавицѣ, такъ ее и звали въ околоткѣ „Ордынской красавицей“, чудо, говорятъ, какъ хороша! Ну, а онъ-то, по разсказамъ я заключилъ,—либо дуракъ, либо негодяй! Вотъ она увидала его дома-то, какъ онъ есть, безъ подкраски, и не выдержала, ушла. Понятно мнѣ это!

— Почему?—тихо спросила Марина Григорьевна.

Гуршинъ занялся разрѣзываніемъ привезенной изъ города

закуски, состоявшей изъ различныхъ колбасъ, и не замѣтилъ, какое впечатлѣніе произвелъ его разсказъ на слушателей.

— Почему? А вотъ почему, Марина Григорьевна! Потому что чистая женская душа не можетъ вынести ту атмосферу, которая окружаетъ много савраса, а что этотъ господинъ—саврасъ, въ томъ не можетъ быть и сомнѣнія! Хорошій человекъ, хоть съ какимъ нибудь умишкомъ, я думаю, никогда не женится на дѣвушкѣ, не убѣдившись, что она его любитъ или уважаетъ! Сосватали, выдали за него потому, что онъ богатъ, а дѣвушка имѣла несчастье ему понравиться, силой, быть можетъ, въ церковь привезли или угрозами заставили поѣхать, обвинчали и отдали юную красоту этому полудикому саврасу. Какъ глянула она поближе на муженька, увидала его во всей прелести да подумала, что теперь она—его на всю жизнь, — не вынесла и убѣжала. Сколько, я думаю, перестрадала она въ это время! Бѣдная! Такъ вотъ и мерещится она мнѣ бѣгущей ночью по улицамъ. Ночь, тьма кругомъ, холодъ, да и въ душѣ-то ночь да холодъ. Къ рѣкѣ, можетъ, бѣжала. Гдѣ бы жить, а тутъ... Эхъ, много еще среди купечества дикости, много еще гибнетъ среди него хорошихъ жизней!

Гуршинъ точно по книгѣ все прочиталъ, точно ему раскрыли душу Марины и показали ее. Все, рѣшительно все такъ и было. Марина слушала его съ напряженнымъ вниманіемъ, а потомъ опустила голову, закрыла лицо руками и горько-горько заплакала.

Гуршинъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на нее, потомъ взглянулъ на кормилицу, которая тоже утирала глаза головнымъ платкомъ.

— Удивляешься на наши слезы, Семенъ Максимовичъ? — грустно спросила она. — Эхъ! вѣдь эта убѣжавшая-то отъ мужа жена—вотъ она самая, Маринушка моя родная.

— Какъ?—весь вострепнулся Гуршинъ.

— Такъ. Вотъ она. Прозвали ее люди „Ордынской красавицей“, счастье прочли, радости, а вотъ онѣ, радости-то!

Гуршинъ потупился и долго-долго сидѣлъ, не произнося ни слова. Наконецъ онъ всталъ и, подойдя къ Маринѣ, заговорилъ:

— Марина Григорьевна, простите за непрошенное участіе, но, повѣрьте, я отъ души сочувствую вамъ и хочу поговорить съ вами, какъ братъ.

— Благодарю васъ! Мнѣ теперь очень дорого участіе.

— И помощь, Марина Григорьевна, и совѣтъ. Что вы намѣрены дѣлать теперь? Да! Сперва позвольте мнѣ предложить

вамъ вопросъ: такъ вѣдь все было, какъ я говорилъ? Не ошибся я?

— О, вы точно знали все, точно читали у меня въ душѣ.

— Быть-то этотъ я знаю, выросъ тамъ и выстрадалъ много. Тѣмъ лучше, что я не ошибся. Теперь будемъ говорить. Что вы намѣрены дѣлать?

— Не знаю. Я точно въ рѣку бросилась и отдалась теченію.

— Течение увлечетъ иногда къ тихой пристани, а иногда разбиваетъ о подводные камни. Надо бороться съ нимъ. Вамъ надо скрыться въ какое нибудь надежное мѣсто, дать утихнуть поднявшейся бурѣ, а потомъ постараться, чтобы вашъ мужъ покорился необходимости и далъ вамъ волю. Какъ онъ ни плохъ, но все же, я думаю, придетъ къ заключенію, что именно такъ надо поступить, а не иначе.

— Я такъ и сдѣлаю: я въ монастырь уйду.

— Въ монастырь? Это—ваше призваніе? Давно вы рѣшились вступить на этотъ путь? Вы медлите отвѣтомъ, стало быть, мысль о монастырѣ явилась теперь же? Не торопитесь, Марина Григорьевна, это—шагъ великій. Если вы обвѣнчались и ушли отъ даннаго вамъ мужа, то виною этому не вы, а тѣ люди, которые толкнули васъ на это. Но въ своемъ собственномъ шагѣ вы отвѣтственны, и не дай Богъ, чтобы вамъ пришлось каяться въ немъ! Да вѣдь въ монастырѣ и нельзя скрыться—туда даже и не примутъ васъ, какъ не имѣющую вида. Васъ вернуть къ мужу.

— О, лучше ужъ умереть!

— Да, я знаю это. Марина Григорьевна, повѣрьте моему сочувствію и позвольте мнѣ принять въ васъ посильное участіе. Я видѣлъ на своемъ вѣку, какъ сгибла отъ насильственнаго брака моя сестра, и понимаю васъ. Если вы повѣрите мнѣ, то вотъ мой планъ. Вы поѣдете ко мнѣ. Агафья Пантелеевна, мнѣ можно довѣриться? Ничѣмъ не рискуетъ Марина Григорьевна, если поѣдетъ къ моей теткѣ гостить?—обратился Гуршинъ къ кормилицѣ.

— Кому же и довѣриться, какъ не вамъ, батюшка?—ласково улыбнулась старуха.

— Ну, вотъ! Итакъ, Марина Григорьевна, вы поѣдете ко мнѣ, я васъ поручу своей старушкѣ-теткѣ, и вы будете тамъ совершенно безопасны, сорокъ сороковъ сыщиковъ васъ не найдутъ у меня! Тѣмъ временемъ мы будемъ стараться помирить вашего мужа съ мыслью, что вы не принадлежите ему, и устроимъ такъ, чтобы онъ далъ вамъ отдѣльный видъ на жительство. У меня въ Москвѣ есть кое какія не совсѣмъ еще по-

рванія связи. и, быть можетъ, мнѣ удастся повліять на вашего мужа черезъ знакомыхъ. Вотъ что я предлагаю отъ чистаго сердца, какъ могъ бы вамъ предложить вашъ братъ. И мой совѣтъ—послушаться меня.

— Благодарю васъ, отъ души благодарю!—сказала Марина Григорьевна, пожавъ руку молодого человѣка. — О, какой вы добрый, хорошій! Но я должна подумать. У меня голова кругомъ идетъ, и я не знаю, на что рѣшиться.

Марина Григорьевна отошла отъ стола и сѣла въ полутемномъ углу плохо освѣщенной избы. Вереницами пронеслись у нея мысли одна за другой, и она не знала, на что рѣшиться. Хотя мысль о монастырѣ и быстро явилась у нея, однако она укрѣпилась въ этой мысли, не передумала. Но вѣдь Гуршинъ былъ правъ—привести эту мысль въ исполненіе представлялось невозможнымъ. Идти къ мужу? Но сердце у Марины Григорьевны обливалось кровью при мысли объ этомъ, и, хотя утромъ она готова была страданіемъ пскупить свой поступокъ, ей все же было страшно думать даже о возвращеніи домой. Она чувствовала, что эта пытка, эта казнь ей не по силамъ. Такимъ образомъ надо было ждать гдѣ нибудь внѣ дома рѣшенія мужа. У кормилицы могли очень скоро найти ее, а ѣхать къ Гуршину...

Марина сильно задумалась надъ этой мыслью.

— Вы не рѣшаетесь, Марина Григорьевна?—подошелъ къ ней Гуршинъ. — Я хотѣлъ бы знать, почему? Будьте со мной откровенны, умоляю васъ объ этомъ! Я—человѣкъ простой, говорю всегда то, что думаю, а потому желаю слышать тоже одну правду. Пожалуйста!

— Я скажу вамъ правду. Я ничего не имѣю противъ того, чтобы ѣхать къ вамъ, я благодарю васъ за это, но... но зачѣмъ я дамъ моему мужу и его роднымъ поводъ думать обо мнѣ что нибудь дурное? Если они будутъ знать, что я ушла къ кормилицѣ, они не будутъ имѣть права обвинять меня, какъ это дѣлаютъ теперь, но если они узнаютъ, что найдутъ меня у васъ,—о, всѣ средства имъ будутъ даны, чтобы винить меня.

— Да! Но вотъ что: вѣдь вы-то сами знаете, куда и зачѣмъ идете? Да? Этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы прямо глядѣть всѣмъ вашимъ преслѣдователямъ въ глаза! А если они захотятъ обвинить васъ, то обвинять, даже не имѣя поводовъ, безъ всякихъ причинъ втопчутъ въ грязь! Вы боитесь общественнаго мнѣнія? О, не это называется общественнымъ мнѣніемъ! Знаете что, Марина Григорьевна? Берите отъ жизни все, что она дастъ вамъ, и не позволяйте людской пошлости отравлять ваше счастье; вѣдь счастье и такъ очень мало вы-

падаетъ на долю людей! Вы въ бѣдѣ—спасайте себя отъ злой бѣды и только людей не топите, спасая себя, а, что скажутъ эти люди, на то не смотрите! Если бы вы знали, какое сочувствіе вы вызвали во мнѣ, то повѣрили бы мнѣ. Сестра у меня дорогая, милая сестра сгнбла, и я вѣрю женскому горю! Да и помимо того... Вотъ вы такая молодая, хорошая, красавица, а васъ хотятъ погубить! Не давайтесь, бейтесь изо всѣхъ силъ!

Марина Григорьевна благодарными глазами смотрѣла на Гуршина и, когда онъ кончилъ, протянула ему руку.

— Да, вы правы! Благодарю васъ. Отвезите меня къ вашей теткѣ!

— Вотъ люблю, — весело воскликнулъ Гуршинъ, — страхъ какъ люблю, когда человѣкъ борется, не подставляетъ шеи подъ топоръ людской, не падаетъ подъ ударами судьбы! Эй, Степанъ, задай, поди, голубчикъ, моему гнѣдому овса, да лучше—двоихъ завтра повезетъ! Какъ прокачу васъ, Марина Григорьевна, чудо! Ни раза не ѣзжали вы такъ на городскихъ рысакахъ за жирѣлыхъ! А теперь, Агафья Пантелеевна, не худо и уснуть, потому что завтра встанемъ раненько, по-деревенски.

VII.

Только что разсвѣтало. Позднее осеннее солнце какъ-то лѣниво вставало изъ-за лѣса, точно ему не хотѣлось выходить на холодный, свѣжій воздухъ мглистаго осенняго дня, но только что взошло, какъ сразу заискрилось, заблестало и освѣтило умирающую природу, обѣщая чудный день бабьяго лѣта.словно позолоченныя, стояли березы тянувшейся по большой дорогѣ рощи, пурпуромъ горѣли придорожныя осины, холоднымъ блескомъ стали сверкала извивающаяся въ отлогихъ берегахъ рѣчка, а по ту сторону ея, на сжатомъ полѣ, цѣлыми вереницами перелетали съ мѣста на мѣсто воробьи, отчаянно чирикавая и наполняя воздухъ пискомъ.

По большой дорогѣ, которая то спускалась въ лошинки, то взбѣгала на пригорки, бодрой рысью бѣжалъ статный гнѣдой конь, запряженный въ маленькій тарантасикъ, въ которомъ сидѣли Гуршинъ и Марина. Въ изящной бархатной шубкѣ, покрытая шелковымъ платочкомъ, бѣленькая, хрупкая горожанка являлась рѣзкимъ контрастомъ съ этимъ тряскимъ, грубымъ тарантасикомъ, вздымавшимъ за собою облако пыли, и съ сидящимъ рядомъ молодымъ человѣкомъ, въ своей сѣрой сибиркѣ похожимъ на какого нибудь прасола, проводящаго большую часть жизни подъ открытымъ небомъ. Гуршинъ и шутилъ на эту тему, стараясь развлечь свою видимо грустившую спутницу.

— Мужики, которые намъ попадаются на дорогѣ, удивляются, я думаю, глядя на насъ! Вѣдь вы—совсѣмъ барышня го-

родская, я же—мужикъ мужикомъ, а между тѣмъ сижу съ вами рядомъ, разговариваю запросто. Будемъ подъѣзжать къ дому—знакомые станутъ попадаться, скажутъ, что Семень-де Максимычъ изъ города барышню похитилъ, воровствомъ-де сталъ заниматься!

— Похитили и то!—грустно улыбнулась Марина.

— Да-съ, смѣю похвастаться! Изъ пышныхъ чертоговъ везу красавицу-принцессу въ мрачные лѣса и дебри!..

— Куда такъ страшно хочется попасть этой принцессѣ! Но надолго ли похитилъ ее смѣлый рыцарь? Не придетъ ли съ силой-ратью великою владѣлецъ пышныхъ чертоговъ и не возьметъ ли ея назадъ? Ахъ, какъ мнѣ страшно, жутко, тоскливо!

— Э-э, полноте! Перемелется—мука будетъ.

— Да, но каково вынести этотъ перемоль-то? Вѣдь перемалываютъ тяжелымъ жерновомъ! Что я такое теперь? Каково мое положеніе? Бѣглая!

— Называйте себя, какъ хотите, а я назову васъ женщиной, которая не можетъ вынести дикій произволъ и смѣло идетъ на новую жизнь, сбросивъ съ себя силой надѣтое ярмо! Даже погибнуть, и то весело такимъ образомъ, потому что будешь утѣшать себя мыслью, что погибъ за смѣлое дѣло самоосвобожденія отъ тяжелой неволи, въ которую отдали тебя ради дикаго произвола! Погибая будешь имѣть сознаніе, что хоть показалъ примѣръ, до чего можетъ довести такой произволъ, и тѣмъ удержишь отъ его проявленія другихъ. Вы думаете, не задумается иной родитель отдавать свою дочь силой, услыхавъ вашу исторію? Задумается! Не задумается иной полудикарь жениться на дѣвушкѣ, не спросивъ ея о томъ, чувствуетъ ли она къ нему что нибудь, кромѣ ненависти? Задумается!.. И вотъ вы такимъ образомъ послужите спасительницей многихъ. Развѣ это—не подвигъ? Развѣ не весело и погибнуть ради такого подвига? Но вы не погибнете, а будете еще жить и найдете еще себѣ счастье.

— Куда мнѣ о счастьѣ мечтать, Семень Максимовичъ!

— Нѣтъ, надо мечтать, непременно надо!.. Не будутъ вамъ давать его—сами берите. Разъ вы дали своему супругу такой чпоръ, разъ вы показали ему, что не хотите подставить шею подъ ярмо—онъ уже будетъ осторожнѣе и пойметъ, что силой не всегда можно завладѣть человекомъ, что иногда и робкая женская натура способна на смѣлый, рѣшительный шагъ, и, понявъ это, дастъ вамъ свободу. Да ему и невыгодно, глупо будетъ не дать! Если онъ самъ не додумается—доведутъ до этого сознанія люди, родня тамъ, друзья, знакомые...

— А мщеніе за мой поступокъ? Развѣ онъ, а особенно его мать и мой отецъ не захотятъ отмстить мнѣ, наказать меня?

— Это такъ, этого можно ожидать. Но что же дѣлать, надо претерпѣть.

— Претерпѣть!—грустно проговорила Марина вздрогнувъ.— Но хватитъ ли на это силъ?

— Хватитъ, если вы будете знать, что вы — мученица за идею, что послѣ горя вы добьетесь свѣтлаго праздника, великой радости свободы. Марина Григорьевна, мы еще поговоримъ съ вами объ этомъ, а теперь мы пристали хотя къ временной, но тихой пристани. Вотъ за лѣскомъ мой домишко, моя усадьбишка.

На высокомъ пригоркѣ, вершина котораго вѣнчалась густо разросшейся рощей, а подошва омывалась небольшою рѣчкой, стояла усадьба Гуршина, отдѣленная отъ сосѣдней деревни Полыневки полемъ. На зеленомъ фонѣ рощи виднѣлся небольшой домикъ, сверкающій новыми бревенчатыми стѣнами и тесовой крышей, лѣвѣе, спускаясь съ горы, шли постройки: сарай, рига, конюшня, а позади, на опушкѣ рощи, чернѣлъ уродливой крышей кирпичный заводъ, и совсѣмъ уже внизу, на рѣкѣ, стучала и пѣла водяная мельница, вокругъ которой копошилось нѣсколько рабочихъ и мужиковъ-помощниковъ. Эта усадьба не была похожа на дворянское гнѣздо, по отсутствію какихъ либо затѣй, вродѣ бесѣдочекъ, кіосковъ, садишковъ и палисадничковъ. Не походила она и на поселокъ деревенскаго кулака, непременно поражающій рѣзкими контрастами: домъ самого владельца обыкновенно бываетъ великъ, аляповатъ, съ ярко выкрашенной крышей, а рядомъ съ нимъ чуть не курный избы рабочихъ, грязь, бѣдность, неуютность. Нѣтъ, тутъ все было прочно, свѣжо и доказывало присутствіе хорошаго хозяина и достатокъ. Вычурныя затѣи тутъ вполнѣ могъ замѣнить прекрасный видъ, открывавшійся съ пригорка на лѣса, поля, раскиданныя деревни и извилистую рѣчку съ очень живописными берегами.

— Славное мѣсто!—замѣтила Марина.

— Мѣсто привольное,—согласился Гуршинъ.—Только зимою тутъ непривычнаго человѣка тоска заѣстъ, потому что все покроютъ снѣжки бѣлые пушистые и словно умереть все.

— А вамъ не скучно?

— Мнѣ весело. Я вотъ тутъ только и живу, а въ гордѣ меня точно душить что.

Быстро миновали плотину, поднялись на пригорокъ и въехали на широкій дворъ, окруженный постройками.

Встрѣтившіе Гуршина работники и помощники кланялись ему

и съ удивленіемъ оглядывали Марину. У тесоваго невысокаго крыльца Семенъ Максимовичъ остановилъ лошадь и передалъ вожжи подошедшему парню въ новой, сильно пахнувшей овчинной дубленкѣ.

— Коня выводи хорошенько, Гриша, а потомъ вотъ изъ тарантасика покупки достань и отнеси въ домъ!—распорядился онъ, помогая Маринѣ Григорьевнѣ выйти.—Сѣмена, которая я велѣлъ Прохору отвезти, отвезъ?

— Нѣтъ, Семенъ Максимычъ.

— Нехорошо, не люблю этого!—сдвинулъ брови Гуришинъ.

— Да я, вишь ты...

— Отговорокъ не надо!.. Сказано—сдѣлано, надо сдѣлать, а то мы, если такъ слушать другъ друга будемъ, въ разладъ пойдемъ. Убереешь коня, отведи.

— Ладно, сейчасъ же отвезу.

— Ветеринара къ овцамъ приводилъ?

— Приводилъ, вчера же приводилъ. Далъ онъ лекарства, а сегодня по его сказу я лечилъ овецъ - то. Кажись, лучше, а та, твоя любимая-то, вовсе здорова.

— Отлично!.. Ну, убирай коня, да и къ Прохору съ сѣменами.

Работникъ, кончивъ дѣловой разговоръ, улыбнулся просто-душно-ласковой улыбкой и спросилъ совершенно уже другимъ тономъ, оглядѣвъ Марину.

— Гостейку изъ города привезъ, Семенъ Максимычъ?

— Да, привезъ вотъ... На базарѣ купилъ, на московскомъ...

— Хе-хе-хе!.. Ничего, такую бы и я купилъ... Поди, дорого далъ?

Парень смѣясь отвелъ коня къ сторонкѣ и сталъ выпригать, а Гуришинъ съ Мариной поднялся по скрипучей лѣсенкѣ на крыльцо и отворилъ дверь въ сѣни. Онѣ были очень просторны, свѣтлы и служили вмѣсто прихожей и кладовой; по стѣнамъ стояли шкафы, сундуки и лари. Изъ сѣней вела дверь въ жилыя комнаты, и на порогѣ ея стояла старушка въ синемъ сарафанѣ и въ бѣлой сорочкѣ. Рослая, статная, она, должно быть, была когда-то очень красива, теперь же ея доброе, морщинистое лицо съ ясными ласкающими глазами было очень привлекательно и дышало такой патріархальной добротою, которая сохранилась лишь на лицахъ старушекъ старозавѣтнаго купечества, ушедшихъ отъ міра и живущихъ гдѣ нибудь въ глуши, всего больше въ скитахъ. Старушка съ любопытствомъ глядѣла на гостью и, еще не зная, кто она и что она, ласково улыбнулась ей.

— Здорово, тетушка Степанида, какъ поживаешь, милая?—обратился къ ней Гуришинъ, вводя Марину въ комнаты.

— Здорова, Сеня... Живу помаленьку... Ты какъ съѣздилъ?

— Съѣздилъ ладно, тетушка. Купилъ тебѣ свѣчей восковыхъ и ладонку, какъ ты наказывала...

— Спасибо. А это что за гостыюшку привезъ? Чья такая?

— А это послѣ скажу. Хорошая хозяйка сперва хлѣбомъ-солью потчуетъ, а потомъ уже разспрашиваетъ. Давай-ка намъ самоварчикъ да яичницу сдѣлай, да грибовъ подай, да еще чего нибудь. Позвольте, Марина Григорьевна, шубку вашу. Вотъ убери - ка, тетушка, шубку, да береги — дорогая; мы съ тобою отвыкли отъ бархатовъ. Пожалуйста сюда къ столику, Марина Григорьевна, вотъ на эту скамью... поудобнѣе она, пошире. Оглянитесь, осмотритесь, а я пока по дѣламъ отлучусь на минуточку, народъ ждетъ меня.

Гуршинъ вышелъ, и Марина услышала его звонкій голосъ подъ окнами. Онъ рѣзко кому-то выговаривалъ что-то и доводилъ порой свой звонкій голосъ до крика.

Марина оглядѣлась. Просторная, очень свѣтлая и чистая комната мало походила на что нибудь виданное молодой женщиной. Жилище Гуршина было оригинально. Уголь большой, аршинъ въ пятнадцать длиною, комнаты занималъ простой сосновый столъ, окруженный чисто выструганными липовыми лавками. Въ простѣнкѣ двухъ оконъ стоялъ другой столъ, тоже некрашеннаго дерева, но поменьше. На этомъ столѣ въ замѣчательномъ порядкѣ были разложены книги, тетради, какія-то бумаги, стояла чернильница, лежали счеты. Предъ столомъ стоялъ табуретъ изъ такого же сосноваго дерева, какъ и столъ. По одной изъ стѣнъ тянулся широкій шкафъ, сквозь стекла котораго виднѣлись книги на полкахъ, поставленные въ большемъ порядкѣ, а на шкафу стояли чучела птицъ и мелкихъ животныхъ. По одну сторону шкафа стоялъ токарный станокъ, по другую — на стѣнѣ были развѣшены ружья и различныя охотничьи принадлежности. Широкая печка заняла другую стѣну, а третья стѣна съ дверью въ сосѣднюю комнату была увѣшана фотографіями. Тутъ, кромѣ родныхъ и знакомыхъ хозяина, были выдающіеся дѣятели литературы, науки и искусства. Дощатый полъ былъ очень чистъ и ровенъ, стѣны, ничѣмъ не оклеенныя и не крашенныя, вѣроятно стругались и мылись раза два въ годъ, потому что ни копоти, ни пыли на нихъ не было. Съ потолка спускалась большая висячая лампа съ абажуромъ.

Марина Григорьевна прочла заглавія нѣкоторыхъ книгъ и встрѣтила, наряду съ русскими и иностранными беллетристами, нѣсколько специальныхъ книгъ по сельскому хозяйству, пчеловодству и огородничеству.

Не успѣла еще она хорошенько оглядѣть комнату, какъ кра-

сивая старуха внесла кипящій самоваръ, накрыла столъ чистой скатертью и приготовила посуду. Войдя затѣмъ съ приборомъ для завтрака, она ласково поглядѣла на гостью и улыбнулась.

— Не терпите бабье-то любопытство, родная, не дожدهшься, пока Сенечка скажетъ, кто ты такая. Скажи ужъ ты мнѣ сама, утѣшь старуху!—обратилась она къ Маринѣ Григорьевнѣ.

— Длинная моя повѣсть, бабушка, и странная очень,—проговорила Марина, поставленная въ очень неловкое положеніе и не знавшая, какъ ей назвать себя, какъ объяснить свой странный прїѣздъ; ей было не только неловко, а даже какъ-то страшно, стыдно.

Старуха сѣла рядомъ съ нею и заглянула ей въ лицо.

— Можетъ, зазнобушка ты сенина?—спросила она.—Ты ничего, говори. Что же, парень онъ—молодой, жениться не хочетъ, можно ему и зазнобушку.

— О, нѣтъ!—покачала головой Марина.—Вы подождите немного, бабушка, вотъ придетъ Семенъ Максимовичъ, онъ вамъ и разкажетъ все.

— Ладно, милая, ладно. Только ты ему не говори, что я тебя вопросами своими утруждала. Не любитъ онъ, когда въ его дѣла мѣшаются. Хорошій онъ, добрый, души ангельской, а крутенокъ. Какъ звать-то тебя, милая?

— Марина... Марина Григорьевна.

— А я—Степанида Егоровна; теткой я Сенѣ-то довожусь, родная сестра родителя его. Колечко у тебя на пальчикѣ обручальное; замужемъ, стало быть?

— Да... нѣтъ... замужемъ; Степанида Егоровна.

— Молоденькая еще да пригожая,—сказала старуха вздохнувъ.—Хорошо съ мужемъ-то живешь?

— Я не живу съ нимъ.

— Ишь, ты. То-то, гляжу я, удрученная ты такая.

— Удрученная?—переспросила Марина.

Это слово какъ нельзя больше подходило къ ея настоящему положенію.

— Да! Не сладка, стало быть, жизнь была, если съ мужемъ не живешь. Я вотъ прожила съ мужемъ двадцать лѣтъ. Роптать не роптала, а горя отвѣдала вдосталь. Выдали меня молоденькую, а мужу-то за сорокъ было. Буйный былъ, покойникъ, пилъ много и тѣшить руку, то есть драться, очень любилъ. Били его въ компаніяхъ много за руку, ну, такъ онъ надо мной и срывалъ обиду—надо мной рученьку свою тѣшилъ безъ помѣхи!

— Билъ васъ?—съ ужасомъ спросила Марина.

— Билъ. Бьетъ рукой, а потомъ плеть возьметъ. плетью бьетъ, и не любилъ, чтобы плакала, когда бьетъ. И-и, Боже сохрани!

— И вы жили? Не ушли отъ него?

— Да куда же отъ него уйдешь? Уйдешь—приведутъ. А вънецъ-то? Развѣ можно его нарушить? Жила, милая, терпѣла да Богу молилась, а теперь вотъ его грѣхи замаливаю. Племнничекъ мнѣ уголъ вотъ далъ, хлѣбомъ кормить. Наверху горенка у меня. Поработаю вотъ, потружусь, а ночью помолюсь. Сладко молиться-то, когда знаешь, что есть за кого, когда думаешь, что молитва твоя хоть сколько нибудь облегчить грѣхъ покойнику.

— И нѣтъ у васъ злобы на мужа?

— Какая же злоба, если онъ—мужъ? Мужъ воленъ надъ женою. А жизни моей онъ не загубилъ, живая я, вишь ты. Опять же наша земная жизнь—пустое дѣло. Жизнь тамъ, на томъ свѣтѣ, милая. А вотъ и Сеня идетъ!—Старуха встала и пошла изъ комнаты.—Надо яичницу нести, а то, ихъ... вспыхнетъ! Хе-хе-хе! Огневый онъ у насъ, въ родителя своего!

— Заскучали, Марина Григорьевна?—спросилъ входя Семенъ Максимовичъ.—Эй, кто тамъ? Кушать давайте! А я все по хозяйству. Трудное это дѣло—хозяйство и хорошее дѣло, живемъ всѣмъ существомъ: то тебя излюбленная идея подмываетъ и ради нея вытягиваешься, то мелочь взволнуетъ и всего вотъ такъ взбудоражить! Сейчасъ мужиковъ сосѣдскихъ ругалъ. Варвары... собственности чужой не уважаютъ. Однако это навѣрно васъ нисколько не занимаетъ? Вотъ мы лучше насчетъ житья-бытья вашего поговоримъ да закусимъ, да чайку выпьемъ. Эй, тетушка, или на чужой дворъ за яйцами-то для яичницы ходила? Шевелись, старая!

— Несу, Сеня, несу. Вотъ и я, готово все.

За чаемъ Гуршинъ разсказалъ теткѣ всю исторію Марины Григорьевны и поручилъ свою гостью попеченіямъ старухи.

— Отведи, тетушка, комнату Маринѣ Григорьевнѣ,—закончилъ онъ разсказъ,—постарайся такъ устроить ее, чтобы ей не было скучно и непріятно. Будемъ, словно въ сказкѣ, оберегать красавицу-принцессу отъ Змѣя-Горыныча. О бѣлѣ ей и лишнемъ платѣ... Васъ не можетъ это оскорблять и стѣснять, Марина Григорьевна,—обратился онъ къ молодой женщинѣ,—вѣдь вы берете у меня займы, а, когда устроите свои дѣла, отдадите хоть съ процентами даже! Впрочемъ. быть можетъ, у васъ есть деньги?

— Нѣтъ, я ничего не взяла съ собою. У меня вотъ эти серьги есть. Если бы было возможно продать ихъ...

— Очень возможно! Покажите мнѣ! — Гуршинъ тщательно поглядѣлъ на поданную ему брилліантовую сережку. — Эти серьги стоятъ въ магазинѣ около тысячи рублей, а дадутъ за нихъ гораздо меньше... впрочемъ рублей семьсотъ дадутъ.

— Я бы очень желала продать ихъ. Онѣ мои собственныя.

— Да? Это—ваше дѣло, и, если вы непремѣнно желаете, я при первой же поѣздкѣ въ городъ продамъ ихъ.

Такъ и порѣшили.

Къ вечеру Марина Григорьевна устроилась въ маленькой комнатѣ, рядомъ съ мещанской Степаниды Егоровны, и, какъ одинъ день, прожила двѣ недѣли въ своемъ новомъ жилищѣ, въ полномъ невѣдѣніи о томъ, что дѣлается въ домѣ ея мужа и вообще въ Москвѣ. Она проводила это время, то работая что нибудь, то читая, то разговаривая съ Гуршинымъ, который многому ее научилъ, много далъ новыхъ взглядовъ на жизнь и на людей.

VIII.

Станный былъ человекъ этотъ Гуршинъ и странно сложилась его жизнь. Его отецъ былъ сыномъ очень богатаго купца, не совсѣмъ честнымъ путемъ нажившаго громадное состояніе. Деспотичная, дикая натура дѣда Гуршина вогнала въ гробъ двухъ женъ, изъ которыхъ первая подарила ему трехъ дѣтей. Старшій сынъ умеръ отъ невыразимаго деспотизма отца, дочь, Степанида Егоровна, была выдана замужъ и терпѣла всю жизнь семейную каторгу, а младшій сынъ—отецъ Гуршина—пережилъ отца, борясь съ его дикимъ нравомъ, но зато кончилъ жизнь въ больницѣ, весь изломанный нравственно и измученный непосильной борьбою.

Это былъ одинъ изъ типовъ протестанта добраго, стараго времени, которые часто встрѣчались въ купеческихъ семьяхъ стараго закала и обыкновенно гибли въ борьбѣ съ невежествомъ и дикимъ произволомъ.

Максимъ Гуршинъ полюбилъ театръ и былъ увлеченъ общимъ потокомъ къ отыскиванію разумной жизни, который хлынулъ тогда на русскую молодежь. Жадно ловя новое слово, бросаясь то къ литературѣ, то къ театру, то къ наукѣ, которую тогда популяризовали всѣми силами, молодой купецъ конечно встрѣтилъ сильное препятствіе въ лицѣ отца. Его книги жгли, за посѣщеніе театра били, а всего болѣе били за проявленіе самостоятельности. Молодой человекъ дождался совершеннолѣтія и ушелъ отъ отца безъ гроша въ карманѣ, безъ знакомства, проклятый и отвергнутый всею роднею, всѣми по-

слѣдователями отцовскаго ученія, основные принципы котораго были построены на систематическомъ уничтоженіи личности. Онъ нашелъ себѣ мѣсто конторщика и зажилъ самостоятельной жизнью, отдавшись ученію, посѣщенію театра, отыскиванію истины въ популярныхъ книжкахъ и журнальныхъ статьяхъ того увлекающаго и увлекающагося времени. Тутъ онъ гдѣ-то встрѣтилъ дѣвушку изъ бѣдной чиновничьей семьи, тоже жаждавшую истины, и женился на ней. Первые годы послѣ брака шли очень хорошо, супруги много работали, не терпѣли большой нужды; но года черезъ четыре, когда у нихъ уже были сынъ и дочь (Семенъ Гуршинъ былъ старшимъ), въ измученномъ молодомъ человѣкѣ произошла перемѣна—онъ сталъ пить.

Пили такіе молодые люди того времени страшно. Это не былъ кутежъ съ попойками, съ разгуломъ широкой натуры, не знавшей удержа. Это было прожиганіе жизни, систематическое разрушеніе организма, а вмѣстѣ съ нимъ — абсолютная трата ума, характера, чувства. Грязная каморка съ маленькимъ окномъ, мало пропускавшимъ свѣта, кровать съ лохмотьями вмѣсто постели, тѣма, грязь, сырость,—и въ такой обстановкѣ молодой человѣкъ, полный силъ, но заѣдаемый средою, какъ было принято называть такихъ молодыхъ людей, жилъ неизвѣстно зачѣмъ и пилъ мертвую. Въ рѣдкіе промежутки трезваго или скорѣе полутрезваго состоянія шли бесѣды съ такими же заѣденными средой о высокихъ предметахъ, а потомъ опять пьянство.

Максима Гуршина отъ окончательной гибели спасла жена, очень хорошая, душевная женщина. Она вытащила его изъ этого страшнаго мрака и сумѣла привязать къ жизни, заставила полюбить эту жизнь. Потомъ умеръ его отецъ, простившій предъ смертью блуднаго сына и оставившій ему все состояніе.

Съ Максимомъ произошла реакція. Деньги сдѣлали свое дѣло; почувствовавъ крупное состояніе въ своихъ рукахъ, онъ по-другому взглянулъ на жизнь и сталъ рѣшать мучившіе его вопросы на ногый ладъ. Произошло нѣчто очень дикое, и убѣжденія мылкаго юноши, схватившаго верхушки образованія, получившаго отрывки знаній, слились, такъ сказать, съ убѣжденіями богатаго купца, понимавшаго свою силу. Отъ такой смѣси получились человѣкъ, про котораго говорятъ—„отъ одного берега отсталъ, а къ другому не присталъ“. Богатство не позволило якшаться съ прежними пріятелями изъ интеллигентнаго пролетаріата, а свой кружокъ казался низкимъ.

Такихъ купцовъ тогда было очень много, и въ семейномъ деспотизмѣ они были много хуже полныхъ дикарей. Такъ и

Максимъ Гуршинъ. Онъ далъ сыну и дочери нѣкоторое образованіе и образованныхъ-то гнулъ своей властной рукой не меньше любого Кита Китыча. Семень вынесъ такую ломку—она только характеръ его закалила, а его сестра, нѣжная, хрупкая дѣвушка, не перенесла образованной дикости родителя и умерла въ чахоткѣ, сперва замученная дома, а потомъ выданная замужъ за какого-то проходимца, сумѣвшаго понравиться ея отцу громкими фразами и мнимымъ образованіемъ.

Семень Максимовичъ ушелъ въ себя, объявивъ войну отцу, но не запилъ, какъ тотъ, въ такой же войнѣ, а занялся дѣломъ: онъ принялся изучать сельское хозяйство, почувствовавъ непреодолимое отвращеніе къ городу съ его дразгами, сплетнями, мелочами и дешевыми тратами лучшихъ силъ ума и души. Скоро его отецъ умеръ и оставилъ ему клочки когда-то громаднаго состоянія, потраченнаго на проявленіе довольно дикаго меценатства съ одной стороны и расхищеннаго проходимцемъ-зятемъ—съ другой.

Семей Максимовичъ бросилъ тогда городъ, купилъ небольшое имѣніе и поселился тамъ окончательно. Чувствовалъ онъ себя въ деревнѣ прекрасно, и хозяинъ изъ него вышелъ очень хорошій и дѣльный.

Вотъ каковъ былъ новый знакомый Марины Григорьевны, давшій ей пріютъ и объявившій изъ-за нее войну ея мужу, отцу и свекрови.

Прошло болѣе недѣли, а о пропавшей Маринѣ Григорьевнѣ не было ни слуха, ни духа. Покинутый ею мужъ, уполномочивъ мать и дядю заняться розысками жены, уѣхалъ путешествовать, очень довольный собою и тѣми сплетнями, которыя были пущены имъ и его дядей по городу.

Иванъ Борисовичъ почувствовалъ себя вполне хозяиномъ дѣла и былъ тоже очень доволенъ. Весь отдавшись дѣлу и расположивъ къ себѣ такимъ рвеніемъ свояченицу, онъ часы досуга употреблялъ на розыски Марины Григорьевны, красота которой не давала ему покоя и будоражила его сластолюбіе. Прощедшій по городу слухъ, что молодая утопилась, не смущалъ его; онъ думалъ, что красавица не захочетъ такъ дешево погубить свою юную жизнь и сперва попробуетъ побороться; притомъ же онъ былъ увѣренъ, что въ случаѣ самоубійства Марина Григорьевна, во-первыхъ, оставила бы какую нибудь записку, а, во-вторыхъ, ея трупъ былъ бы непременно найденъ, какимъ бы способомъ. Она ни лишила себя жизни. Однако трупа не было, значитъ, она была жива.

Рѣшивъ такъ, Иванъ Борисовичъ занялся поисками Марины весьма усердно, показывая свояченицѣ видъ, что имъ руководить

чувство мести, а на самомъ дѣлѣ мечтая обладать впоследствии хорошенькой племянницей, поставленной въ ужасное положеніе и готовой на все. Заявивъ властямъ о пропажѣ жены племянника и попросивъ употребить всѣ мѣры къ розыску ея, онъ и самъ захотѣлъ помочь полиціи въ этомъ дѣлѣ. Онъ зналъ, что у Марины Григорьевны есть кормилица, очень близкая къ ней; эта кормилица была убита горемъ, когда узнала о скандалѣ, и пыталась защищать свою питомицу. Поэтому у него мелькнула мысль: не у старухи ли находится Марина Григорьевна?

„Очень можетъ быть, что красотка къ ней и дала стрекоча, — думалъ Иванъ Борисовичъ. — Больше-то некуда, подругъ никакихъ нѣтъ, а если и есть, то онѣ — особы несамостоятельныя, укрыть имъ Марину негдѣ. Дружка милаго тоже повидимому у нея не было, значить, она къ кормилицѣ этой и махнула! Если же не у старухи, то та все же должна знать, у кого“.

Рѣшивъ такъ, Иванъ Борисовичъ подумалъ еще попытать вѣтрёную красавицу Елену Игнатьевну Трусину, которая была ближе всѣхъ къ Маринѣ. Та положительно отвергла мысль о дружкѣ, но съ предположеніемъ насчетъ кормилицы согласилась и сообщила Ивану Борисовичу мѣсто ея жительства.

Сперва ловкій дядюшка хотѣлъ было самъ поѣхать въ Ситунъ произвести дознаніе, какъ онъ говорилъ, но потомъ нашелъ, что лучше это поручить кому нибудь изъ служащихъ поумнѣе. Таковымъ онъ нашелъ конторщика Павла Петровича Бусова.

Этотъ Бусовъ выросъ въ домѣ Лоскутниковыхъ, будучи взятъ сиротой послѣ одного изъ служащихъ. Покойный Лоскутниковъ далъ ему образованіе въ мѣщанскомъ училищѣ, пріучилъ потомъ къ дѣлу, и изъ мальчика вышелъ очень дѣльный, трудолюбивый и весьма скромный молодой человекъ, имѣвшій лишь одинъ недостатокъ съ точки зрѣнія хозяевъ: онъ не умѣлъ преклоняться предъ ихъ величіемъ и держалъ себя довольно гордо, по ихъ мнѣнію. „Очень ужъ образованъ“, — говорили про него, но, какъ дѣльнаго работника, держали охотно, хотя ласкали другихъ.

Бусовъ жилъ на отдѣльной квартирѣ, гдѣ-то за Серпуховской заставой, одинокимъ бобылемъ и, бывая цѣлый день на занятіяхъ, ходилъ иногда вечеромъ въ театры, а въ праздники охотился съ ружьемъ. Ни перваго, ни втораго занятій его хозяева не одобряли, но опять-таки смотрѣли на это сквозь пальцы, цѣня его трудъ.

Этого-то вотъ конторщика и рѣшилъ сдѣлать своимъ помощникомъ Иванъ Борисовичъ въ дѣлѣ розыска. Онъ какъ-то при-

казалъ позвать его къ себѣ въ кабинетъ, встрѣтилъ радушнѣе, ласковѣе, чѣмъ всегда, и кивнулъ на близстоявшій стулъ, говоря:

— Садитесь, Бусовъ.

Молодой человекъ сѣлъ, непріятно поразивъ Ивана Борисовича такимъ скорымъ принятіемъ величайшей милости.

— У меня есть до васъ дѣло, Бусовъ,—продолжалъ Иванъ Борисовичъ, закуривая папиросу. — Вы вѣдь, кажется, — охотникъ? ходите пострѣливать въ свободные дни?

— Да-съ...

— По окрестностямъ Москвы конечно ходите главнымъ образомъ?

— Да.

— Знаете вы деревню Ситунъ?

— Ситунъ? Да, знаю. Это недалеко отъ Москвы, по Дорогомиловскому шоссе.

— Вотъ, вотъ!..—Иванъ Борисовичъ затанулся, кашлянулъ и прошелся по кабинету. — У меня есть, говорю я, дѣло до васъ, Бусовъ, и дѣло очень серьезное. Я никого не нашелъ умнѣе и ловче васъ для этого дѣла, такъ что вы постарайтесь оправдать мое довѣріе.

Бусовъ молча поклонился.

— Видите ли, въ чемъ дѣло, — продолжалъ Иванъ Борисовичъ:—вамъ конечно извѣстно, что у моего племянника пропала жена, убѣжала въ самый день брака... Я не буду входить въ мотивы этого поступка, потому что это васъ не касается, я сообщу вамъ только, что члены нашей фамиліи рѣшили найти эту, нарушившую священное право брака, преступную жену для водворенія ея въ домъ законнаго мужа.

Бусовъ сталъ слушать съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Розыскъ преступницы порученъ полиціи, но я хотѣлъ бы непосредственно найти ее,—продолжалъ Иванъ Борисовичъ, начиная увлекаться своимъ краснорѣчіемъ. — Я хотѣлъ бы самъ водворить ее въ нѣдра оскорбленной ею семьи...

— Ну-съ? — проговорилъ Бусовъ, какъ-то измѣнившись въ лицѣ и сдвинувъ брови.

— Помощникомъ въ этомъ дѣлѣ я желаю взять васъ, Бусовъ. Надо вамъ сказать, что у Марины Григорьевны Лоскутниковой, урожденной Ладыжниковой, есть кормилица, очень ей преданная и ею любимая. Она живетъ въ деревнѣ Ситунъ. Вы должны пойти на охоту, зайти, будто мимоходомъ, къ этой кормилицѣ...

— И разнюхать у нея о мѣстѣ нахожденія супруги вашего племянника?—спросилъ Бусовъ вставая.

— Да, да, совершенно вѣрно! — согласился Иванъ Борисовичъ, съ удивленіемъ глядя на молодого человѣка.

Тотъ стоялъ, вытянувшись во весь ростъ и гордо закинувъ голову назадъ. Онъ былъ очень красивъ въ эту минуту, высокій, статный, съ гнѣвно сверкающими глазами, съ всегда блѣднымъ, но теперь вспыхнувшимъ негодованіемъ лицомъ.

— Да, совершенно вѣрно, вы угадали меня, — повторилъ Иванъ Борисовичъ.

— Я служу здѣсь конторщикомъ, Иванъ Борисовичъ, и сыскная часть на мнѣ не лежитъ и лежать не будетъ, такъ какъ къ должности сыщика влеченія не чувствую, — рѣзко проговорилъ Бусовъ.

— Но позвольте, позвольте, вѣдь я... вѣдь я честь вамъ дѣлаю... Я, въ качествѣ дяди Акима Осиповича, обязанъ найти его жену и водворить на мѣсто. Я уполномоченъ на это, я чувствую въ этомъ свой долгъ и васъ приглашаю помощникомъ... Сыщикъ!.. Не сыщикъ—вы, а... а нѣкоторымъ образомъ членъ нашего семейства...—Иванъ Борисовичъ вдругъ понялъ, что зарепортовался и вошелъ въ ложныя отношенія съ этимъ своимъ служащимъ. Онъ нахмурился и сдѣлалъ строго-холодное лицо.—Впрочемъ я не обязываю васъ дѣлать это, милѣйшій,—другимъ тономъ сказалъ онъ.—Я хотѣлъ поощрить васъ этимъ моимъ полномочіемъ, но вижу, что вы того... Я найду другого. Можете идти къ своимъ занятіямъ... Прощайте-съ!..

Бусовъ все это время напряженно думалъ. При послѣднихъ словахъ Ивана Борисовича онъ поднялъ голову.

— Простите меня, Иванъ Борисовичъ, я не понялъ васъ и былъ рѣзокъ, — сказалъ онъ. — Простите, извините меня... Я исполню ваше порученіе. Да, я исполню и исполню хорошо. Благодарю васъ за то, что вы именно меня выбрали для этого.

„Ага, спохватился!“ — подумалъ Иванъ Борисовичъ, приписывая раскаяніе молодого человѣка своему внушительному виду и умѣнью обуздать.

— То-то, мой милый,—улыбнулся онъ.—Вы все вотъ такъ, а потомъ каяться будете... Садитесь-ка, курите вотъ, да и поговоримъ. Стало быть, сдѣлаемъ мы вотъ какъ: вы отправитесь сегодня же на охоту, зайдете въ Ситунъ, отыщете тамъ кормилицу эту—ее зовутъ Агафьей Пантелеевной,—попроситесь переночевать и заведете разговоръ о Москвѣ, о новостяхъ. Дѣло непременно коснется нашей исторіи, и вы многое узнаете, то есть вы съ помощью нѣкоторой ловкости непременно узнаете, гдѣ Марина Григорьевна, если кормилица знаетъ о ея мѣстопребываніи. Она, можетъ быть, даже у старухи. О, если бы такъ!.. Мы бы ее вотъ какъ сцапали!.. Чудо!.. Знайте, мой ми-

лѣйшій, что, если вы поможете мнѣ найти эту шалунью, я васъ не оставлю. Не оставятъ васъ и Акимъ Осиповичъ, и его матушка, и кто посердится, такъ это только одна Мари-почка... Ха-ха-ха!.. Она посердится, крѣпко посердится, потому что мы ее того, на замочекъ!.. Ну, да вамъ до ея сердца такое же дѣло, какъ мнѣ до судьбы Ивана Ивановича Иванова Стотысячнаго...

— Конечно. Какое мнѣ дѣло, что Акимъ Осиповичъ съ матушкою загубятъ какую-то тамъ чуждую мнѣ женщину? Пусть она молода, пусть она хочетъ жить—мнѣ-то какое дѣло?

— Конечно! Такъ вы сегодня же и отправляйтесь. Дѣла особаго нѣтъ?.. Да впрочемъ къ бѣсу все дѣла!.. Я съ нетерпѣніемъ буду ждать васъ... Да, вотъ въ чемъ вопросъ: васъ не знаетъ ни Марина Григорьевна, ни ея кормилица?

— Нѣтъ.

— Ну, и отлично. А то бы могло возникнуть подозрѣніе, что вы посланы. Итакъ, съ Богомъ! Ну, голубчикъ, можетъ быть, вы во всю свою жизнь не охотились такъ счастливо, какъ поохотитесь сегодня!.. Ха-ха-ха!.. Вы тамъ зайцевъ да утокъ стрѣляли, а теперь, быть можетъ, застрѣлите такую птаху, что люли малина! Ха-ха-ха!.. Вѣрно?

— Да, вѣрно.

— То-то!.. Ну, ступайте, мой милый!.. Ба, можетъ, вамъ денегъ надо? Расходы тамъ, то, другое...

— Нѣтъ, благодарю васъ, у меня есть на это.

— Ну, послѣ, за все вмѣстѣ получите.

Иванъ Борисовичъ величественнымъ жестомъ опереточнаго короля кончилъ аудіенцію и отпустилъ Бусова.

Молодой человѣкъ вышелъ изъ кабинета хозяина, постоялъ въ корридорѣ, подумалъ и, не заходя въ контору, медленно пошелъ на свою квартиру къ Серпуховской заставѣ.

IX.

Былъ второй часъ пополудни. Денекъ выдался сѣренькій, какого-то будничнаго колорита. По небу плыли тяжелыя облака, но дождя не было—его разогнало довольно рѣзкимъ сѣвернымъ вѣтромъ.

По опушкѣ небольшой рощи, которая, словно украдкой, выросла на ровной долинѣ, тянувшейся по обѣ стороны Смоленскаго шоссе, шелъ одинокій охотникъ. Это былъ молодой человѣкъ высокаго роста, стройный и крѣпко сложенный. Онъ легко ступалъ сильными, проворными ногами, обутыми въ высокіе сапоги, и видимо торопился. Около пояса, стягивавшаго его станъ, облеченный въ простенькій сѣрый костюмъ, болтался

убитый заяцъ, изъ сѣтки ягдташа виднѣлись перья какой-то птицы. Можно было бы назвать очень красивымъ этого одинокаго охотника съ правильными чертами красиваго, хотя и блѣднаго, безжизненнаго лица, опущеннаго окладистой черной бородкой, съ черными задумчивыми глазами, но общее впечатлѣніе портила рѣзкая морщина, вертикально прорѣзывавшая лобъ и придававшая ему злое, жестокое выраженіе.

Пройдя рощу, охотникъ оглянулся кругомъ и еще быстрѣе пошелъ по берегу небольшой рѣчки къ едва замѣтной въ туманѣ осенняго дня деревушкѣ. Въ одномъ мѣстѣ рѣчки, какой-то мужикъ ловилъ рыбу.

— Любезный, вѣдь это деревня Ситунъ виднѣется? — спросилъ его охотникъ, указывая на виднѣвшіяся постройки.

— Ситунъ, господинъ, Ситунъ, она самая.

— А ты знаешь тамъ кого нибудь? Вотъ хотя бы вдову Агафью Пантелеевну?

— Знаю... Очень хорошая женщина, душевная.

— Вѣрно! Которая ея изба? на какомъ мѣстѣ?

— А какъ мостъ пройдешь, на лѣвой сторонѣ третья изба. Новая изба; послѣ трактира самая лучшая постройка у Пантелеехи.

— Ну, спасибо тебѣ.

Охотникъ приподнялъ шляпу и пошелъ къ Ситунѣ. Минуть черезъ двадцать онъ былъ въ деревнѣ и подходилъ къ описанной рыбакомъ избѣ. Около двора сынъ Агафьи Пантелеевны ладилъ телѣгу.

— Богъ помощь! — поклонился охотникъ.

— Спасибо, господинъ, — поблагодарилъ Степанъ.

— Что, любезный, могу я у васъ закусить и чайку попить?

— Да вѣдь у насъ тутъ трактиръ есть, хорошій.

— Знаю, да не люблю я трактировъ; люблю за самоварчикомъ посидѣть, своего винца рюмку вышить, а въ трактирѣ это нельзя.

— Это вѣрно. Я вотъ сейчасъ матушку спрошу, она у насъ — хозяйка въ домѣ.

Парень ушелъ и черезъ двѣ минуты пригласилъ охотника въ избу. Поздоровался охотникъ со старухой-хозяйкой, поставивъ въ уголъ ружье, попросилъ убрать на холодокъ дичину и сѣлъ на лавку въ ожиданіи самовара и заказанной яичницы.

На передней стѣнѣ чистой избы было прибито гвоздиками нѣсколько картинокъ, и въ ихъ числѣ висѣли въ красивыхъ рамахъ два фотографическихъ портрета Марины Григорьевны; одинъ изображалъ ее тринадцатилѣтней дѣвочкой, другой былъ снятъ въ послѣднее время и очень удался фотографу — она сидѣла

точно живая съ ласковой улыбкой, съ добрымъ взглядомъ большихъ глазъ.

Охотникъ подошелъ къ стѣнѣ, снялъ оба портрета и, наклонившись къ окну, залюбовался ими.

— Не знакома ли барышня-то?—обратилась къ нему кормилица, входя съ чайной посудой.

— Нѣтъ... Такъ люблюсь. Хороша очень. Кто это?

— Купеческая дочка... жена купеческая Марина Григорьевна, Лоскутникова по мужу...

— А, это—та самая, которая ушла отъ мужа?

— Она. Выкормила я ее, вынянчила голубушку и вотъ...

— Гдѣ же она теперь?—спросилъ охотникъ.

— Она - то? Да неизвестно гдѣ, пропала. Чай будете со сливочками кушать?

— Съ ромомъ выпью—прозябъ. Не хотите ли и вы, голубушка, чашечку съ ромомъ? Хорошій у меня ромъ, дорогой...

— Что же, чашечку выпью. Не пристало бы намъ баловаться такъ, да ужъ гостя ради.

Охотникъ торопливо съѣлъ подавную яичницу и усѣлся къ самовару, попросивъ кормилицу разливать чай. Они остались въ избѣ вдвоемъ: Степанъ повезъ на мельницу рожь, а его жена пошла съ работникомъ сажать въ овинъ снопы.

— Все на красавицу твою люблюсь, кормилица, — сказалъ охотникъ, кивнувъ на портретъ.

— А ты бы на нее живую посмотрѣлъ, такъ глазъ не отвелъ бы! Ужъ какая краса! А добрая какая, ласковая, сердечная, что твой ангелъ! Еще когда она дѣвочкой была, Ордынской красавицей ее люди прозвали. такъ подъ этимъ прозвищемъ и слыла.

— Очень жаль вамъ ее?

— Какъ не жаль? Жаль! Ну, да, знать, судьба у нея такая, ничего не подѣлаешь.

— Можетъ, и умерла уже, руки на себя наложила?

— Храни ее Господь! Нѣтъ, зачѣмъ такой грѣхъ на душу брать?

— Жива?

— Не знаю, милый, не знаю!—пытливо взглянула на гостя кормилица.—О чужомъ дѣлѣ болтать негодится. Иной разъ отъ празднаго слова большое горе человѣку бываетъ, такъ слова-то надо беречь, зря не бросать. Кушай чай-то, а то простынешь.

Охотникъ выпилъ чашку и закурилъ папиросу.

— А вѣдь ты давеча правду сказала, бабушка,—прогово-

рилъ онъ, — я твою питомицу знаю, да и тебя тоже. Приглядишь-ка ко мнѣ, авось, тоже признаешь... Нѣтъ?

— Гляжу—словно знакомый обликъ, а признать не могу.

— А помнишь, какъ ты по праздникамъ ходила въ пансіонъ навѣщать Марину Григорьевну, гостинцы ей нашивала, а я въ то время сестренку свою навѣщалъ тамъ, Ольгу Бусову? Вотъ я—этотъ самый Бусовъ!

— Помню, помню! Ахъ ты, голубчикъ!.. какъ ты постарѣлъ-то съ тѣхъ поръ! Тогда совсѣмъ мальченкой былъ, худенькій, а какимъ молодцомъ теперь сталъ!.. Бородкой обросъ, съ версту вытянулся!.. Гдѣ теперь Оленька-то? Вѣдь она подруга ма-ришина была.

— Да она теперь замужемъ за однимъ приказчикомъ. Хорошо живутъ, счастливы. А вотъ Марина-то Григорьевна... Эхъ, кормилица, напрасно ты вынянчила ее на такое горе!

— Да... Что дѣлать - то? Божья воля... Ты гдѣ же теперь? Служишь, что ли, или торгуешь?

— Служу, у Лоскутниковыхъ въ конторѣ.

— У Лоскутниковыхъ? — Кормилица насупилась. — А, вотъ что... То-то вы и выпытывали у меня про Маришку-то!

— Да, выпытываю, кормилица,—заговорилъ Бусовъ,—и потому, что... что она дорога мнѣ!.. Еще въ то время, какъ я въ пансіонъ къ сестренкѣ ходилъ, любилъ я Марину Григорьевну, наравнѣ съ сестрою любилъ. Дѣтская привязанность обратилась потомъ въ иную любовь и прочно свила гнѣздышко въ сердцѣ! Зналъ я Марину Григорьевну, слышалъ о ея добромъ сердцѣ; видѣлъ то въ церкви, то на улицѣ, кланялся издали, а подойти не смѣлъ—пара ли я былъ ей, богатой купеческой дочкѣ? Свадьбу я ея видѣлъ... видѣлъ, какая она подъ вѣнцомъ стояла... Потомъ узналъ, что убѣжала она... Эхъ, можетъ, ей не было такъ тяжело въ ту пору, какъ мнѣ.

— Правду говоришь, молодецъ?—спросила кормилица, когда Бусовъ кончилъ, и порывисто смахнула набѣжавшую слезинку.

— Нѣтъ, обманываю тебя, лгу.

— Вижу, что правду, вижу... Что же, ищутъ ее теперь?

— Ищутъ. Меня послали къ тебѣ поразвѣдать. Не прошу тебя сказать, гдѣ она, а скажи только — жива ли она, здорова ли?

— Жива.

— Вотъ мнѣ и легче при этой вѣсточкѣ. И никому не говори, гдѣ она, молчи! У тебя хорошал, добрая, душа, старушка. А Марину Григорьевну повидай и скажи ей, что ищутъ ее, накажи ей, чтобы береглась она, не давалась въ ихъ руки. Заклюютъ вѣдь, замучают!

— Вѣрно, голубчикъ. Она въ надежномъ мѣстѣ, въ хорошемъ, а все же горько ей, сердечной!—сказала старуха. — Ни дѣвица, ни вдова, ни замужня жена... бѣглая! Какое слово-то страшное!

— Да, но лучше ужъ быть бѣглой, чѣмъ жить у нихъ!.. А какая хорошая душа у нея!.. Бывало, еще въ пансіонѣ любимицей у всѣхъ была. Придешь это къ сестренкѣ, и начнетъ дѣвченка про своихъ подругъ рассказывать... „Меня, — говорить, — братецъ, на недѣлѣ наказали; еще бы хуже пришлось, да Мариша Ладыжнникова мадаму упросила“. — „Что же она у васъ адвокатъ, что ли?“ — спросишь. „Еще какой! — говоритъ. — Какъ что случится, такъ къ ней. Бѣдныя тутъ у насъ дѣвочки есть, такъ каждую-то она обласкаетъ, одѣлитъ всѣмъ. Къ одной тутъ мать ходитъ, бѣдная старушка, больная, одѣта плохо, такъ Мариша ей съ рождественской вакаціи двадцать рублей денегъ принесла. Ей на елкѣ у родныхъ подарили, а она старушкѣ этой и отдала“. И все вотъ такъ слышишь бывало. И потомъ, послѣ пансіона, слава у насъ на Ордынкѣ такая же шла про нее. Помнишь, кормилица, какъ бывало въ пансіонѣ - то мы съ тобою хаживали? Хорошо жилось тогда. Приду бывало къ сестренкѣ, сижу съ нею и все на дверь входную посматриваю: скоро ли, думаю, старая кормилица придетъ, Марину Ладыжнникову въ пріемную вызоветъ? Придешь ты, выпорхнетъ Марина Григорьевна, защебечетъ словно птичка, веселѣе въ пріемной станеть, будто солнышко взошло! Познакомилась она со мною какъ-то, разговорились. Мнѣ тогда было лѣтъ двадцать безъ малаго, а ей — четырнадцать. И рѣжетъ она бывало меня своими знаніями: то читала, объ этомъ ей учитель рассказывалъ, а я все перезабылъ, что зналъ въ училищѣ. Прочитаю книжку, въ воскресенье ей хвастаюсь, вотъ-де я что узналъ, а вы - де этого не знаете. Дразню. Бывало воскресенья-то ждешь-ждешь, часы считаешь! Помнишь, какъ одинъ разъ она сказала, что ей птичку завести хочется? Купилъ я чижику и принесъ въ пансіонѣ. Сколько радости было!.. А гувернантка-нѣмка пришла и выговоръ мнѣ сдѣлала: „Нельзя, — говорить, — сюда птицъ носить. Это барышенъ развлекать будетъ“. Ужъ у самой содержательницы пансіона Марина Григорьевна позволенія просила и та дозволила ей птичку держать. Все, все помню, словно это вчера было, а вѣдь ужъ пять лѣтъ прошло. Сестра моя вышла раньше Марины Григорьевны, и нельзя было мнѣ въ пансіонѣ ходить. Въ первое воскресенье послѣ этого я точно шальной ходилъ, напился къ вечеру... да, напился! — Вусовъ вздохнулъ и залпомъ выпилъ стаканъ остывшаго чая съ ромомъ. — Послѣ того сталъ я встрѣчать Марину

Григорьевну на улицѣ, въ перекрѣсткѣ... На гуляньѣ разъ встрѣтилъ...

— Говорилъ съ нею?—спросила кормилица.

— Одинъ разъ случилось. Она съ какой-то старушкой за всюнощной была; старушка-то осталась къ иконамъ приложиться, а она на паперть вышла. Подошелъ я, поздоровался. Обрадовалась она, смѣется, старое вспоминаетъ. Послѣ какъ-то разъ съ отцомъ она шла, я и поклонился ей. „Кто такой?—сурово спросилъ отецъ.—Это что за мода такая съ каждымъ служащимъ кланяться? Тому васъ въ пансіонѣ-то, что ли, учили? Дура незнающая!“. Громко сказалъ, такъ что я слышалъ. Потомъ, слышу, замужъ ее за нашего хозяина отдаютъ. Въ день сговора я напился уже не такъ, какъ когда-то, а по-настоящему—пить-то научился какъ слѣдуетъ. Пьяному легче стало, а наутро еще хуже тоска засосала. Эхъ, что я только перенесъ въ дни предъ свадьбой, а особенно въ день свадьбы, такъ этого и не перескажешь.

— Вѣрю тебѣ, молодчикъ! Вижу, что отъ души говоришь,—сказала кормилица и задумалась.—Охота повидать ее?—спросила она, съ грустной улыбкой глядя на Бусова.

— Ничего бы не пожалѣлъ за одинъ часикъ свиданія!

— А не проговоришься? Никому не скажешь, гдѣ она?

— Господи! Да если бы жили изъ меня тянуть стали, и такъ-то не сказалъ бы!

— Ну, быть по-твоему! Пострѣляй поди, походи по округѣ, а ночевать ко мнѣ приходи. Завтра утромъ раненько я отправлю тебя къ ней, гостинецъ ей пошлю.

— Голубушка, милая, какъ мнѣ благодарить тебя! Дозволь поцѣловать тебя, какъ бы я свою мать поцѣловалъ. Дозволь мнѣ подарить тебѣ что нибудь!

— Не ради подарка дѣлаю тебѣ пріятное, а ради того, что любишь ты Марину, что и ей пріятно будетъ повидать тебя.

На другой день, часовъ въ двѣнадцать, Бусовъ подходилъ къ усадьбѣ Гуршина. Онъ отказался отъ предложенной кормилицей лошади и пошелъ пѣшкомъ, выйдя изъ Ситуни раннимъ утромъ.

Грустно было молодому человѣку. Кормилица самыми яркими красками расписала ему Гуршина, и Бусовъ чувствовалъ, что—увъ! — Марина не можетъ принадлежать ему не только какъ жена другого, а и потому еще, что она должна непременно полюбить красавца, умника Гуршина, принявшаго въ ней такое участіе.

„Дважды не моя, дважды не моя!“— всю дорогу думалъ Бусовъ.

Подходя къ усадьбѣ, онъ вдругъ вздрогнулъ и остановился. На мостикѣ около плотины Марина Григорьевна ловила удочкой рыбу съ какимъ-то мальчикомъ. Въ своей бархатной шубкѣ, раскрасившаяся отъ свѣжаго вѣтерка, стояла она и закидывала удочку. Быть можетъ, она забыла на минуту свое тяжелое положеніе—она была весела и безпечно улыбалась. Здоровый деревенскій воздухъ и прогулки благотворно повліяли на нее, сдѣлали цвѣтъ ея лица свѣжимъ и вызвали здоровый румянецъ на недавно поблекшія щеки.

— Не умѣешь закидывать-то, Марина Григорьевна!—весело кричалъ мальчикъ, вытаскивая крупнаго ерша.—Ишь, я какого выволокъ, а у тебя одинъ только пискарь и есть! Погоди, я тебѣ червяка насажу на крючекъ, закину—поймаешь, а то, гляди, безъ ухи останешься!—Мальчикъ положилъ добычу въ ведро и пошелъ къ Маринѣ.—Марина Григорьевна, глянь-ко на дорогу. Охотникъ чей-то!—сказалъ онъ, указывая на Бусова.

Бусовъ оправился и быстро пошелъ на плотину. Марина Григорьевна оглянулась и стала вглядываться въ подходившаго.

— Боже, Паша Бусовъ!—весело воскликнула она и, бросивъ удочку, пошла навстрѣчу Бусову.

Тотъ остановился и радостно улыбался, счастливый тѣмъ, что его узнали, что его называли тѣмъ давно забытымъ, какъ ему казалось, именемъ.

— Паша Бусовъ!—повторила Марина и сконфузилась. Этотъ юноша, Паша Бусовъ, былъ теперь мужественнымъ, рослымъ, широкоплечимъ мужчиной съ окладистой черной бородкою.—Простите... я увлеклась... точно тамъ, въ пансіонѣ... Много времени прошло съ тѣхъ поръ,—проговорила она.

— О, если бы оно возвратилось когда нибудь!—вырвалось у Бусова.—Здравствуйте, Марина Григорьевна! Я принесъ вамъ поклонъ и гостинецъ отъ кормилицы.

— Да? Вы помните ее? Бываете у нея?—воскликнула Марина, но вдругъ встревожилась и измѣнилась въ лицѣ.—Вы... вы изъ Москвы?—спросила она, точно испуганная птичка, глядя на Бусова.

— Изъ Москвы!

— Вѣдь вы у Лоскутниковыхъ живете?

— Да! Вы боитесь, что я пришелъ слѣдить за вами и, быть можетъ, донести о вашемъ мѣстопробываніи? Нѣтъ, не за тѣмъ я пришелъ сюда. Много поломала меня жизнь, много свѣт-

лаго отняла у меня, но доносчикомъ и сыщикомъ она меня не сдѣлала. Для васъ я—тотъ же Паша Бусовъ...

— А я уже — не Марина Ладыжникова... Вы знаете мою исторію?

— Да, Марина Григорьевна. Зачѣмъ, зачѣмъ вы пошли за Лоскутникова? зачѣмъ сами погубили себя?

— Сама! Да пожалуй сама. Я позорно струсила, испугалась, какъ ребенокъ, показанной розги, и бросилась въ омутъ.

— Но какъ живетъ вамъ тутъ? Здоровы? счастливы?

— Живется тутъ тепло, а о счастьѣ развѣ можно спрашивать меня? Кто—я? Я—бѣглая! Каждый человекъ можетъ взять меня, связать и отвести къ мужу. Онъ ищетъ меня, грозитъ?

— Онъ уѣхалъ куда-то далеко, но его мать ищетъ васъ.

— Зачѣмъ я ей? Впрочемъ вѣдь она—мать оскорбленнаго мною мужа. Я понимаю ея желаніе выместить на мнѣ все зло, всю горечь. А мой отецъ?

— Онъ ничего. Онъ строить новый заводъ, и весь отдался этому дѣлу.—Бусовъ вздохнулъ и потупился. Пора было уходить.—Прощайте, Марина Григорьевна, я пойду,—сказалъ онъ.

— Куда? Такъ скоро? Нѣтъ, нѣтъ! Я хочу говорить съ вами, хочу видѣть въ васъ стараго друга.

— О, какъ я счастливъ! — пылко воскликнулъ Бусовъ и оглянулся.

Изъ-за кустовъ жимолости, окружавшихъ мѣсто, гдѣ они стояли, раздался лошадиный топотъ, и на площадку выѣхалъ всадникъ на малорослой лошади. Это былъ Гуршинъ.

Х.

Семень Максимовичъ осадилъ своего коня и пристально, въ упоръ глянулъ на Бусова, державшаго въ своихъ рукахъ руки Марины. Тотъ тоже поглядѣлъ на Гуршина долгимъ взглядомъ и потомъ вопросительно посмотрѣла на Марину. Она весело, привѣтливо улыбалась своему хозяину и сказала ему:

— Московскіе знакомые стали меня находить. Позвольте познакомить васъ, господа. Мой старый знакомый, почти другъ дѣтства, Павелъ Петровичъ Бусовъ, мой радушный хозяинъ Семень Максимовичъ Гуршинъ.

Молодые люди поклонились другъ другу, и Гуршинъ слѣзъ съ лошади.

— Очень радъ видѣть вашего знакомаго, Марина Григорьевна,—сказалъ онъ,—но боюсь его появленія.

— Почему это?—спросилъ Бусовъ.

— Да вѣдь если вы узнали о мѣстопробываніи Марины Григорьевны, то могутъ узнать и другіе, а потомъ и самъ супругъ.

— О, пѣтъ! Я узналъ случайно, и такая случайность не можетъ выпасть на долю другого!—и Бусовъ въ короткихъ словахъ разсказалъ Гуршину исторію своего путешествія въ Ситунъ и потомъ на мельницу. Кормилица такъ любитъ Марину Григорьевну,—закончилъ онъ свой разсказъ,—что далеко не всякому выдастъ ея тайну, и если выдала ее мнѣ, то потому лишь, что вполне увѣрена во мнѣ.

— Это—другое дѣло, — сухо замѣтилъ Гуршинъ. — Марина Григорьевна, пригласите вашего гостя отдохнуть съ дороги и сдѣлать честь моему дому своимъ посѣщеніемъ. Господинъ Бусовъ, прошу васъ въ мою хату!

Бусовъ на минуту замаялся, но потомъ поблагодарилъ гостепріимнаго хозяина и принялъ его приглашеніе.

— Прошу пожаловать, а я буду сію минуту,—сказалъ Гуршинъ и, сѣвъ на лошадь, во весь опоръ проскакалъ плотину и по крутому косогору скрылся за прибрежной рощей.

— Онъ, видно,—хорошій наѣздникъ, но, несмотря на это, сломаетъ когда нибудь себѣ голову отъ такой ѣзды,—замѣтилъ Бусовъ, проводивъ глазами бѣшено ускакавшаго Гуршина.

— Онъ чѣмъ-то очень взволнованъ сегодня и озабоченъ, а у людей, подобныхъ ему, волненіе всегда высказывается такими сильными порывами, — сказала Марина. — Онъ—горячка; вспыхнетъ, закипитъ...

— И простынетъ?

— Ну, нѣтъ! Онъ—человѣкъ съ очень сильнымъ характеромъ и весьма рѣшителенъ. — Но онъ очень уменъ и добръ. Его тутъ въ округѣ боготворятъ, любятъ и боятся.

— Гм... Я не могу совмѣстить эти два чувства—любовь и страхъ. По-моему, кого любишь, того нельзя бояться, а кого боишься, того нельзя любить.

— Однако это такъ. Я вижу, какъ все любятъ Гуршина, и въ то же время замѣчаю, какъ его боятся.

— Быть можетъ... Вы тоже оба эти чувства питаете къ нему?

— Я?—Марина подумала,—я его люблю и... побаивалась! Ха-ха-ха! Вѣдь я—слабая, безхарактерная, и мнѣ просто страшно видѣть около себя человѣка съ желѣзной волей и почти отчаянной рѣшительностью. Я напимѣръ ушла отъ мужа со страха, бросилась впередъ, очертя голову, сама не зная, что дѣлаю и хорошо ли дѣлаю, а онъ, Гуршинъ, въ такомъ случаѣ поступилъ бы сознательно, обдуманно и ужъ не вернулся бы назадъ. Онъ все такъ. Онъ пугаетъ меня своей рѣшительностью и смѣлостью. Знаете что, вѣдь вы вѣрно опредѣлили, что нельзя совмѣстить чувство страха съ чувствомъ любви.

Бусовъ пытливо взглянуть на Марину.

— Да,—подтвердила она свою мысль,—да, нельзя. Я на-
примѣръ уважаю Гуршина, люблю его, какъ очень хорошаго
человѣка, но никогда не могла бы полюбить его, какъ жен-
щина, никогда не могла бы быть его женою, принадлежать
ему. Я его просто боюсь.

По лицу Бусова разлилась яркая краска. Его глаза забли-
стали счастьемъ, и многое прочла бы въ нихъ Марина, если
бы глядѣла въ эту минуту на своего спутника. Но она не
замѣтила его, идя по крутому подъему и осторожно выбирая
дорогу.

— Да?—слегка дрогнувшимъ голосомъ спросилъ Бусовъ.—
А вѣдь я думалъ... я думалъ, что вы любите его.

— О, вѣтъ! Намъ, бѣднымъ, глупенькимъ, ничего не знаю-
щимъ дѣвочкамъ, не пара такіе мужчины. Куда намъ? Ну, вотъ
мы и пришли! Вотъ видите, какой тутъ хорошій, симпатичный
уголокъ?—Марина вздохнула.—И Богъ вѣсть, долго ли я буду
тутъ! Разговоришься, забудешь на минуту свое ужасное поло-
женіе, а потомъ опять засосетъ сердце. Впрочемъ Гуршинъ
много облегчилъ мое положеніе.

— Чѣмъ?

— Тѣмъ, что научилъ меня терпѣть и вмѣстѣ съ тѣмъ
смѣло завоевывать счастье. Я знаю, что мнѣ придется много
пострадать, и это очень мучить меня; я сознаю это, но въ то
же время готова теперь думать, что въ концѣ концовъ добьюсь
если не счастья, то хоть свободы, покоя. И этому меня на-
училъ Гуршинъ. Пойдемте! Вотъ на крылечкѣ стоитъ наша ми-
лая бабуся и съ изумленіемъ глядитъ на меня, конвоируемую
какимъ-то неизвѣстнымъ человѣкомъ съ ружьемъ. Страхъ, какъ
любить меня эта старушка, тетка Гуршина.

Молодые люди подошли къ домику, весело разговаривая.

Гуршинъ во весь опоръ проскакалъ небольшую рощу, вы-
ѣхалъ на дорогу, ведущую въ сосѣднее село, и пустилъ сво-
его добраго коня шагомъ. Несмотря на быструю ѣзду, его
лицо было блѣдно, брови сдвинуты. Онъ бросилъ поводья и
опустилъ голову на грудь. Долго-долго шелъ конь, помахивая
головой и отфыркиваясь послѣ быстрой скачки, потомъ заме-
длилъ шагъ, свернулъ съ дороги въ поле, видя, что ему пре-
доставлена полная свобода, и остановился, соблазнившись со-
хранившейся на межѣ зеленой травкой.

Гуршинъ поднялъ голову и оглянулся.

— Ищъ, какъ замечтался,—проговорилъ онъ и, повернувъ
коня на дорогу, поѣхалъ шагомъ къ дому.

Нереселыя были думы Семена Максимовича. Проживъ до

сихъ портъ въ тяжелой борьбѣ съ жизнью, онъ никого еще не любилъ и не думалъ даже полюбить, полагая, что жизнь и люди такъ сильно помяли его, что сердце уже потеряло способность забиться любовью къ женщинѣ. Да и не думалъ онъ когда либо встрѣтить такую женщину въ своемъ глухомъ углу, зная, что никогда не покинетъ этого угла и не пойдетъ въ міръ. Хозяйство, охота, общеніе съ простымъ народомъ—вотъ что занимало его и вотъ чему хотѣлъ онъ отдать свою жизнь, стряхнувъ съ ногъ прахъ городской жизни. О подругѣ онъ никогда не мечталъ, считалъ это излишней роскошью и притомъ скептически относился къ браку, видя во время своей городской жизни сотни неудачныхъ браковъ. Такъ онъ и жилъ одинокій въ суровомъ трудѣ, не разнѣживая себя ничѣмъ и думая, что сдѣлаетъ преступленіе, если хоть чѣмъ нибудь нарушить разъ навсегда составленную программу жизни. Ему не казалась тяжелой эта программа, и до сихъ поръ онъ жилъ безмятежно, ни разу не думая, что его жизнь блѣдна, нерадостна. Въ послѣднее время произошло нѣчто странное. Въ душу молодого человѣка вдругъ закралось незнакомое до сихъ поръ чувство одиночества, и сердце, при взглядѣ на Марину, стало усиленно биться.

Мрачныя, пустыя комнаты жилища Гуршина точно просвѣтлѣли съ появленіемъ Марины. Тутъ появилась вазочка съ послѣдними осенними цвѣтами, тамъ засверкала на столѣ или на горкѣ какая нибудь заброшенная, запыленная бездѣлушка; брошенная картина, валявшаяся въ пыли, появилась на стѣнѣ, въ столовой звонко зачиликали чижики, пойманные сынишкой мельника, бойкимъ мальчикомъ, полюбившимъ Марину до безумія. Въ тихихъ комнатахъ зазвенѣлъ голосъ молодой женщины и разбудилъ спавшее въ груди Гуршина чувство. Онъ сперва заинтересовался этой бѣглянкой, потомъ сошелся съ нею, какъ съ добрымъ другомъ, а потомъ и полюбилъ. До сегодня онъ пожалуй и не зналъ этого или не подбиралъ названія появившемуся у него чувству, но вотъ теперь, когда онъ увидѣлъ Марину рука-объ-руку съ мужчиной, съ ея старымъ знакомымъ, какъ она назвала Бусова, его сердце забило усиленную тревогу, и онъ понялъ, что любить эту красавицу, а, сознавъ это, затосковалъ: она такъ дружески, такъ задушевно говорила съ этимъ пришедшимъ изъ Москвы гостемъ, а тотъ совсѣмъ-таки влюбленными глазами смотрѣлъ на нее. Не мужъ, брошенный Мариной Григорьевной, а вотъ этотъ красивый гость стоитъ на дорогѣ его и этотъ влюбленный гость опаснѣе и страшнѣе мужа. Тамъ связываетъ право, тутъ—любовь, и если

возможно разорвать связь съ мужемъ, то—увы!—не разорвать ея съ этимъ дорогимъ сердцу человѣкомъ.

Гуршинъ опять подобралъ поводья и опять разогналъ своего добраго коня во весь опоръ. Такъ и подскакалъ къ крыльцу своего домика. На дворѣ стояла кучка мужиковъ, видимо ожидавшихъ хозяина этого дома. Гуршинъ, увидавъ ихъ, еще суровѣе сдвинулъ брови и, приказавъ подбѣжавшему работнику выводить взмыленнаго коня, подошелъ къ толпѣ.

— Сугробовскіе?—отрывисто спросилъ онъ мужиковъ.

— Сугробовскіе, Семенъ Максимовичъ, сугробовскіе. Парень твой даве приходилъ, собраться къ тебѣ велѣлъ.

— Выкопали вы канаву на крутомъ полѣ?

— Нѣтъ, Семенъ Максимовичъ, не выкопали.

— Мы, Семенъ Максимовичъ, вишь ты, овсы убирали.

— Праздникъ у насъ, Семенъ Максимовичъ. Мы...

— Говори кто нибудь одинъ!—возвысилъ голосъ Гуршинъ.— Вотъ ты говори, Яковъ Спиридоновъ! Почему не выкопали канавы?? Обѣщали вѣдь, всѣмъ міромъ обѣщали? Гдѣ же у васъ совѣсть-то мірская? И совѣсть пропили? Я могъ не вѣрить Сидору, Ивану, Осипу, Григорію, но не могъ не вѣрить всему міру и вѣрилъ ему! Негодяи! Сперва міръ не обманывалъ, ему можно было вѣрить, жизнь свою можно было довѣрить, состояніе, а теперь что?

— Мы, Семенъ Максимовичъ,—заговорилъ одинъ изъ толпы,—готовы ублаготворить тебя, а только праздникъ...

— Праздникъ? Праздникъ три дня шелъ у васъ, а потомъ времени было три недѣли. Я развѣ для себя хлопоталъ? Чей лугъ? чье поле гниетъ отъ сырости? Ваше вѣдь! Я вамъ отдалъ въ бесплатное пользованіе выгонъ и за это взялъ съ васъ слово выкопать послѣ уборки хлѣба канаву, повѣрилъ вамъ, міру вашему, никакой бумажки не хотѣлъ съ вами дѣлать потому, что слово вѣришь бумажки, а вы что сдѣлали? Вы обманули меня и сами себя. Для васъ, для васъ я хлопоталъ. Вонъ отсюда! Хотѣлъ сосѣдомъ добрымъ быть—врагомъ буду! Корову не смѣть, собаку не смѣть пустить на мой выгонъ теперь! За все штрафъ, за все! Прутъ сломите въ моей рощѣ—штрафъ. Вонъ!

Гуршинъ махнулъ рукой и быстро пошелъ къ дому, сильно закашлявшись.

Мужики постояли минутъ пять, молча почесывая затылки, и пошелъ со двора, переругиваясь и укоряя другъ друга.

Гуршинъ вошелъ въ столовую, гдѣ старуха-тетка уже угощала гостя и Марину чаемъ, и сѣлъ къ столу, тяжело дыша и сверкал глазами изъ-подъ сдвинутыхъ бровей.

— Какъ вы волнуетесь, Семенъ Максимовичъ!.. это вамъ вредно,—замѣтила послѣ нѣсколькихъ минутъ неловкаго молчанія Марина. — Вы такъ возвышали свой голосъ, что было слышно отсюда, а вы вѣдь сами говорили, что у васъ побаливаетъ грудь, которую вы считали совсѣмъ желѣзной.

— Не могу я не волноваться и не кричать, когда во мнѣ оскорбляютъ всѣ мои святые вѣрованія,—отвѣтилъ Гуршинъ, ударивъ кулакомъ по столу.—Когда я вижу зло, то стараюсь бороться съ этимъ зломъ, но, когда вижу умышленную тупость, когда замѣчаю, что люди сами себѣ, и притомъ совершенно сознательно, дѣлаютъ вредъ, я не могу равнодушно глядѣть на такихъ людей, такъ какъ они мѣшаютъ мнѣ, идутъ наперекоръ моимъ убѣжденіямъ.

— Вы это съ мужиками поспорили?—спросилъ Бусовъ.

— Съ мужиками-съ.

— Но, мнѣ кажется, надо простить ошибку мужику, какъ человѣку, стоящему ниже васъ по уму и развитію, и хладнокровно растолковать ему ее...

— Напрасно вамъ это кажется! Во-первыхъ, этотъ мужикъ не ниже меня по уму, а, во-вторыхъ, я не понимаю, про какое развитіе вы изволите говорить. Если вы подразумѣваете подъ развитіемъ извѣстное знаніе, то, можетъ быть, мужикъ и ниже меня въ этомъ отношеніи, хотя обладаетъ такими знаніями, какихъ нѣтъ ни у меня, ни у васъ, ни у самаго ученѣйшаго человѣка, а если вы подъ развитіемъ понимаете правильность взглядовъ вообще на жизнь, то мужикъ здѣсь развитѣе ученаго, умнаго, прочитавшаго десятокъ или сотню умныхъ книжекъ. Онъ понимаетъ, что худо и что хорошо, знаетъ, что ведетъ къ благосостоянію и что къ разрушенію, но онъ злѣй и лѣнивѣе; между тѣмъ зло и лѣнь—пороки, а послѣдніе возмущаютъ человѣка, а я—человѣкъ! Вотъ почему я и кричу, и злѣюсь, и ругаюсь. Я не знаю, что будетъ съ этимъ мужикомъ, когда онъ будетъ образованъ, когда сватъ Егоръ будетъ звать свата Ивана кушать чай по телефону, а его супруга будетъ читать Бокля и кататься на двухколесномъ велосипедѣ, либо въ автомобилѣ; но я знаю, что теперь, когда этихъ плодовъ цивилизаціи еще нѣтъ въ деревнѣ, мужикъ грубъ, невѣжественъ, пьянъ и лѣнивъ. А такъ какъ я живу и хочу работать среди мужиковъ безъ телефоновъ и велосипедовъ, то и нахожу, что надо...

— Ругать и даже бить ихъ?—улыбнулся Бусовъ.

— Да-съ! Впрочемъ это вамъ, городскому человѣку, читающему умныя книжки, слышать дико, и я умолкаю. Тетка, на-

леи мнѣ чайку да поди, старая, насчетъ обѣда хлопотать. У насъ гость, не ударь лицомъ въ грязь!

Гуршинъ быстро и ловко совладалъ съ собою и уже черезъ четверть часа совершенно миролюбиво бесѣдовалъ съ гостемъ, расспрашивая его о московскихъ новостяхъ и заинтересовавшись его рассказами о какой-то новой пьесѣ, содержаніе которой и исполненіе привело Бусова въ восторгъ, и онъ съ жаромъ говорилъ объ этомъ, обращаясь болѣе къ Маринѣ. Гуршинъ пощипывалъ бородку и слушалъ, наблюдая за Мариной, которая, вся раскраснѣвшись, сіяя глазами, радостно, по-дѣтски улыбаясь, слушала гостя и жадно ловила слова его восторженной рѣчи. Гуршинъ становился все пасмурнѣе и пасмурнѣе и, когда старуха пришла объявить, что обѣдъ готовъ и можно накрывать столъ, всталъ и подаль руку Бусову.

— Я могу просить васъ погостить у меня?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ. Я черезъ нѣсколько времени долженъ отправиться и попрошу васъ помочь мнѣ нанять лошадку до Москвы.

— Я отвезу васъ на своей. Въ такомъ случаѣ я попрошу васъ навѣстить меня опять и, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, а пока до свиданія! Я долженъ ѣхать по очень нужному дѣлу.

— А обѣдать-то, Сеня?—спросила тетка.

— Некогда, тетушка, да и не хочется. Гостей накорми получше. До свиданья, Павелъ Петровичъ, буду ждать васъ. До свиданья, Марина Григорьевна!

Гуршинъ пожалъ руку Бусову, поклонился Маринѣ и быстро вышелъ.

— Приготовь, Степанъ, лошадь до Москвы, а мнѣ вели положить гнѣдого въ бѣговья дрожки и пошли съ кѣмъ нибудь къ Осиповой рощѣ, я буду тамъ,—послышался его голосъ въ сѣняхъ.

— Сегодня вашъ хозяинъ сильно не въ духѣ,—замѣтил Бусовъ Маринѣ.

— Да, онъ чѣмъ-то очень разстроенъ.

— Я могу почти навѣрное сказать чѣмъ—моимъ неожиданнымъ визитомъ.

— О, нѣтъ! Что вы? Богъ съ вами! Онъ—очень радушный и гостепріимный человѣкъ.

— Да, но иногда и гостепріимные люди бываютъ негостепріимны.

— Когда же это?

— Когда гости могутъ чѣмъ нибудь нарушить миръ ихъ души! Развѣ вы не видите, что Гуршинъ любитъ васъ? И вотъ

во мнѣ, въ человѣкѣ изъ покинутого вами міра, онъ видитъ соперника.

Марина покраснѣла и опустила голову, а потомъ перемѣнила разговоръ и простилась съ Бусовымъ довольно холодно.

XI.

Бусовъ, вернувшись въ Москву, явился къ Ивану Борисовичу и сообщилъ, что никакихъ слѣдовъ Марины Григорьевны ему открыть не удалось. Кормилицу онъ видѣлъ, но она ничего о Маринѣ не знаетъ и предполагаетъ, что та лишила себя жизни.

Если бы Иванъ Борисовичъ повнимательнѣе слушалъ Бусова и наблюдалъ за нимъ во время его донесенія, то вѣроятно заподозрилъ бы его во лжи. Молодой человѣкъ не умѣлъ лгать и чувствовалъ себя во время разсказа очень неловко; но почтенному дядюшкѣ было теперь не до Марины. Его предприимчивую голову занимала мысль объ одномъ ловкомъ предпріятіи, которое было въ связи съ дѣломъ, порученнымъ ему свояченицей и племянникомъ. Онъ довольно небрежно выслушалъ Бусова, похаживая по кабинету и обдумывая планъ гешефта, и по окончаніи разсказа молодого человѣка проговорилъ:

— Ну, ладно, послѣ еще поищемъ, а теперь мнѣ не до того, есть дѣла поважнѣе. Спасибо, что находили, похлопотали. Я желаю васъ отблагодарить за ваши хлопоты. Что вы предпочитаете: деньги или какую нибудь вещь?

— Ни того, ни другого, — краснѣя отвѣтилъ Бусовъ. — Во-первыхъ, я доставлялъ себѣ удовольствіе, исполняя порученіе, а, во-вторыхъ, не исполнялъ своихъ прямыхъ обязанностей, такъ что мы совершенно квиты.

Иванъ Борисовичъ поморщился. Ему не понравилось уклоненіе конторщика отъ его награды.

— Ну, какъ вамъ угодно-съ! — холодно проговорилъ онъ. — Была бы честь предложена, а отъ убытка Богъ избавилъ. Ступайте къ своимъ занятіямъ.

Бусовъ со времени свиданія съ Мариной Григорьевной сталъ задумчивъ и, вообще мало общительный, теперь совсѣмъ ушелъ въ себя и жилъ лишь мечтами о дорогой для него Маринѣ.

Онъ любилъ ее съ самаго пребыванія дѣвушки въ пансіонѣ, и эта юношеская любовь не прошла съ годами, а лишь окрѣпла и приняла форму настоящей, разумной любви зрѣлаго человѣка. Теперь, послѣ свиданія съ Мариной, послѣ того какъ онъ нашелъ ее еще лучшей, чѣмъ предполагалъ найти, любовь лишь выросла и наполнила все существо молодого че-

ловѣка. Онъ жилъ, существовалъ этой любовью, и къ чувству этой безпредѣльной любви примѣшивалось лишь чувство тоски за фальшивое, тяжелое положеніе дорогой дѣвушки. Увы, помочь этому онъ не могъ! И вотъ это сознаніе своего безсилія мучило его и заставляло страдать невыносимо. Вмѣстѣ съ тѣмъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ росло желаніе видѣть Марину, снова побыть съ нею хотя немного времени. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ субботы, съ вечера которой бывалъ свободенъ до утра понедѣльника, и далъ себѣ слово поѣхать къ Гуршину, воспользовавшись его приглашеніемъ.

Суббота пришла. Кончилъ свои занятія Бусовъ, уложилъ книги, заперъ конторку и сталъ прощаться съ товарищами, сгорая нетерпѣніемъ скакать на мельницу.

— Павелъ Петровичъ,—обратился къ нему одинъ изъ конторщиковъ,—мы сегодня устраиваемъ пирушку вскладчину, не желаете ли и вы принять въ ней участіе?

— Нѣтъ, благодарю васъ, мнѣ некогда!—отвѣтилъ Бусовъ.

— Сегодня суббота, день совершенно свободный.

— Да, и я ѣзжаю на охоту, чтобы побыть тамъ до понедѣльника.

— Охота не уйдетъ, можете завтра поѣхать.

— Нѣтъ, я уже рѣшилъ и не измѣню своего рѣшенія,—и Бусовъ сталъ одѣвать пальто.

Пригласившій его на пирушку конторщикъ подмигнулъ товарищамъ и обратился къ Бусову:

— Павелъ Петровичъ, въ такомъ случаѣ у меня къ вамъ просьба есть. Наша пирушка ввиду очень малаго числа участниковъ врядъ ли состоится, да и скучно будетъ, такъ что я тоже не приму въ ней участія. Возьмите меня съ собой на охоту?

— А вы—охотникъ?

— Да! На той недѣлѣ ружье себѣ купилъ новое, надо попробовать его.

Бусовъ смѣшался. Отказать въ такой просьбѣ было вовсе неловко, а исполнить ее невозможно.

— Я съ удовольствіемъ исполнилъ бы ваше желаніе,—сказалъ онъ послѣ минутнаго раздумья,—но я ѣду съ компаніей, которая пригласила меня гостемъ, и брать съ собой незнакомаго этой компаніи не совсѣмъ удобно.

— Такъ я и зналъ, что получу отказъ, потому что господинъ Бусовъ ѣздитъ на охоту особаго рода! Ха-ха-ха! Ловко, молодецъ! Онъ—тихоня у насъ, а парень-то—непромахъ!

— Недаромъ съ Иваномъ Борисовичемъ на совѣщаніяхъ бы-

ваетъ, особа приближенная! — съ ѣдкой насмѣшкой добавилъ другой конторщикъ.

Бусовъ ничего не отвѣтилъ и вышелъ съ горькимъ чувствомъ напрасно обиженнаго человѣка. Его мучило также сознаніе полнѣйшаго одиночества среди людей, чувство отчужденія. Онъ видѣлъ, что эти люди, которымъ онъ ничего худого не сдѣлалъ, его не любятъ и стараются обидѣть и задѣть при каждомъ случаѣ. За что? Не за то ли, что ему чужды ихъ интересы? Не за то ли, что они не понимаютъ его? Все равно, но его не любятъ, его ненавидятъ. Онъ чужой тутъ, а это тяжело, особенно теперь, когда хотѣлось бы поговорить по душѣ, излить свои чувства, спросить совѣта.

„Впрочемъ я самъ виноватъ, что мнѣ чужды эти люди, быть можетъ, очень хорошіе, добрые. Я не пробовалъ сблизиться съ ними,—думалъ онъ, тихо идя по улицѣ,—все думалъ, что я лучше, выше ихъ, все уходилъ въ раковину своего одиночества и былъ непозволительно гордъ въ этомъ сознаніи своего превосходства. А одному жить нельзя, тяжело это. Попробую поискать сближенія, завязать сношенія съ этими людьми. Какъ было бы хорошо теперь поговорить, подѣлиться своими мыслями и чувствами съ кѣмънибудь, а я только съ подушкой своей думаю свои думки. Живое слово другой разъ много значить“.

Бусовъ сперва всю эту недѣлю думалъ сдѣлать такъ: поѣхать въ субботу къ кормилицѣ, ночевать у нея опять и въ воскресенье утромъ отправиться къ Гуршину. Теперь онъ измѣнилъ этотъ планъ и рѣшилъ лучше завтра утромъ поѣхать прямо къ Гуршину, нанявъ лошадей въ Москвѣ до мѣста и обратно, а сегодня провести вечеръ съ товарищами, узнать ихъ поближе, ознакомиться съ ними, узнать, что это за люди виѣ службы, не какъ конторщики и бухгалтера торговаго дома Лоскутниковыхъ, а какъ просто люди. Онъ давно служилъ съ ними, но всѣ его сношенія съ сослуживцами ограничивались свиданіями въ конторѣ, гдѣ всѣ были заняты своимъ дѣломъ и если перекидывались иногда двумя-тремя фразами, то или дѣлового характера, или о какихънибудь пустякахъ, вродѣ перемѣны погоды, душнаго воздуха въ конторѣ и т. д. Далѣе этого сближеніе съ сослуживцами у Бусова не шло. Прочіе конторщики сходились между собою, сближались, покучивали, заводили любовныя интрижки, но Павелъ Петровичъ жилъ со-всѣмъ особнякомъ отъ нихъ и видимо возбуждалъ этимъ противъ себя ненависть товарищей, которая выражалась пошленькими шуточками на его счетъ, насмѣшками. Однако онъ не обращалъ на это вниманія.

До сихъ поръ, если ему иногда и приходила на умъ вся невыгодность этого изолированнаго положенія, то онъ никогда особенно не тяготился такимъ состояніемъ, и въ книгѣ, въ театрѣ, въ прогулкѣ съ ружьемъ искалъ себѣ утѣшенія и развлеченій, а также пищи для ума и души. Но теперь ему стало особенно тяжело его отчужденіе. Людямъ при сильномъ возбужденіи ума или чувства всегда хочется общества, а инымъ при этомъ необходимо излить, такъ сказать, свою душу. Бусовъ принадлежалъ именно къ такимъ натурамъ.

Пройдя половину дороги до своей квартиры, онъ вернулся въ контору, чтобы спросить артельщика, не знаетъ ли онъ, гдѣ конторщики, и поѣхать къ нимъ. Въ конторѣ онъ засталъ того товарища, который звалъ его на пирушку вскладчину. Тотъ дѣлалъ какія-то выкладки и покуривалъ, болтая въ антрактахъ съ артельщикомъ.

— А, охотникъ!—засмѣялся онъ, увидѣвъ входящаго Бусова.—Или забылъ что нибудь въ конторѣ?

— Нѣтъ, я вернулся сказать вамъ, что отдумалъ ѣхать на охоту, и пришелъ попросить васъ принять меня въ вашу предполагаемую пирушку участникомъ.

— Ишь, спустя лѣто по малину захотѣлось! У насъ ужъ и дѣло-то все расклеилось. Иванъ Михайловичъ пошелъ къ знакомымъ въ стучолку играть, Егоръ Егоровичъ въ баню надумалъ ѣхать, а я вотъ посижу тутъ часовъ до девяти да въ „Салонъ“ махну. Хотите въ „Салонъ“ ѣхать? Вы меня тамъ ужиномъ угостите, не грѣхъ разикъ за все время товарища ужиномъ угостить! Не бывали вѣдь въ „Салонѣ“-то?

— Не бывалъ, но поѣду съ охотой и буду радъ угостить васъ, чѣмъ хотите. Теперь семь часовъ. Не посидѣть ли намъ до девяти въ трактирѣ гдѣ нибудь?

— Можно и это, такъ какъ страхъ хочется рюмочку-другую пропустить съ приличной нашему званію закуской. Конченъ базаръ!—и конторщикъ, захлопнувъ книгу, шумно открылъ ящикъ конторки и началъ съ веселымъ посвистываніемъ убирать различные принадлежности.

Это былъ человѣкъ лѣтъ подъ тридцать, разбитной, бойкій на языкъ, хвастливый и большой охотникъ приврать, щеголяя ловко сказанной фразой, какимъ нибудь особеннымъ словечкомъ и напускнымъ ухарствомъ и молодечествомъ. Онъ слылъ ловеласомъ и донъ-жуаномъ, покоря слабыя сердца модистокъ и тому подобныхъ барышень, любилъ выпить и поплясать на какомъ нибудь балу, куда являлся сіяющимъ и самодовольнымъ. Его удалъ была фальшива, но она нравилась скромному Бусову какъ что-то лихое, беззавѣтное.

Бусовъ—до крайности довѣрчивый—вообще часто вдавался въ обманъ, принимая дрянненькаго человѣчка за порядочнаго, стоило лишь тому подойти къ нему съ теплымъ участіемъ или блеснуть какой нибудь поддѣльной доблестью. Этого конторщика, Андрея Ивановича Гусарчикова, онъ любилъ больше другихъ товарищей и считалъ его за человѣка хорошаго, за натуру непосредственную и открыто широкую.

— Ну-съ: ѣдемъ теперь, господинъ Бусовъ, господинъ стрѣлокъ, я готовъ!—сказалъ Гусарчиковъ, запирая конторку. — Эй, Васька, туши лампы и ложись спать; заперли лавочку!

— Я еще, Андрей Ивановичъ, пойду гулять сперва,—фамильярно засмѣялся артельщикъ,—а вы мнѣ копеечекъ сорьете на чай дадите, потому что лѣтъ сто не давали.

— Получи двугривенный, шутъ съ тобой, на вотъ! Пальто мнѣ! Н-ну, живо, а то въ ухо!

Бусовъ вышелъ съ Гусарчиковымъ и, взявъ извозчика, повезъ угощать своего товарища въ одинъ изъ веселыхъ трактировъ. Тутъ Андрея Ивановича встрѣтили какъ стараго знакомаго и видимо желаннаго гостя. Товарищи заняли отдѣльный кабинетъ.

— Вы водку-то пьете, Павелъ Петровичъ?—обратился Гусарчиковъ къ Бусову, разглядывая карточку винъ.

— Почти не пью, но съ вами за компанію выпью. Не лучше ли выпить намъ портвейна? Пріятнѣе.

— До портвейна дѣло дойдетъ—онъ вмѣсто лака будетъ, а загрузтовку надо основательнымъ чѣмъ нибудь дѣлать. Вы вотъ что, камрадъ: скажите, на какую сумму угощать меня можете и желаете, я такъ и программу составлять буду, а то бы мнѣ не влетѣть! У меня денегъ-то полтора съ полтиной да гривинникъ съ дыркой.

— У меня деньги есть, Андрей Ивановичъ. Я буду радъ прогулять съ вами все, что вотъ тутъ есть,—и Бусовъ, доставъ бумажникъ, быстро пересчиталъ его содержимое.—Сорокъ три рубля у меня,—сказалъ онъ.—Рублей десять оставляю на завтра, а остальное готовъ тратить по вашему указанію.

— Добре! Я все думалъ, что вы у насъ скопидомъ, а вы—парень-то съ душой, товарищъ! Мы съ вами потомъ на „ты“ выпьемъ, на брудершафтъ. Ну-съ, а теперь заказъ дѣлать будемъ. Эй, бѣлая рубаха, черная совѣсть, слушай и на усъ мотай!

Слушаю, Андрей Ивановичъ, въ оба уха слушаю-съ,—осклабился слуга.

— То-то! Притащи ты намъ водки бутылку, а закусить икорки зернистой да балычку, а еще принеси ты рябиновки наилучшей и закажи повару селедочку сдѣлать поядовитѣе какъ нибудъ, съ капорцами, съ оливками, а похлебать селянку изъ осетрины, да чтобы осетрина была какъ янтарь, а то назадъ верну и денегъ не отдамъ. Ну, портвейна послѣ подашь, и тамъ еще что нибудъ выдуманъ. Любите вы, Павелъ Петровичъ ликеръ? Кремъ-де-ваниль напимъ?

— Вообразите, никогда не пробовалъ!—засмѣялся Бусовъ.

— Ишь вы, молодецъ какой! Ликера подать—четвертиночку абрикотинцу да по рюмочкѣ монахорцу, да коньячку; мы составецъ такой сдѣлаемъ, крющончикъ выпьемъ. Маршъ!

Слуга ушелъ.

— Хорошо выпить, Павелъ Петровичъ, — сказалъ Гусарчиковъ.—Корпишь, корпишь въ конторѣ-то, инда одурь возьметъ тебя за чужимъ дѣломъ синину гнуть, глаза портить, ну, и шарнешь иной разъ. Я удивляюсь на васъ! Человѣкъ вы одинокій, жалованье получаете приличное, а живете словно отшельникъ! Вы, должно быть, горды очень, гнушаетесь съ товарищами бывать.

— Сохрани Богъ! Я просто не имѣлъ случая сблизиться ни съ кѣмъ, а если только это мнѣ удастся, я буду очень, очень радъ! Одиному скучно живется, Андрей Ивановичъ!

— Еще бы! Я бы умеръ одинъ-то, ей Богу! Я люблю во-какъ, во-всю жить! Живи—не тужи, помремъ—туда и дорога! Вотъ и водка, веселье сердечное. Ну-съ, приступимъ!

Гусарчиковъ аппетитно приготовилъ закуску, сопровождая свое приготовленіе прибаутками, остротами, шуточками и заигрываніями съ лакеемъ, который въ дугу гнулся, услуживая дорогому гостю.

Бусовъ глядѣлъ на своего собесѣдника и думалъ:

„Вотъ этотъ веселый, простой человѣкъ вѣроятно рѣшилъ всѣ вопросы жизни и не задумается ни надъ какимъ шагомъ. Вотъ у кого попросить совѣта, вотъ съ кѣмъ подѣлиться горемъ, чувствами! Онъ, я думаю, и любилъ, и это чувство знакомо ему. Какъ весело, какъ легко живется ему! А я кисну въ своемъ одиночествѣ и томлюсь сотнями вопросовъ: какъ да что, да почему, да отчего? А жизнь не ждетъ, летитъ, и годы уходятъ. Я разговорюсь съ нимъ, узнаю его поближе; его жизнь вѣроятно имѣетъ много новаго для меня. Гусарчиковъ въ конторѣ и Гусарчиковъ здѣсь—два человѣка! Тамъ онъ сухъ, не-сообщителенъ, неоткровененъ, а тутъ у него душа нараспашку, широкая натура наружy, вся, какъ на ладони, какъ у каж-

даго русскаго безхитростнаго челоуѣка. А я все боюсь людей—не то пренебрегаю, не то не довѣряю имъ“.

Гусарчиковъ налилъ рюмки и чокнулся съ Бусовымъ.

— Ну, камрадъ, выпьемъ!—сказалъ онъ, весело оглядывая уставленный закусками столъ.—Эхъ, житье-то—масленица! Будь у меня деньги—все бы такъ вотъ всю жизнь!

— Только?—спросилъ Бусовъ, выпивая рюмку.—Только? А что нибудь другое? Неужели всю жизнь отдали бы ѣдѣ и питью?

— А что же? Дѣлами, что ли, заниматься при капиталѣ-то?

— Ну, если не дѣлами, то мало ли чѣмъ. Ну, путешествіемъ, какимъ нибудь дѣломъ не ради наживы, а ради пользы людямъ.

— Фью, фью! Нѣтъ, милый, это ужъ на что же? Еще показаться по свѣту—туда-сюда, ну, а ужъ дѣла бы всѣ по-боку!

— А напрімѣръ тихая семейная жизнь съ любимой женщиной вамъ не по душѣ?

— То есть законнымъ бракомъ? Не одобряю. Бабы—народъ ѣдкій, ядовитый, кромѣ горя, ничего тебѣ не принесутъ.

— Ну, не всѣ такія.

— Всѣ, милый, всѣ!

— Вы хорошо знаете женщинъ?

— Еще бы ихъ не знаты! Слава Богу, видалъ на своемъ вѣку, хватилъ горя съ ними досыта! Связался съ бабой — и погибъ! Вотъ хозяйнѣ-то нашъ, Акимъ-простота...

Бусовъ дрогнувъ и залпомъ выпилъ рюмку водки, чтобы скрыть свое волненіе.

— Женился, да и налетѣлъ!—продолжалъ Гусарчиковъ.—Красавицы-жены захотѣлось, ну, и нашелъ красавицу. Ха-ха! Ловко она окрутила! Выпьемъ, Паша, по единой, новую закуску несутъ. Красавицу Акимушка нашелъ, весь, молъ, міръ ею удивлю, по всей Москвѣ хвастаться буду, а она отъ него стрелача задала, да къ какому нибудь дружку милому и ахнула: живи-де, муженекъ, самъ по себѣ, а я сама по себѣ!

— Вздоръ!—рѣзко проговорилъ Бусовъ.

Гусарчиковъ съ удивленіемъ взглянулъ на него.

— То есть, что вздоръ?—спросилъ онъ.

— Что она ушла къ дружку.

— Вона! А куда же она дѣлась? Зачѣмъ же ей бѣжать-то было?

— Зачѣмъ?—повторилъ Бусовъ, но ничего не отвѣтилъ, а только налилъ стаканъ вина, выпилъ его однимъ духомъ и съ трескомъ поставилъ на столъ.

ХП.

Рюмки четыре водки и стаканъ вина повліяли на Павла Петровича. Онъ захмелѣлъ, его глаза сверкали, лицо покрылось красными пятнами.

— Вы спрашиваете, почему убѣжала жена нашего хозяина?—проговорилъ онъ.—Да потому, что ей душно, тяжело, невыносимо было въ этой ужасной атмосферѣ! Она вышла за Локутникова потому, что ей Богъ вѣсть какими ужасами грозили. и она бросилась впередъ, не разбирая дороги, какъ не разбираетъ ее человѣкъ, за которымъ гонятся разбойники, мучители, палачи. Вышла она и увидала, что этотъ нежеланный женихъ противенъ ей, что лучше въ гробъ, чѣмъ къ нему, и ушла. Ахъ, какая это хорошая женская душа, Марина Григорьевна-то!

Гусарчиковъ пристально взглянулъ на Бусова.

— А вы знаете ее?—спросилъ онъ.

— Знаю,—отвѣтилъ тотъ и задумался.

Гусарчиковъ многозначительно поднялъ брови и наполнилъ стаканъ своего собесѣдника.

— Ну, если знаете, такъ надо выпить за ее здоровье. Пожалуйста-ка!—проговорилъ онъ, чокаясь съ Бусовымъ.

— О, съ величайшей моей охотой! — поспѣшно согласился тотъ. — Пью за здоровье Марины Григорьевны, пью до дна и желаю ей полного счастья!

— Можетъ быть, надо пожелать вѣчной памяти,—замѣтилъ Гусарчиковъ,—можетъ быть, ея, бѣдняжки, уже и въ живыхъ нѣтъ.

— О, нѣтъ. она жива! Она не должна умирать, а должна жить для того, чтобы пользоваться счастьемъ и дать это счастье другому человѣку.

Гусарчиковъ всталъ со своего мѣста и пересѣлъ на диванчикъ рядомъ съ Бусовымъ, опустившимъ голову на руки и глубоко задумавшимся. Вино сильно отуманило ему голову; въ вискахъ стучало, сердце усиленно билось, предъ глазами стояли словно красные круги.

— Выпьемъ-ка мы на „ты“. Папа,—обратился къ нему Гусарчиковъ, пріятельски обнимая его и привлекая къ себѣ.—Я вижу, ты—парень-то хорошій, люблю такихъ!

— Выпьемъ! Очень радъ сойтись съ вами. Къ черту вражду и натянутость, будемъ жить дружно! Эхъ, хороши, Андрюша. дружба и любовь! Человѣкъ при нихъ дѣлается лучше, душевнѣе, чище. Цвѣтникъ растетъ въ тѣни и въ засухѣ — плохо ему, еле-еле дышитъ, почти завялъ. а проникли до него лучи

солнца, освѣжило его благотворными каплями дождя—и онъ нынѣ расцвѣлъ, распустился. Такъ и человѣкъ, согрѣтый любовью и дружбой. Выпьемъ на „ты“, выпьемъ... наливай!

Собесѣдники выпили по стакану вина и поцѣловались.

— Вотъ люблю, Паша,—пріятельски хлопнулъ Гусарчиковъ Бусова по плечу.—Будемъ пріятелями, заживемъ, какъ братья, и важно будетъ! Ну, теперь ликерчика надо выпить. Пожалуй-ка!

— Нѣтъ, не надо, будетъ. Я пьянъ, Андриуша, нехорошо.

— Полно, милый! Пьянъ да умень—два угоды въ немъ. Ликерчикъ освѣжить, асаже сдѣлаетъ. Бархатъ, а не ликеръ, ей Богу! Вотъ люблю, молодецъ! Ты что-то все задумчивый такой, Паша, у тебя, братъ, есть какая-то заботушка, въ ретивомъ сердцѣ зазнобушка. Есть, что ли?

— Есть, Андриуша, есть... Эхъ, какая зазнобушка-то! Мозгъ сушить моя зазнобушка, кровь леденить!

— О-о, вѣрно, Паша, вѣрно! У самого бывало. А ты вотъ что, Паша, открой свою душу, выскажи свою заботу, и легче будетъ, да и совѣтъ иной разъ услышишь хорошій.

— Сказать?—не твердо проговорилъ Бусовъ, взглянувъ воспаленными глазами на собесѣдника.—А знаешь ли ты, какая тайна это? Великая тайна! Тутъ счастье дорогой женщины замѣшано. Пусть бы меня на медленномъ огнѣ жгли—не сказалъ бы я тайны своей, а тебѣ скажу. Тебя я полюбилъ, тебя и другомъ своимъ называлъ. Знаешь ли ты, что за слово „другъ“? Великое, святое, и ты не дерзни попать его ногами! Миръ, народы живутъ любовью и дружбой, все держится на этихъ словахъ!

— Еще бы!—поддѣлываясь подъ тонъ собесѣдника, проговорилъ Гусарчиковъ.—Штука эта важная, дружба напимѣръ... Я, братъ, уважаю дружбу и для друга куда хочешь, хоть на край свѣта! У меня отъ друга ни секрета, ничего... Что мое—то твое, что твое—то мое!

— Такъ и надо. Я скажу тебѣ, все скажу, а ты помоги, научи меня, а то я голову потерялъ, не знаю, что дѣлать! Андрей, я люблю Марину Григорьевну...

— Любишь?—Гусарчиковъ такъ и подпрыгнулъ. — Значитъ, это ты ее ссироварилъ? Къ тебѣ она убѣжала-то?

— Нѣтъ! Я еще не говорилъ ей про свою любовь, она не знаетъ еще, что я люблю ее. Но, Боже, какъ люблю!.. Жизнь, счастье, честь, все отдамъ за нее.

— А ты не знаешь, гдѣ она?—спросилъ Гусарчиковъ.

— Знаю! Слушай, Андрей, я все, все расскажу тебѣ... Я полюбилъ ее еще давно, еще когда она училась въ пансіонѣ.

Тамъ моя сестренка училась, и я ходить туда. Я любилъ мальчикомъ этого ангела, любилъ и послѣ, люблю и теперь. Когда ее выдали за Лоскутникова, я съума было сошелъ! Вдругъ узнаю, что она бѣжала. Я горюю, страдаю, но счастливъ при этомъ, знаю, что она не съ этимъ отвратительнымъ, дурнымъ человѣкомъ... Вдругъ... ха-ха-ха!.. сама судьба начинаетъ помогать мнѣ, Андрей! Вдругъ Иванъ Борисовичъ, дядюшка этотъ почтенный, призываетъ меня къ себѣ и поручаетъ мнѣ розыски Марины Григорьевны...

— Тебѣ? Почему же именно тебѣ?

— А потому, что я на охоту хожу—удобнѣ меня шпиономъ послать—и потому еще, что этотъ сытый дуракъ считаетъ вѣроятно и меня за дурака, за простофилю, которому можно поручить все ввиду его скромности, которую онъ считаетъ за глупость, какъ считаютъ за глупость и честь, и великодушіе, и все то, чего у нихъ у самихъ нѣтъ. Призвалъ меня Иванъ Борисовичъ и говоритъ: „Вы ходите на охоту, такъ поручаю вамъ очень важное дѣло: зайти въ деревню Ситунь, разыскать тамъ кормилицу Марины Григорьевны и осторожно разузнать у нея, не знаетъ ли она, гдѣ Марина Григорьевна“. Ловко онъ такъ все распланировалъ, видно, что шпионство по его части... Денегъ мнѣ сулилъ...

— Много сулилъ? Говорилъ, сколько?

— Такъ, неопредѣленно говорилъ... Негодай! Хотѣлъ купить меня за деньги! Милости сулилъ, почетъ и честь... Ха-ха!.. Я пошелъ и узналъ, гдѣ она, дорогая моя, голубушка, родная. Былъ у нея, сидѣлъ, говорилъ! Эхъ, Андрюша, Андрюша, какая это женщина!.. Ангелъ это, кроткій ангелъ, сошедшій на землю. Выпьемъ за нее, выпьемъ за ея счастье! Завтра я опять къ ней поѣду, увижу ее, однимъ воздухомъ подышу съ нею.

Гусарчиковъ даже дрожалъ отъ нетерпѣнія и сильнаго волненія. Какія радужныя мечты пролетали теперь въ его головѣ! Онъ видѣлъ грядущее благополучіе, ощущалъ его.

— Паша! Да гдѣ же она—у кормилицы этой и живетъ, бѣдняжка?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ! Она у хорошаго человѣка живетъ, и хорошо ей тамъ. Этотъ человѣкъ любитъ ее, но ни-ни, никогда и не заикнется ей про свою любовь. Живетъ она у землевладѣльца Гуршина, Семена Максимовича, далеко отсюда, верстъ почти тридцать, за Ситунь еще двадцать верстъ. Есть деревня Польшовка, около нея имѣніе Гуршина, тамъ она и живетъ... Польшовка... Одно это слово, пустое, ничего не значащее слово, звучитъ для меня чѣмъ-то роднымъ, дорогимъ... Эхъ, Андрюша,

какъ я люблю-то Маринушку, и какъ мнѣ тяжело, Андриюша!—и Бусовъ, опустивъ голову на столъ, зарыдалъ.

Быстро, въ одну секунду, досталъ Гусарчиковъ карандашъ и на маншетѣ своей крахмальной сорочки написалъ: „Деревня Полюновка, двадцать верстъ за Ситунъ, имѣніе Гуршина“. Написавъ это, онъ тревожно взглянулъ на Бусова, но тотъ продолжалъ рыдать, не поднимая головы.

— Полно, Паша, будетъ плакать, — обратился Гусарчиковъ къ нему.—Поѣдемъ, Паша, домой, успокойся...

— Не буду больше, легче стало... Выпьемъ еще, Андрей, вино заливаетъ горе... Выпьемъ, а потомъ возьмемъ лошадь быструю, лихую и прокатимся... Воздуха я хочу, душно мнѣ!

Гусарчиковъ позвонилъ, заплатилъ по счету деньгами Бусова и помогъ встать съ дивана сильно охмелѣвшему Павлу Петровичу.

— Вотъ что, Паша,—сказалъ онъ,—я отвезу тебя домой. Ты посишишь немного, а потомъ и поѣдешь кататься или завтра лучше погуляешь... Я тебя угощу завтра.

— Хорошо, послѣ... Завтра я къ ней, къ Гуршину... Андрей, ты—мнѣ другъ? Ты сохранишь мою тайну?

— Ну, вотъ еще! Поѣдемъ, Паша!

Гусарчиковъ помогъ Бусову сойти съ лѣстницы, усадилъ на извозчика и довезъ до квартиры, гдѣ сдалъ на руки крайне удивленной, даже испуганной хозяйкѣ Бусова, у которой послѣдній жилъ много лѣтъ и которая никогда не видала его не только пьянымъ, а даже навеселѣ.

— На Большую Ордынку!—приказалъ Гусарчиковъ, выходя отъ Бусова и усаживаясь въ пролетку извозчика.—Живо, на чай прибавлю!

Извозчикъ везъ прекрасно, но Андрею Ивановичу все казалось, что онъ ѣдетъ тихо, и онъ на каждомъ шагу попукалъ своего вознигу; тотъ погналъ наконецъ свою лошадку вскачь и такимъ аллюромъ подѣхалъ къ дому Лоскутниковыхъ.

— Что, дома Иванъ Борисовичъ?—быстро спросилъ Гусарчиковъ у дворника, отдавая извозчику деньги.

— Дома-съ, только сейчасъ приѣхалъ откуда-то.

— Не очень отъ меня водкой пахнетъ, Степа?—и Гусарчиковъдохнулъ на дворника.

— Малость попахиваетъ, Андрей Ивановичъ. А вы къ самому?

— Да... Надо фіалковаго корешка пожевать, онъ у меня всегда въ запасѣ.

Дворникъ засмѣялся и отворилъ калитку конторщику. Гусарчиковъ на минуту зашелъ въ контору, умылся, поправилъ

прическу и, пройдя наверхъ въ переднюю, приказалъ доложить о себѣ Ивану Борисовичу.

— Пожалуйста, зовутъ,—сообщилъ лакей.

Иванъ Борисовичъ по обыкновенію сидѣлъ у каминна и курилъ сигару, когда Гусарчиковъ вошелъ въ кабинетъ и, почтительно поклонившись, остановился у дверей.

— Что скажете, милѣйшій?—обратился къ нему Лоскутниковъ, напуская на себя особую важность и величіе.

— Дѣло есть, Иванъ Борисовичъ.

— А я думалъ, вы въ гости пожаловали. Знаю, милѣйшій, что дѣло, но какое-съ?.. И притомъ, что это у васъ за дѣло непосредственно ко мнѣ, да еще въ такой неурочный часъ?

— Очень важное дѣло-съ... экстренное, такъ сказать, и секретное-съ...

— Конфиденціальное?—поднялъ брови Иванъ Борисовичъ.—Притворите дверь и подойдите поближе. Садитесь вотъ тутъ.

Гусарчиковъ плотно затворилъ тяжелую дверь и сѣлъ на указанное мѣсто.

— Ну-съ, что за дѣло такое?—спросилъ Иванъ Борисовичъ.

Онъ очень любилъ секретныя сообщенія и шпионство у своихъ служащихъ и поощрялъ это, предполагая, что ничто такъ не даетъ возможности ориентироваться во всѣхъ мелочахъ сложнаго дѣла, какъ доносы одного служащаго на другого.

Гусарчиковъ подумалъ минуту, откашливаясь и утираясь платкомъ. Онъ надумалъ было дорогой начать съ предложенія суммъ платы за сообщеніе важнаго извѣстія, но теперь величественный кабинетъ начальника и его важный видъ, даже воздухъ этого богатаго кабинета, наполненный запахомъ дорогой сигары и духовъ, отняли у него рѣшимость, и онъ колебался, не зная, съ чего начать.

— Ну-съ, что же такое?—повторилъ Иванъ Борисовичъ.

— Мнѣ извѣстно мѣстопробываніе супруги Акима Осиповича, Марины Григорьевны.—проговорилъ Гусарчиковъ.

Иванъ Борисовичъ быстро повернулся къ нему такъ, что даже его кресло треснуло и закрипѣло.

— Марины Григорьевны?—переспросилъ онъ.—А, это очень важно.

— Да-съ! Я все старанія употреблялъ къ этому, Иванъ Борисовичъ, даже многія траты дѣлалъ, угощая одного чловека-съ.

— Вы будете за все вознаграждены. Гдѣ же она и какъ вы узнали о ея мѣстопробываніи?

— Позвольте рассказать все подробно, Иванъ Борисовичъ.

— Пожалуйста!.. Курите, вотъ сигары.

Гусарчиковъ совсѣмъ оправился, видя, что его сообщенію придана большая важность, закурилъ сигару, поудобнѣе усялся на стулѣ и началъ свой разсказъ. Онъ сказалъ, что уже давно зналъ о любви конторщика Бусова къ Маринѣ Григорьевнѣ и послѣ пропажи послѣдней сталъ слѣдить за Бусовымъ, вошелъ съ нимъ въ дружбу, много разъ угощалъ его, не жалѣя для этого своихъ ограниченныхъ средствъ и желая угодить лишь своимъ хозяевамъ, благодаренія которыхъ онъ всегда помнить и цѣнить. Наконецъ сегодня ему удалось подпоить Бусова, и тотъ все разсказалъ ему, а онъ выслушалъ, записалъ адресъ Марины Григорьевны и немедленно явился донести о блестящихъ результатахъ своего розыска.

— Хотя про товарища и неловко говорить, — закончилъ свой разсказъ Гусарчиковъ, — но мнѣ хозяева дороже товарища, Иванъ Борисовичъ; я очень понимаю и цѣню ихъ значеніе для меня и надѣюсь, что мои услуги даромъ не пропадутъ-сь.

— Вы будете достойно награждены, — успокоилъ его Иванъ Борисовичъ, вставая и быстро прохаживаясь по кабинету. — Нѣтъ, каковъ этотъ мерзавецъ Бусовъ!.. Я ему поручилъ, а онъ, извольте видѣть, каковъ!.. Хорошо, ему это обойдется не дешево! А она-то, супруга племянника, какова! Ха-ха-ха! Бусова выбрала поклонникомъ! Мы его изъ мальчишекъ писцомъ сдѣлали, у него ни кожи, ни рожи... Впрочемъ нѣтъ, онъ недурень... Да не объ этомъ рѣчь, а о самомъ фактѣ... Возмутительно! — Иванъ Борисовичъ досталъ изъ денежнаго шкафа сто рублей. — Вотъ вамъ, Гусарчиковъ, это отъ меня, — подаль онъ деньги конторщику. — Но это лишь отъ меня, а племянникъ награждаетъ васъ особо. Я ему завтра же телеграфирую о вашей полезной службѣ, и онъ не замедлитъ сдѣлать свою резолюцію, вполне благоприятную для васъ. Нашъ помощникъ бухгалтера сталъ что-то носъ драть, и я его турну, а его мѣсто ваше.

Гусарчиковъ даже прослезился, благодаря Ивана Борисовича, и поклялся вѣкъ помнить его благодаренія.

— Я васъ вообще буду имѣть въ виду, и вы убѣдитесь, какъ выгодно быть вѣрнымъ и исполнительнымъ. У меня еще будутъ съ вами дѣла, такъ что вы не только помощникомъ, а и бухгалтеромъ можете стать. Ступайте теперь съ Богомъ, а завтра утромъ явитесь ко мнѣ; вы мнѣ будете нужны.

Гусарчиковъ разсыпался въ благодарностяхъ и вышелъ счастливый и довольный какъ нельзя болѣе. Принимая услуги лакея, подавашаго ему пальто, онъ былъ уже не фамиллярень, а величественъ. Въ немъ сказывался будущій бухгалтеръ торговаго дома Лоскутниковыхъ съ окладомъ въ шесть тысячъ руб-

лей и съ положеніемъ, представляющимъ возможность шагнуть очень далеко.

Иванъ Борисовичъ тоже ожидалъ немалыхъ выгодъ и удовольствій отъ благопріятно сложившихся для него обстоятельствъ. Племянникъ далеко и уѣхалъ недавно; хорошенькая бѣглянка у него въ рукахъ; въ лицѣ Гусарчикова онъ приобрѣлъ надежнаго клеветы, которому возможно поручить контору и ловко обставить всѣ дѣла, а свояченица, недовольная имъ за медленность въ дѣлѣ отысканія Марины, теперь увидитъ, что онъ радѣетъ объ интересахъ ея сына и о чести дома Лоскутниковыхъ.

Проводивъ Гусарчикова, онъ докурилъ сигару и отправился на половину Лукерьи Федоровны.

Старуха пила чай, слушая рассказы какой-то приживалки, когда къ ней вошелъ деверь. Иванъ Борисовичъ вошелъ смѣлой, развязной походкой человѣка, который принесъ пріятное извѣстіе и знаетъ, что обрадуетъ и осчастливитъ своимъ сообщеніемъ.

— Пріятнѣйшаго аппетита, сестрица,—привѣтствовалъ онъ старуху, цѣлуя у нея руку, что честолюбивой Лукерья Федоровна всегда доставляло удовольствіе.—Чай, сахаръ милости вашей! Стаканчикъ могу выпить съ вами?

— Милости просимъ! Только отъ тебя, Иванъ Борисовичъ, всегда такой душище табакомъ этимъ, что у меня голова кружится,—отвѣтила старуха.

— Пардонъ, сестрица, пардонъ! Я сію минуту перемѣню сюртукъ... въ моментъ!—Иванъ Борисовичъ выпорхнулъ съ легкостью эфıra и явился въ щегольской визиткѣ, испуская благоуханіе цвѣточнаго одеколона.—Обновленный и свѣжій!—игриво произнесъ онъ, усаживаясь къ столу: — налейте-ка мнѣ чая и улетучивайтесь отсюда, потому что мнѣ надо съ сестрицей по секрету поговорить.

— Чего она тебѣ помѣшала? — заступилась Лукерья Федоровна.—Пусть сидитъ!

— Величайшій секретъ, сестрица, величайшій! Сія дама не должна слушать его. Она пока посидитъ въ столовой, водочки тамъ выпьетъ, тамъ же кстати ужинъ собираютъ.

Приживалка вышла.

— Знаете что, сестрица?—сія довольной улыбкой, обратился къ свояченицѣ Иванъ Борисовичъ.—Вы меня упрекали въ бездѣтельности, въ лѣни, въ отсутствіи любви къ Акимѣ и къ вамъ, а я для него и для васъ неусыпно тружусь и помышляю лишь о томъ, какъ бы услужить вамъ, утѣшить васъ. Я не буду говорить о дѣлѣ—здѣсь замѣшаны и мои интере-

сы,—дѣло наше, но я говорю о другомъ, о постороннихъ дѣлу вещахъ.

— Да что такое? Говори ужъ прямо, полно расписывать-то!

— Гм... Слушайте, сестрица, и удивляйтесь, радуйтесь и торжествуйте! Я... я нашелъ Марину Григорьевну!

Старуха чуть не выронила изъ рукъ чашки. Она вздрогнула, измѣнилась въ лицѣ и быстро обернулась къ деверю.

— Какъ?... гдѣ?... когда?... — задыхаясь спросила она, и ея глаза засверкали злобщей радостью.

Она будетъ отмщена, отмститъ и за свою обиду, и за честь поруганнаго сына, и за позоръ, нанесенный ея дому. Опозорившая ихъ домъ невѣстка будетъ тутъ уже въ рукахъ, и уже никуда-никуда не уйдетъ изъ дома своего мужа, развѣ въ могилу только.

— Ты правду говоришь? Ты нашелъ ее? Она жива? — еще разъ спросила она.

— Нашелъ, сестрица, нашелъ, и завтра же она будетъ у васъ въ рукахъ! Романъ, цѣлый романъ, сестрица!

Иванъ Борисовичъ началъ издавѣка и къ разсказу Гусарчикова прибавилъ много своего, выставивъ свою неусыпную дѣятельность и старанія на пользу сестры и племянника. Завтра онъ обѣщалъ привезти Марину Григорьевну.

Въ эту ночь хорошо спалось и Лукерѣ Федоровнѣ, и Ивану Борисовичу, и Гусарчикову; всѣ они видѣли радостные сны.

XIII.

Бусовъ проснулся на другой день довольно поздно, съ сильной головной болью. Вчерашняя пирушка на него, совсѣмъ непривычнаго, очень повліяла и физически, и нравственно. Физическое вліяніе выразилось болью въ головѣ, а нравственное — угрызеніями совѣсти: ему совсѣмъ гадкимъ показалось свое вчерашнее поведеніе съ Гусарчиковымъ, которому онъ разсказалъ не только свои чувства къ Маринѣ Григорьевнѣ, но и ея мѣстопробываніе. Зачѣмъ сдѣлалъ онъ это? Вѣдь этого Гусарчикова онъ совершенно не знаетъ, не имѣлъ никакого основанія полагаться на его скромность, и довѣрилъ ему свою завѣтную тайну; мало того — онъ выдалъ ему чужую тайну, тайну дорогой женщины, сказалъ, гдѣ она, тогда какъ это пужно было держать въ страшномъ секретѣ, подъ пыткой и то не выдавать. А онъ все выболталъ!

Гадко сдѣлалось Бусову, и невесело встрѣтилъ онъ утро, о которомъ такъ страстно мечталъ цѣлую недѣлю. Сдвинувъ брови и стиснувъ зубы, ходилъ онъ по своей комнаткѣ и бередилъ

свои душевные раны, кляня себя и рисуя свое вчерашнее поведение самыми мрачными красками.

„Какъ я покажусь теперь Мариночкѣ?—съ тоской думаль онъ,—какъ покажусь этому суровому, безумно любящему ее Гуршину? Ея мѣстопробываніе уже—не тайна, оно сдѣлалось извѣстно постороннему человѣку, который, можетъ быть, расскажетъ своимъ знакомымъ. Боже, какую подлость, глупую, ничѣмъ не оправдываемую подлость я сдѣлалъ!“.

Бусову не думалось, чтобы Гусарчиковъ могъ продать сообщенную ему тайну—такой низости онъ—самъ идеальный по убѣжденіямъ—предполагать не могъ даже въ завѣдомо плохомъ человѣкѣ, а Гусарчиковъ все же былъ ему симпатиченъ какъ широкая натура..

Онъ рѣшилъ немедленно ѣхать къ Гуршину и откровенно признаться ему въ своемъ легкомысленномъ поступкѣ, чтобы предупредить и дать возможность принять мѣры на случай открытія убѣжища Марины Григорьевны.

„Пусть она назоветъ меня, какъ хочетъ,—думаль Бусовъ со злобой на самого себя,—пусть поглядитъ, каковъ я... Болтливая баба, негодяй, не умѣющій держать за зубами даже чужую тайну“.

Молодой человѣкъ быстро напился чая, желая освѣжить себя, и пошелъ искать лошадей. Было уже за полдень, когда онъ выѣхалъ изъ Москвы, все еще не совсѣмъ здоровый, разбитый, точно послѣ болѣзни. Голова кружилась, въ виски стучало, какъ послѣ сильнаго угара, во рту ощущался непріятный вкусъ. Уже въ Ситуніи онъ оправился, выпивъ у кормилицы стаканъ водки, закусивъ и запивъ все холоднымъ квасомъ. Выпившій у кормилицы ямщикъ поѣхалъ веселѣе, и его добрая пара точно другой сдѣлалась, точно переродилась и ходко везла легонькій тарантасикъ по ровному шоссе.

— Засвѣтло доѣдемъ,—обѣщаль онъ, помахивая кнутомъ и покрикивая на лошадей. — Погостите, соснете до разсвѣта, а на разсвѣтъ и обратно тронемся; кони же, пока вы гостите, мѣру овса съѣдятъ, отдохнутъ.

— Въ которомъ часу будемъ завтра въ Москвѣ-то?—спросилъ Бусовъ, которому хотѣлось попасть на занятія во-время, чтобы не дать поводъ Гусарчикову думать о его поѣздкѣ.

— Часу въ десятомъ будемъ.

— Ну, такъ помахивай, голубчикъ, на чай прибавлю!

Пара такъ и разстиралась по дорогѣ, только пыль летѣла по сторонамъ. Сперва эта быстрая ѣзда доставляла Бусову большое удовольствіе, но, чѣмъ ближе подвигался онъ къ усадьбѣ Гуршина, тѣмъ болѣе и болѣе становилось ему жутко

и какъ-то не по себѣ. Боязно было пріѣхать въ гости и тѣмъ показать, что есть что-то особенно привлекательное для него въ этомъ отдаленномъ отъ Москвы уголкѣ; недаромъ же онъ второй разъ дѣлаетъ двадцать верстъ! О причинѣ его посѣщеній догадаться и Гуршину, и Маринѣ было нетрудно, такъ что эта поѣздка была какъ бы безмолвнымъ признаніемъ, а этого признанія и боялся Бусовъ. Потомъ ему страшно было признаться во вчерашнемъ своемъ поступкѣ, въ своей позорной, какъ онъ думалъ, болтливости. Все это пугало его, и онъ готовъ былъ бы просить ямщика ѣхать тише, если бы это не было такъ странно послѣ усиленныхъ просьбъ о наивозможно быстрой ѣздѣ.

Вскорѣ показалась и усадьба Гуршина. Тарантасикъ спустился на знакомую плотину, миновалъ ее, задрезжалъ по усыпанной щебнемъ дорогѣ къ домику. На крыльцѣ появилась тетка Семена Максимовича и стала глядѣть на приближавшійся тарантасикъ. Ямщикъ лихо влетѣлъ на дворикъ и круто остановилъ пару у крыльца. Бусовъ спрыгнулъ и поздоровался со старухой, встрѣтившей его пріятливой улыбкой.

— Семень Максимовичъ дома?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, на деревню ушелъ, въ гости къ мужику одному, навѣрно скоро назадъ будетъ. Пожалуйте, батюшка, въ горницы, милости просимъ, душевно рады гостю дорогому, — радужно проговорила старушка. — Маринушкѣ повеселѣе будетъ, знакомаго человѣка встрѣтивши. а то скучаетъ она, бѣдная.

— Она здорова?—спросилъ Бусовъ.

— Ничего, слава Богу, а только скучаетъ, все такая задумчивая да скучная. Пожалуй, батюшка, въ горницу, а я пойду, молодца позову помочь ямщику лошадей убраться.

Бусовъ поблагодарилъ старушку и вошелъ въ комнаты. Марина Григорьевна шла ему навстрѣчу, радостно улыбаясь.

— Ахъ, это—вы! Какъ я рада!—улыбаясь и глядя на гостя почти восторженными глазами, проговорила она и протянула обѣ руки.

Бусовъ взялъ ихъ и поцѣловалъ.

— Можно?—тихо спросилъ онъ и повторилъ поцѣлуй.—Неужели рады?

— О, еще какъ! Я всю эту недѣлю думала о васъ и все ждала.

— А я-то, я-то... ночей не спалъ и все о васъ думалъ.

Марина слегка покраснѣла и опустила глаза. Бусовъ залюбовался ею, не выпуская ея рукъ.

Марина сшила себѣ сарафанъ изъ темно-синяго ситца, отдѣлала кумачомъ, а также изготовила бѣлую сорочку, выши-

тую красными и синими узорами. Она и была теперь въ этомъ костюмѣ. чрезвычайно шедшемъ ей. Нитка дешевенькихъ бусъ обвивалась два раза вокругъ шеи и спускалась на грудь; волосы были заплетены въ одну тяжелую косу, спускавшуюся ниже пояса.

— Хорошо такъ? — съ дѣтски наивной улыбкой спросила Марина, видя, что Бусовъ любитъ ее.

— Хорошо. Ну, какъ живете? Что думаете? О родныхъ? О Москвѣ?

— Нѣтъ! — Марина вздохнула, — родныхъ теперь у меня не имѣется, такъ какъ отца я не смѣю теперь назвать своимъ — онъ вѣроятно отрекся отъ меня. А Москва... что мнѣ она? О своей долѣ тоскую.

— Доля переѣмчива, какъ погода! Сегодня туманъ, дождь, холодъ, а завтра тепло и яркое солнышко.

— У меня навсегда туманъ, ненастье. Но будетъ обо мнѣ! Вы какъ? Здоровы, счастливы?..

— Тоже тоскую, о васъ тоскую. Вѣдь я... вѣдь я люблю васъ!

Бусовъ самъ не зналъ, какъ сказалось это слово, но, когда оно сказалось, ему легче стало, точно тяжелый камень упалъ съ его плечъ.

Марина вспыхнула яркимъ румянцемъ, въ ея глазахъ блеснулъ лучъ счастья, она было порывисто двинулась къ Бусову, но въ ту же секунду отшатнулась и высвободила свои руки изъ его рукъ.

— Не надо, не надо говорить это!.. Я... чужая... я не должна... не должна говорить объ этомъ, — прошептала она и отошла къ окну, на свое обычное мѣсто, гдѣ всегда сидѣла то за работой, то за книгой.

Павелъ Петровичъ постоялъ минуту, потомъ подошелъ къ Маринѣ и сѣлъ противъ нея.

Наступило молчаніе. Бусовъ съ выраженіемъ глубокаго счастья, глядѣлъ на потупившуюся Марину Григорьевну. Онъ понималъ, что она любитъ его тоже и лишь не смѣетъ сказать объ этомъ, считаетъ грѣхомъ говорить о любви въ своемъ положеніи. Ему хотѣлось сказать ей, что это не такъ, что она имѣетъ полное право любить и принадлежать, кому она хочетъ, но слова не шли у него на языкъ, быть можетъ, отъ избытка счастья, а, быть можетъ, оттого, что онъ не имѣлъ достаточно сильныхъ доводовъ доказать ей свою мысль.

Марина сама помогла ему въ его неловкомъ положеніи.

— Вы согласны со мною, что я не имѣю права любить? — тихо спросила она.

— О, нѣтъ! Почему не имѣете права? Вы...

— Погодите, дайте мнѣ сперва сказать вамъ два слова. Знаете что? Впрочемъ я начну рассказывать вамъ все по порядку, все, что передумала, переживала въ эти дни. Во-первыхъ, я вамъ скажу, что не могу болѣе жить въ этомъ домѣ.

— Почему?—удивился Бусовъ.—Васъ обижаютъ здѣсь?.. Васъ перестали любить?

— О, нѣтъ, напротивъ! Меня слишкомъ, именно слишкомъ любятъ тутъ, и мнѣ тяжело это... Гуршинъ на-дняхъ признался мнѣ въ любви...

— Да? Ну, и что же?

— Я, во-первыхъ, сказала ему то же, что и вамъ, а, во-вторыхъ... во-вторыхъ, я не могу любить его. Онъ, знаете, черзчуръ высокъ для меня, и мнѣ страшно съ нимъ. Это—такая огненная натура, что съ нимъ именно страшно. Я не могу вамъ объяснить это. Ну, напримѣръ, какъ было бы страшно какойнибудь пугливой, бѣдненькой сернѣ быть со львомъ! Смѣшное сравненіе, но это именно такъ! Развѣ я могу сравниться съ Гуршинымъ? Онъ дѣятеленъ, смѣлъ, горячъ, а я... я такая глупенькая, трусливая. Развѣ я могу быть его подругою? О, нѣтъ! Я очень уважаю его, боюсь его и... любить не могу. Ну, вотъ! А онъ признался мнѣ въ своей любви, а потому я не могу оставаться тутъ, мнѣ тяжело это, тяжело видѣть его, да и ему не легко. Я должна куданибудь уѣхать, но не домой... О, я не могу, не могу, не могу этого! Лучше въ омутъ!.. Вотъ тутъ за плотинкой омутъ есть, такъ въ него лучше!

— А ко мнѣ?—нѣжно проговорилъ Бусовъ, снова взявъ руки Марины.—Надо жить и не думать о смерти.

— Нельзя жить, нельзя! — почти крикнула Марина.—Вотъ онъ, Гуршинъ, говорилъ мнѣ объ этомъ. Лучше его вамъ не сказать; онъ все знаетъ, все понимаетъ и ошибается! Онъ говорилъ, что надо смѣло идти на борьбу и взять отъ жизни все, что можно. „Пусть васъ ищутъ, преслѣдуютъ, — говорилъ онъ,—а вы живите и пользуйтесь счастьемъ, не смущая себя, не связывая призрачными обязанностями, выдуманными для полного лишенія свободы, путами, которые названы долгомъ. Васъ не спросили,—говорилъ онъ потомъ,—хотите ли вы той жизни, на которую васъ обрекли, и вы въ правѣ бросить ее и искать иной! Пусть хоть одинъ день, да пожить, да взять его себѣ, а тамъ хоть погибеть!“. Вотъ какъ говорилъ онъ. Но это не такъ. Вѣдь я—чужая—поймите вы это слово,—чужая, и меня возмуть, а тогда еще тяжелѣе, еще хуже будетъ. Мнѣ выпало на долю страданіе, и я должна страдать. А потомъ вотъ еще что: я теперь прямо буду смотрѣть въ глаза и отцу, и его

роднѣ: я знаю, что не нарушила своего супружескаго долга, и это сознаніе облегчить мои муки, я и умру спокойно... Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ не должно и нельзя думать о счастіѣ, но... но я все же люблю... люблю тебя!—Марина быстро обняла Бусова, поцѣловала его и отбѣжала на средину комнаты.—Вотъ... вотъ тебѣ мой первый и... послѣдній, прощальный поцѣлуй!.. Прощай!—сказала она.

— Марина! — протянулъ къ ней руки Бусовъ, но она уже выбѣжала изъ комнаты.

Павелъ Петровичъ сдѣлалъ за нею два шага, остановился, почти упалъ на покинутый ею стулъ и заплакалъ горькими, отчаянными слезами. А ея страстный поцѣлуй жегъ его уста.

Долго ли оставался онъ въ такомъ положеніи, Бусовъ не помнилъ и очнулся лишь тогда, когда послышался голосъ возвратившагося Гуршина, который приказывалъ дать закуску и чай.

Бусовъ всталъ, оправился и пошелъ навстрѣчу входившаго Гуршина.

— Здравствуйте, Бусовъ, — протянулъ Семенъ Максимовичъ гостю руку и крѣпко пожалъ ее.

— Не жмите такъ моей руки; я не стою рукопожатія, я сдѣлалъ непростительную гадость!—проговорилъ Бусовъ.

— Вы?.. Вы сдѣлали гадость? Что такое?

— Ахъ, ужасно!

Бусовъ разсказалъ свою вчерашнюю встрѣчу съ Гусарчиковымъ и весь свой разговоръ съ нимъ. Онъ хорошо помнилъ то, что говорилъ, и то, что сообщилъ конторщику адресъ Марины.

Гуршинъ слушалъ, угрюмо опустивъ голову.

— Тутъ болѣе неосторожности и легкомыслія, чѣмъ гадости, но во всякомъ случаѣ это очень плохо, — сказалъ онъ. — Вы положительно убѣждены, что этотъ Гусарчиковъ можетъ сдѣлать такую низость и продать вашу тайну?

— Не знаю! Онъ мнѣ кажется довольно пустымъ малымъ, но въ то же время и простымъ, добрымъ. А впрочемъ ручаться за него я отнюдь не могу и попросилъ бы васъ принять на всякій случай мѣры.

— Какія?—грустно спросилъ Гуршинъ.—Скрыть Марину Григорьевну въ другое мѣсто? Но куда? Это не легко. Ко мнѣ ужъ навѣдывался становой. Онъ—добрый малый, не буквоедъ, но онъ — подначальный челоувѣкъ и ему своя рубашка ближе къ тѣлу. Онъ говоритъ, что у меня дальнѣйшее пребываніе Марины Григорьевны не безопасно какъ для нея, такъ и для меня, и для станового. О себѣ-то я не думаю, ну, а бѣднаго чиновника, обремененнаго семьею, я не хотѣлъ бы подвергать опасности. Помимо этой вашей неосторожности, положеніе бѣд-

ной Марины Григорьевны очень фальшиво, неловко и невыгодно... Ахъ, Боже мой, Боже мой!—Гуршинъ подошелъ къ столу, на которомъ его тетка приготовила закуску, налилъ стаканъ водки и залпомъ выпилъ его.—Я разрубилъ бы этотъ гордіевъ узелъ, да самому мнѣ жить и хочется, и нужно!—словно про себя сказалъ онъ.—А придется... да, придется...

— Вы очень любите Марину Григорьевну?—тихо, участливо спросилъ Бусовъ, подходя къ нему.

Тотъ вздрогнулъ и сверкнулъ на него глазами.

— Если я что люблю, то очень люблю! — рѣзко сказалъ онъ.—А вы... вы любите ее?

— Да.

— Будьте счастливы! Умѣйте взять это счастье и владѣть имъ. Она... она любитъ васъ... Вы цѣните это? Вы знаете ли, какая это душа? Ахъ!..—Гуршинъ выпилъ второй стаканъ водки.—Садитесь, закусите, будетъ объ этомъ,—сухо сказалъ онъ и, быстро совладавъ съ собою, принялся угощать гостя, какъ радушный, хлѣбосольный хозяинъ.

Тотъ не отказывался, хотя еще не оправился отъ смущения.

— Я на-дняхъ былъ въ Москвѣ,—продолжалъ онъ потомъ,—видѣлъ одного своего пріятеля, который знакомъ съ мужемъ Марины Григорьевны и со всѣмъ его семействомъ. Я спрашивалъ о нихъ и—увы! — узналъ нерадостныя подробности. Мой пріятель хорошо знаетъ эту семейку и говоритъ, что мирное соглашеніе немыслимо, что Лоскутниковы не пойдутъ ни на какія уступки. Еще мужъ, быть можетъ, и согласился бы на что нибудь, но его мать непремѣнно желаетъ мести, обязательно хочетъ найти бѣжавшую неvěстку и водворить ее у себя въ домъ ради соблюденія приличій, какъ говоритъ она, но конечно главнымъ образомъ ради мести.

— И что же дѣлать теперь?—съ тоскою спросилъ Бусовъ.

— Что дѣлаетъ лоцманъ, когда управляемое имъ судно попадаетъ въ водоворотъ, въ бурю? Онъ старается вывести его изъ опасности или съ честью погибаетъ.

— А драгоценный грузъ, который везетъ это судно, тоже погибаетъ?

— Его стараются спасти. Вотъ что: погостите у меня, пока отдохнутъ ваши лошади, потомъ поѣзжайте домой, разузнайте, что тамъ дѣлается у нихъ, повидайте этого Гусарчикова и поговорите съ нимъ, а обо всемъ, что узнаете, немедленно сообщите мнѣ. Наймите того же ямщика, и онъ верхомъ привезетъ мнѣ ваше письмо. Я подумаю, поговорю кое съ кѣмъ и тоже напишу вамъ, а теперь будетъ объ этомъ, довольно киснуть и тосковать. Предъ Мариной Григорьевной надо быть спокойнымъ

и веселымъ, это ободряетъ и дѣйствуетъ благотворно на удрученнаго горемъ человѣка. Эй, тетушка, хозяйюшка, давай-ка намъ что нибудь повкуснѣе, погорячѣе! Живо, старушенція! Да зови сюда Марину Григорьевну!

Марина вошла.

— Что же это, милостивая государыня, землякъ пріѣхалъ, а вы убѣжали?—весело обратился къ ней Гуршинъ.—Нехорошо, нехорошо! А вы закусите вотъ, винца выпейте да сыграйте намъ что нибудь. Павелъ Петровичъ, я, батюшка, думаю музыкантомъ быть, рояль въ Москвѣ купилъ, и вотъ Марина Григорьевна уроки мнѣ даетъ.

Бусовъ только теперь замѣтилъ, что у стѣны, гдѣ раньше стоялъ рабочій столъ Гуршина, помѣщался рояль.

— Для меня привезъ изъ Москвы, чтобы мнѣ не было скучно,—отвѣтила Марина на вопросительный взглядъ Бусова.

Тотъ вздохнулъ и подумалъ:

„Какъ онъ ее любить и какой хорошій человѣкъ!“.

А Гуршинъ безпечно засмѣялся и принялся увѣрять, что тутъ прямо-таки эгоизмъ, желаніе извлечь выгоду.

— Узналъ я, что Марина Григорьевна — музыкантша, сейчасъ и выгоду изъ этого извлекъ: даромъ обучаюсь музыкѣ, которую я до безумія люблю,—весело сказалъ онъ, угощая виномъ и закуской своихъ гостей.

XIV.

Вечеромъ Бусовъ простился съ Гуршинымъ и Мариной, чтобы идти спать и раннимъ утромъ ѣхать въ Москву. Однако не спалось Павлу Петровичу. Мысли одна другой тревожище, думы одна другой страшнѣе не давали ему уснуть, и онъ ворочался съ боку-на-бокъ. Лишь незадолго до разсвѣта забылся онъ тяжелымъ, кошмарнымъ сномъ. Кошмаръ душилъ его до тѣхъ поръ, пока работникъ Гуршина не пришелъ сообщить, что лошади готовы и пора ѣхать. Какъ наяву, Бусову представилось, что Марину взяли и везутъ домой въ какомъ-то страшномъ экипажѣ, а она связана по рукамъ и ногамъ и молить о помощи. Онъ бросается къ ней, но вдругъ между нимъ и экипажемъ разверзается бездна и оттуда лѣзутъ какія-то страшныя чудовища. То онъ видѣлъ похоронную процессію: везли гробъ, и позади шла густая толпа, тянулся безконечный рядъ экипажей. „Умерла, хоронятъ ее“,—говорилъ кто-то. „Кто умеръ?“—тревожно вскрикивалъ Бусовъ во снѣ. „Марина Григорьевна“,—отвѣчали ему, и онъ бросался къ гробу, хотѣлъ видѣть дорогія черты, а изъ гроба вдругъ раздавался хохотъ и чья-то рука грозилъ ему оттуда и чей-то голосъ кричалъ: „Не трогай ея!.. она не твоя,

она—чужая“. Бусовъ просыпался, тревожно вскакивалъ на кровати, оглядывался кругомъ и снова ложился и забывался тревожнымъ полусномъ, а тамъ опять кошмаръ.

Павелъ Петровичъ всталъ точно разбитый, освѣжился холодной водой, одѣлся и вышелъ на дворъ. Холодный воздухъ освѣжилъ его еще болѣе воды. Было совсѣмъ еще темно и только на востокѣ чуть-чуть брезжилъ разсвѣтъ.

Утро встало ясное, съ легкимъ морозомъ, и бѣлый иней опушилъ деревья, дорогу, крыши построекъ. Такое время поздней осенью или зимою, когда воздухъ свѣжъ и холоденъ, очень бодритъ и успокаиваетъ нервы. Это тотчасъ же почувствовалъ Бусовъ. Онъ плотнѣе запахнулся въ пальто, закурилъ пипиросу и сошелъ съ крылечка на дворъ, гдѣ, погромыхая бубенчиками и отфыркиваясь, стояли лошади.

Бусовъ оглянулся на домикъ, подъ крышей котораго было все, чѣмъ онъ жилъ, чѣмъ существовалъ теперь, чѣмъ былъ счастливъ и отъ чего такъ сильно страдалъ.

„Прощай, моя дорогая! — подумалъ онъ. — Богъ вѣсть, дождешься ли ты счастья когда нибудь; но у тебя есть человѣкъ, который за тебя готовъ положить жизнь“.

Онъ подошелъ къ тарантасу и хотѣлъ садиться.

— Прощайте, Бусовъ, — раздался неподалеку голосъ Гуршина, и Семень Максимовичъ подошелъ къ Бусову.

— Уже встали?—подалъ ему руку Павелъ Петровичъ.

— Да! Молотьба у меня, рано встаю. Такое вотъ раннее утро да работа на воздухъ лучше всякихъ лавровишневыхъ капель нервы успокаиваютъ... Хорошо! Ну, до свиданья, Бусовъ! Что-то будетъ?

— Хорошаго ждать нельзя, — уныло замѣтилъ Бусовъ.

— Надо его добывать, хорошее-то, само оно не приходитъ. Вы вотъ не замедлите мнѣ сообщить, что тамъ и какъ, а я подумаю, увижу, что дѣлать надо.

— А если ее возьмутъ ранѣе, чѣмъ я успѣю что нибудь узнать? Если сегодня же возьмутъ ее?

Глаза Гуршина сверкнули въ темнотѣ; углы губъ какъ-то опустились, по лицу точно тѣнь прошла.

— Если мужъ пріѣдетъ, я его живымъ не выпущу, — глухо проговорилъ онъ, точно про себя.

— Боже сохрани! Но его нѣтъ, онъ далеко гдѣ-то.

— Ахъ, да! Дядюшка, стало быть, или ея отецъ... Что же, надо отпустить...

Бусовъ съ отчаяньемъ схватился за голову и простоналъ:

— Что я надѣлалъ! Боже, что я надѣлалъ!..

— Все равно, ближе къ развязкѣ! — сурово замѣтилъ Гур-

нельзя. — Въкъ такъ жить нельзя: рано или поздно, сегодня или завтра, а это должно случиться... Пусть возьмутъ, а все же она не будетъ принадлежать этому человѣку, и онъ наконецъ отпуститъ ее, пойметъ.

— „Наконецъ“! А что предшествуетъ этому концу? Что она должна вынести?

— Я научилъ ее терпѣть, она перенесетъ.

— О, нѣтъ!.. Она, быть можетъ, могла бы перенести лишнее свободы, мелкое оскорбленіе, нравственный гнетъ, но вѣдь ее... ее бить будутъ... Они способны на это!

Гуршинъ замолчалъ, и лишь порою изъ его плотно сжатыхъ губъ вырывался тяжелый вздохъ.

— Поѣзжайте, пусть будетъ, что будетъ. Васъ и ее все же должно живить и поддерживать счастье любви.

Гуршинъ не договорилъ и отвернулся. Бусову стало невыносимо жаль его, и онъ тихо проговорилъ:

— А вы, дорогой мой? Вамъ еще тяжелѣе.

— Я не желаю вашихъ сожалѣній, Бусовъ! Вы должны понимать, что они и тяжелы, и оскорбительны для меня. Прощайте!—рѣзко крикнулъ Гуршинъ и быстро пошелъ къ дымящемуся овину.

Бусовъ сѣлъ въ тарантасъ, и ямщикъ рысью поѣхалъ по бѣлѣвшей, словно разостланное полотно, дорогѣ. Стало почти совсѣмъ свѣтло, когда онъ проѣхалъ половину дороги; оставалось версты три до Ситуня. Навстрѣчу, по широкому и очень ровному въ этомъ мѣстѣ шоссе, показался экипажъ, запряженный четверней крупныхъ рысистыхъ коней въ наборной сбруѣ. Многочисленные бубенцы гулко рокотали въ утреннемъ воздухѣ.

— Что за встрѣча?—спросилъ Бусовъ ямщика.

— Господа какіе нибудь... Лошади-то ечкинскія, нанятые... Знать, кто нибудь въ усадьбу ѣдетъ, изъ помѣщиковъ кто нибудь... Эй вы, милые, шевелись!.. На козлахъ, господинъ, солдаты сидятъ; надо полагать, кто нибудь изъ начальства ѣдетъ.

Но Бусовъ уже видѣлъ теперь, кто ѣдетъ. Коляска, запряженная четверней, была совсѣмъ близко. Въ ней сидѣлъ Иванъ Борисовичъ и дремалъ, закутавшись въ дорожную шубу. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ полицейскій офицеръ, а на козлахъ, рядомъ съ ямщикомъ, солдаты. Коляска быстро мелькнула мимо Бусова и покатила по шоссе.

— Боже, это за нею!—крикнулъ Бусовъ.—Стой! Стой!

Ямщикъ сдержалъ лошадей и съ удивленіемъ оглянулся.

— Ворочай назадъ!.. Или нѣтъ, погоди!.. Что дѣлать теперь? Боже, что дѣлать?

Бусовъ оглянулся назадъ и съ тоскою, съ ужасомъ сталъ

глядѣлъ вслѣдъ удалявшемуся экипажу. Мысли пролетали у него въ головѣ съ быстротою молніи; мѣры, одна другой невыполнимѣе, приходили на умъ и голова шла кругомъ, въ вискахъ стучало. Онъ былъ близокъ къ полному отчаянью, сумасшествію.

„Тамъ Гуршинъ... онъ сдѣлаетъ, что надо, онъ знаетъ,—думаю Бусовъ. — Я же поѣду въ Москву. буду ждать тамъ и пойду къ нимъ, буду умолять, буду требовать, убью, если надо... Гусарчикова убью, его, негодяя, злодѣя“.

— Пошелъ!—крикнулъ онъ ямщику.

Ямщикъ не зналъ, что и подумать о своемъ сѣдокѣ. Ему даже жутко сдѣлалось, и онъ обрадовался приказанію ѣхать, подобралъ вожжи, махнулъ кнутомъ и тарантасикъ быстро покатился къ Москвѣ, громяхая колесами по охваченной морозомъ дорогѣ.

Вечеромъ того же дня въ комнатѣ Лукерьи Федоровны Лоскутниковой сидѣлъ отецъ Марины за чайнымъ столомъ и, накупившись, сдвинувъ брови, пилъ чай, тяжело сопя и то краснѣя, то блѣднѣя отъ ѣдкихъ рѣчей Лукерьи Федоровны. Все, что угодно, можно было прочитать на лицѣ этого угрюмаго старика, не было только и тѣни скорби о судьбѣ дочери. Онъ мучился оскорбленнымъ самолюбіемъ, страдалъ отъ людскихъ толковъ, сокрушался, что его гладкая, какъ зеркало, жизнь честнаго коммерсанта была затуманена этимъ скандаломъ, вѣроятно боялся, что ему придется удвоить сумму приданого, чтобы умиротворить зятя и его мать,—но крайней мѣрѣ онъ такъ поступилъ бы на мѣстѣ Лукерьи Федоровны и извлекъ бы выгоду изъ всего этого, но какой нибудь жалости къ дочери въ немъ не было и тѣни.

Это былъ продуктъ того дикаго воспитанія, которое еще такъ недавно было возведено въ культъ у представителей темнаго царства, девизомъ котораго было: „Убей въ человѣкѣ все, но оставь въ немъ умѣнье сколачивать рубль“. Представители этого воспитанія не признавали ни нѣжности, ни ласки къ воспитываемымъ; они считали только обязательнымъ внушить страхъ къ ихъ безпрекословной волѣ, знали одну теорію: „За битаго двухъ не битыхъ даютъ!“, примѣняли эту теорію на практикѣ и были воспитываемыхъ со спеціальною цѣлью удвоить ихъ „цѣну“. И тутъ, въ этомъ битѣѣ, была цѣль наживы, барыша. Битый сынъ будетъ лучше продолжать дѣло отца, а самъ по себѣ станетъ дороже. Всѣ окружающіе знаютъ, что его бьютъ, и оцѣнятъ дороже сына сосѣда, котораго бьютъ мало. Битую дочь скорѣе возьмутъ замужъ, зная, что въ ней забито все, нѣтъ тѣни самостоятельности и есть лишь

раба, а рабу и искали, и продолжают искать послѣдователи ученія о такомъ воспитаніи.

Григорій Петровичъ Ладыжниковъ и былъ такъ воспитанъ. Рано созналъ онъ, что бить нужно, это такъ принято, и не протестовалъ, когда его били, а лишь ждалъ того, когда это время минуетъ и онъ самъ будетъ бить и учить. Съ ожиданіемъ этого желаннаго времени росла и жажда къ рублю, который даетъ возможность бить кого угодно и сколько угодно. Рубля въ первое время юношества хотѣлось, какъ средства встать на свои ноги, потомъ Ладыжниковъ сталъ стремиться къ рублю, какъ средству возвыситься предъ своимъ сосѣдомъ. „У сосѣда одинъ рубль, одна тысяча рублей, одинъ миллионъ рублей, а у меня пусть будетъ два, и тогда онъ, этотъ сосѣдъ, преклонится предо мною!“—вотъ чѣмъ руководился Ладыжниковъ. Далѣе жажда наживы обратилась въ страсть и даже въ конечную цѣль жизни: за наживой не стояло ничего, одна она манила къ себѣ, какъ манитъ огонекъ заблудившагося путника, къ которому онъ идетъ, собирая послѣднія силы, не обращая вниманія ни на что.

Марину отецъ вѣроятно искалѣчилъ бы нравственно вконецъ, обезличилъ бы вполне, но ее спасъ пансіонъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ то обстоятельство, что она росла въ домѣ отца уже въ тотъ періодъ развитія его жажды къ наживѣ, въ который забылось все, кромѣ этой наживы, даже излюбленная теорія о битьѣ и обезличиваніи всякаго человѣка.

Теперь старикъ жалѣлъ о своей ошибкѣ и корилъ себя за уступку духу времени, ради чего рѣшился отдать дочь въ пансіонъ. Впрочемъ тутъ даже и не духъ времени игралъ главную роль, а опять-таки рубль: образованную по нынѣшнему времени скорѣе возьмутъ, съ отцовской шеи снимутъ, да и съ приданымъ не такъ привередничать станутъ; даже какойнибудь дуракъ можетъ и даромъ взять, думалъ старикъ, отдавая дочь въ пансіонъ. Какъ бы то ни было, а теперь приходилось жалѣть объ этомъ, и старикъ жалѣлъ, предполагая, что ему эта исторія можетъ вскочить въ копеечку.

„Еще пожалуй придется адвоката нанимать, какомунибудь брехуну деньжищъ отвалить“,—угрюмо думалъ старикъ, прихлебывая съ блюдечка чай и однимъ ухомъ прислушиваясь къ рѣчамъ Лукерьи Федоровны.

— Ужъ такой скандалъ сдѣлала доченька ваша любезная, что и въ Москвѣ такого не было!—говорила она.—Не то, что нашъ домъ, а какогонибудь мастеришку нищаго, и того огорошила бы и тому не пара была бы. Я конечно по материнской слабости сдѣлала ошибку, позволила Кимѣ жениться на пей,

на негодницѣ. Но вѣдь я думала, что вы, такой почтенный, такой дѣловой, богатый человекъ, дали своей дочкѣ надлежащее воспитаніе. Я брала ее не съ улицы, не изъ какого нибудь нищаго семейства, а у богатаго купца, она же... Гм... Вѣдь это—ужасти, что такое, вѣдь это—позоръ!.. Вотъ привезутъ ее сегодня, сударушку, куда мы ее дѣнемъ? Что мы съ нею по-сится-то будемъ?

— Что хотите, то и дѣлайте; хоть до смерти заколотите.

— Благодарю васъ, сватушка! Это, чтобы она на насъ въ судъ подала да еще больше осрамила?.. Благодарю!

— На мужа, коли онъ ее за дѣло учить станеть, Марина не подастъ, а если и подастъ, такъ ничего не выйдетъ изъ этого.

— Скандаль выйдетъ, сватушка, скандаль!..

— Ну, такъ я самъ поучу. Я—отецъ, я смѣю.

— Да какая же намъ утѣха-то отъ этого будетъ? Ну, со-рвемъ мы сердце, оплатимъ ей за обиду, но вѣдь этимъ дѣла не поправишь, говорить людямъ не закажешь, скандала не покроешь!.. Нѣтъ, сватушка, не то надо дѣлать... Вы поучить ее поучите, пусть она восчувствуетъ, пусть такъ же отвѣдаетъ горя-то, какъ мы отвѣдали его, а потомъ и возьмите ее къ себѣ. Подержимъ вотъ у себя годикъ, пусть узнаеть, каково бѣглой жить, а тамъ пусть и идеть къ вамъ.

— Миѣ Марины не нужно. Я ее выдалъ замужъ и знать ничего не хочу.

— А, вотъ какъ!.. А ежели судъ разведеть ее съ сыномъ-то моимъ? У насъ, свать, законы есть, и по тѣмъ законамъ такимъ женамъ разводъ даютъ, чтобы мужья могли на другой, на порядочной жениться.

— Пусть разводять, а я ея не приму къ себѣ.

— Это ужъ—ваше дѣло.

Наступило молчаніе, а затѣмъ старикъ вдругъ заявилъ:

— Развода не дадутъ.

— Это почему-съ?—спросила Лукерья Федоровна.

— А потому, что Марина могла убѣжать отъ угрозъ. Можетъ, вы грозили ей чѣмъ.

— А, вы вотъ какъ! Вы хотите навалить намъ Марину во что бы то ни стало?! Ну, такъ мы тоже—не дураки, найдемъ толкъ!

Подъ окнами загремѣли колеса экипажа и послышался перекатный звонъ бубенчиковъ. И Лукерья Федоровна, и старикъ встрепенулись.

— Привезли!—радостно проговорила Лоскутникова.—Я васъ прошу, Григорій Петровичъ, и пальцемъ ея не трогать въ мо-

емъ домѣ. Если вы желаете ей отцовскую науку сдѣлать, берите къ себѣ, да тамъ и дѣлайте, что хотите, а я у себя и безъ побоевъ сумѣю отплатить ей... помнить будетъ!

Въ комнату быстрыми шагами вошелъ Иванъ Борисовичъ въ дорожномъ костюмѣ, взволнованный, возбѣшенный.

— Привезъ?—встала ему навстрѣчу Лукерья Федоровна.

— Пустое мѣсто привезъ!.. Это—ужасъ что такое, это—разбой!—Иванъ Борисовичъ замѣтилъ отца Марины. — Ваша дочь въ Сибирь пойдетъ, милостивый государь,—набросился онъ на старика.—Это—побѣгъ, обманъ, подлогъ, укрывательство! Вообразите, сестрица, она изъ рукъ у насъ ускользнула!.. Это—какая-то авантюристка, это—закаленная преступница... Отыскали мы усадьбу Гуршина, этого почтеннаго укрывателя бѣглыхъ женъ, пріѣзжаемъ. Около самаго дома парень-работникъ чинить телѣгу, мы къ нему. „Чей это домъ?“ — спрашиваемъ. „Семена Максимовича Гуршина“, — отвѣчаетъ. „Домъ онъ?“ — „Домъ, на работѣ“, — говоритъ. „Скажи, любезный, съ кѣмъ да съ кѣмъ онъ живетъ?“ — „Работниковъ“, — говоритъ, — пять человекъ, мельникъ съ женой и сыномъ, а при самомъ тетка-старушка живетъ, да вотъ не очень давно гоститъ родственница какая-то“. Ага!—думаемъ. „Какъ ее зовутъ?“ — „Мариной Григорьевной“. Наша,—рѣшили мы,—попалась! Идемъ въ домъ; стучимъ, долго стучимъ; наконецъ отпираетъ намъ какой-то разбойникъ... совсѣмъ разбойникъ съ большой дороги прямо. Лицо такое дерзкое, глазами такъ и жжетъ; одѣтъ въ поддевку, кушакомъ подпоясанъ и въ шалкѣ на затылкѣ. „Кто вы такой?“ — спрашиваемъ мы. „Вотъ это, — говоритъ, — ново! Къ хозяину въ домъ пришли и спрашиваютъ, кто онъ такой? Васъ позвольте спросить, кто вы такіе?“ — а самъ смѣется и на порогъ стоитъ. Ну, мы назвали. Господинъ полицейскій даже шубу распахнулъ, мундиръ показываетъ и даже бумагу свою показываетъ, вотъ-де кто я. „Очень, — говоритъ, — приятно. Что же вамъ угодно?“ — „У васъ, — говоримъ, — скрывается купеческая жена Марина Григорьевна Лоскутникова“. А онъ засмѣялся самымъ этакимъ разбойничьимъ смѣхомъ и головой покачалъ. „Никакихъ, — говоритъ, — у меня женъ нѣтъ, это надъ вами подшутили, нарочно васъ заставили прогулку сдѣлать“. — „Ну, это мы увидимъ, — отвѣчаемъ мы. — Намъ нужно сдѣлать обыскъ“. — „Извольте, — говоритъ, — въ этомъ я вамъ отказывать не имѣю права. Но вамъ вѣроятно извѣстно, что для этого нужны понятые? Потрудитесь пригласить ихъ и милости просимъ, а пока до свиданья!“. Мы это и такъ, и сякъ, а онъ только посмѣивается. Каковъ-съ? Ну, натурально, пока мы стучались, пока съ нимъ этотъ разговоръ вели, онъ доченьку вашу, почтеннѣйшій, спро-

вадилъ, ея и слѣдъ простылъ. Намъ послѣ нашъ кучеръ сказалъ, что онъ видѣлъ, какъ работникъ Гуршина закладывалъ лошадь въ шарабанъ и подалъ къ заднему ходу рабочей избы, а потомъ быстро промчался мимо лѣса къ деревнѣ. Мы взяли понятыхъ, сдѣлали обыскъ и ничего не нашли. По составленному протоколу видно изъ показаній работниковъ, что у Гуршина дѣйствительно жила какая-то Марина Григорьевна, но, кто она такая и гдѣ она, неизвѣстно. Вотъ и все, вотъ и всѣ результаты нашей поѣздки-съ! Теперь мы можемъ предать суду господина Гуршина за укрывательство, но, гдѣ наша любезная невѣстка, не знаю-съ!

Иванъ Борисовичъ развелъ руками и въ изнеможеніи опустился на стулъ.

Бусовъ пріѣхалъ въ Москву какъ разъ во-время, то есть успѣлъ переодѣться дома и пришелъ въ контору на занятія въ обычное время. При видѣ раздушеннаго и франтовато одѣтаго Гусарчикова, который встрѣтилъ его игривой улыбкой, у Бусова поднялась такая злоба, что онъ едва-едва совладалъ съ собою, чтобы не броситься на него съ кулаками. Онъ холодно поклонился товарищамъ и сѣлъ за работу. Но, всегда усердный и умѣлый работникъ, сегодня онъ положительно не могъ ничего дѣлать. Мысли одна другой мрачнѣе и тяжелѣе не выходили у него изъ головы. Что съ Мариной? чѣмъ кончился визитъ къ ней Ивана Борисовича съ полиціей? какъ встрѣтилъ ихъ Гуршинъ?—вотъ чѣмъ занятъ былъ молодой человекъ, да еще рѣшеніемъ вопроса, какъ ему поступить съ Гусарчиковымъ. Противъ этого ненавистнаго ему теперь человека у него подымалась страшная, неукротимая злоба, и, не будь нѣкоторыхъ обстоятельствъ, онъ задушилъ бы его своими руками, — такъ гадокъ, такъ невыносимъ былъ ему этотъ самодовольно улыбающійся и безпечно болтающій человекъ послѣ своего низкаго поступка.

XV.

„Я простилъ бы этого предателя Гусарчикова,—думалъ Бусовъ, сидя въ конторѣ надъ раскрытою книгой.—Сдѣлай онъ только мнѣ лично гадость—пусть, я постарался бы забыть, не сталъ бы искать случая отмстить ему. Но вѣдь онъ сдѣлалъ зло ей, ее ввелъ въ бѣду, негодяй, ей причинилъ горе, и я не могу, не могу простить ему!.. Я чувствую страшную, неукротимую злобу къ нему... Я... убью его, какъ бѣшеную собаку!“.

Но сейчасъ же явилась мысль о Маринѣ, и злоба стихла, а мысль о мести уступила мѣсто мыслямъ о томъ, что будетъ съ

Мариной, если онъ дѣйствительно не утерпитъ и раздавить этого человѣка, который такъ низко, такъ подло предалъ его и подвелъ подъ бѣду дорогую для него женщину. Вѣдь, случись что нибудь съ нимъ, она не перенесетъ этого новаго горя, вѣдь она любитъ. Одна мысль о томъ, что Марина любитъ его, доставляла Бусову невыразимое блаженство, и онъ забывалъ Гусарчикова, не слыхалъ его вульгарнаго разговора, пошлаго смѣха. Однако затѣмъ онъ опять вспоминалъ о немъ и опять подымалось чувство горькой обиды. Поступокъ Гусарчикова оскорблялъ въ Бусовѣ самыя заветныя его идеи. Вѣдь этотъ Гусарчиковъ надругался надъ дружбой, честью, порядочностью и теперь не раскаивается, не мучаетъ его совѣсть, онъ не опускаетъ глазъ при взглядѣ на преданнаго друга, а нагло хохочетъ и рассказываетъ товарищамъ глупыя и пошлыя анекдоты, какъ будто онъ и не думалъ дѣлать подлость, какъ будто тутъ и не было человѣка, надъ которымъ онъ такъ надругался, котораго такъ жестоко обидѣлъ.

Вотъ это-то игнорированіе его личности и возмущало всего болѣе Бусова и подымало въ немъ желчь.

„Убью, задущу его!—съ мучительной болью думалъ онъ, наклоняясь надъ конторкой и безцѣльно водя перомъ по бумагѣ.—А она? Что будетъ съ нею, если меня арестуютъ, сошлютъ? Дорогая моя! Вѣдь она тогда останется совсѣмъ-совсѣмъ одинокою!.. Забвенію я предаю твою низость, гадкій человѣкъ!“—мысленно послалъ Бусовъ Гусарчикову и постарался углубиться въ работу.

Въ конторѣ, по распоряженію бухгалтера, не курили, а ходили для этого въ особую комнату, рядомъ съ конторой, гдѣ иногда конторщики угощались водкой, особенно послѣ бурно проведенной ночи.

Бусовъ замѣтилъ, что Гусарчиковъ, доставъ папиросу, пошелъ курить, и отправился за нимъ.

Въ курильнѣ никого не было, когда туда вошелъ Гусарчиковъ, а слѣдомъ за нимъ и Бусовъ. Уже по одной улыбкѣ, съ которой встрѣтилъ его, своего недавняго друга, Гусарчиковъ, Павелъ Петровичъ понялъ, что именно этотъ человѣкъ воспользовался его простодушнымъ довѣріемъ и продалъ его тайну. Въ этой улыбкѣ были страхъ за свое поведеніе, наглость разоблаченнаго притворщика и что-то вродѣ угрызенія совѣсти, тѣни стыда.

Бусовъ подошелъ къ Гусарчикову, устремилъ на него взглядъ, полный глубокаго презрѣнія, и съ дрожью въ голосѣ спросилъ:

— Это вамъ обязана несчастная Марина Григорьевна тѣмъ,

что ея убѣжище открыто и что за нею, какъ за дикимъ звѣремъ, послали ловчихъ, устроили на нее облаву?

Гусарчиковъ, словно узнавая, будутъ ли его бить, и, если будутъ, то чѣмъ именно, окинулъ его пытливымъ взглядомъ, видимо трусая.

— Да, это я сказалъ,—отвѣтилъ онъ.—Что же такое? Тутъ ничего нѣтъ такого. Я служу здѣсь и обязанъ соблюдать интересы моихъ хозяевъ. Обязанность каждаго порядочнаго человѣка дѣлать, поступать... то есть я хочу сказать, что я обязанъ былъ, этого требовалъ мой долгъ.

— И вы смѣете говорить о долгѣ!.. Негодяй вы, негодяй! Мнѣ стыдно, что я унижился до сближенія съ вами. Но я прощаю вамъ вашу низость потому, что... вы не стоите того, чтобы мстить вамъ, и у меня хватитъ силы воли сдержать мое страстное желаніе разбить вашу голову. Но тѣмъ не менѣе я не совѣтую вамъ очень часто попадаться мнѣ на глаза. Слышите?

Гусарчиковъ поблѣднѣлъ и стоялъ, глупо улыбаясь искусственной улыбкой, которой онъ хотѣлъ замаскировать свое волненіе. Въ это время въ комнату вошелъ артельщикъ. Гусарчиковъ сейчасъ же ободрился, и обычная наглость не замедлила возвратиться къ нему: посторонній человѣкъ былъ тутъ свидѣтелемъ и врагъ, какъ онъ думалъ, былъ уже связанъ.

— Скажите, какой фонъ-баронъ!—быстро и злобно заговорилъ онъ.—Съ выговоромъ еще дѣзетъ!.. Ишь, птица важная!.. Погонять вотъ съ мѣста-то, такъ узнаешь, шушера ничтожная, форсунъ! Негодяемъ еще смѣетъ называть людей почище себя!.. Къ мировому вотъ за эти слова-то притянуть!.. Попробуй, тронь! Ишь, важное кушанье какое!

Бусовъ поглядѣлъ на него вспыхнувшими гнѣвомъ и ненавистью глазами, сжалъ кулаки, шагнулъ было впередъ, но остановился, повернулся и быстро вышелъ изъ комнаты.

Вечеромъ по всему дому Лоскутниковыхъ разнеслась вѣсть, что Иванъ Борисовичъ узналъ, гдѣ жена Акимъ Осиповича, ѣздилъ за нею съ полиціей, но Марина Григорьевна успѣла скрыться и Иванъ Борисовичъ пріѣхалъ ни съ чѣмъ, сильно золъ, рветъ и мечетъ, а съ „самой“ (хозяйкой) сдѣлался припадокъ, такъ что посылали за докторомъ.

Бусовъ слышалъ эти толки въ конторѣ, отдохнулъ душою и мысленно посылалъ благословенія Гуршину, который такъ ловко умѣлъ укрыть Марину Григорьевну.

„Тамъ что будетъ, а пока она спасена, не попалась въ руки этихъ коршуновъ; спасибо голубчику Гуршину!“—подумалъ онъ, и отрадно, весело стало у него на душѣ.

Когда онъ кончилъ работу и собрался уходить, прибѣжалъ артельщикъ и сообщилъ, что его зоветъ Иванъ Борисовичъ.

„Ага, развязка со мною наступила!—подумалъ Бусовъ и пошелъ.—А что, если этому гостюдину придетъ мысль выместить на мнѣ свою злобу?—мелькнула у него мысль, когда онъ уже вышелъ въ корридоръ.—У него хватитъ смѣлости приказать избить меня своимъ клеветамъ, которые за деньги пойдутъ на все. Надо принять мѣры“.

Бусовъ вернулся въ контору и досталъ изъ кармана пальто револьверъ, который вчера бралъ съ собою и который забылъ вынуть, собираясь на занятія.

Въ кабинетѣ Ивана Борисовича сидѣлъ въ креслѣ Гусарчиковъ и очень важно курилъ папиросу; онъ нарочно при входѣ Бусова принялъ свободную позу и окинулъ его высокомернымъ взглядомъ. Иванъ Борисовичъ сидѣлъ около стола и всталъ навстрѣчу Бусову.

— А, господинъ рыцарь!—злобно проговорилъ онъ.—Имѣю честь кланяться-съ, наше вамъ почтеніе-съ!—Онъ остановился предъ Бусовымъ и впился въ него злыми, полными ненависти глазами.—Неблагодарный!—какъ-то шипя заговорилъ онъ.—Вы кормили, человѣкомъ сдѣлали, хотѣли на дорогу поставить, а онъ... низости вздумалъ дѣлать! Обрадовался, что хозяйинъ по молодости и неопытности порочную жену себѣ взялъ, и связъ съ нею завелъ!

— Вы лжете, господинъ Лоскутниковъ!—крикнулъ Бусовъ.—Слышите? Вы лжете! Вы всѣ преступны, а не она! И ни я, и никто съ нею связи не имѣетъ. Она ушла отъ позора, отъ гибели, и вы хотѣли купить меня, чтобы я взялъ на себя роль сыщика и помогъ вамъ погубить эту святую женщину, мизинецъ которой дороже васъ всѣхъ! Покупайте за деньги другихъ, ищите негодяевъ—вы найдете ихъ, показавъ имъ бумажникъ, а меня вамъ не купить! Поняли вы, что я сказалъ? Теперь потрудитесь сказать, что вамъ угодно, я выслушаю. Не осудите меня за мой тонъ, за мои слова—вы сами виноваты, вы... вы тронули меня за больное мѣсто, вы глубоко оскорбили меня. Я не хотѣлъ ссоры, я не желалъ обижать васъ.

Иванъ Борисовичъ не ожидалъ этого. Онъ думалъ, что Бусовъ, всегда скромный, тихій, будетъ уничтоженъ, пристыженъ и станетъ робко просить извиненія или молчать, и вдругъ онъ точно выросъ предъ нимъ, его голосъ зазвенѣлъ металлическимъ звукомъ, глаза засверкали. Иванъ Борисовичъ видѣлъ предъ собою не робкаго, тихаго конторщика Бусова, а оскорбленнаго, гнѣвнаго и гордаго человѣка, котораго взяли дѣйствительно за больное мѣсто.

— А, вотъ какъ!—унавшимъ голосомъ проговорилъ онъ.— Хорошо! Это хорошо!

Гусарчиковъ поспѣлъ на выручку опѣшившему хозяину.

— Осмѣлюсь доложить, Иванъ Борисовичъ, что добры вы очень-съ.—Приказали бы за эти дерзости артельщикамъ проводить хорошенько-съ. А то это что же такое-съ? Въ кабинетѣ хозяина, такой, можно сказать, особы, въ кабинетѣ, гдѣ генералы скромны и вѣжливы, и вдругъ какой нибудь послѣдній конторщикъ буйство разводить! Это что же будетъ изъ этого? Достаточно мнѣ ребятъ кликнуть-съ, и мы его выучимъ, какъ слѣдуетъ съ вами разговаривать-то!

— Да, да, вѣрно, вѣрно!—вспыхнулъ Иванъ Борисовичъ.— Это—буйство, дерзости! Негодяй, дрянъ какая нибудь!.. Позвать сюда ребятъ! Иди, иди, Гусарчиковъ! Да я тебя, молоко-сосъ, выдрать прикажу! Ступай, Гусарчиковъ!

— Стой!—загородилъ ему дорогу весь блѣдный, какъ полотно, Бусовъ.—Я зналъ, куда иду, ждалъ, всего ждалъ. Вотъ чѣмъ я встрѣчу покушеніе на мою честь!—и онъ, выхвативъ револьверъ, погрозилъ имъ Гусарчикову.

— Ай!—вскрикнулъ тотъ и ударилъ Бусова по рукѣ подъ самый локоть.

Взведенный курокъ шелкнулъ—и гулко раздался въ обширномъ, высокомъ кабинетѣ выстрѣлъ. Пуля свистнула надъ головой Лоскутника и засѣла въ стѣнѣ, пробивъ полотно большой картины, изображающей какой-то морской видъ.

Иванъ Борисовичъ опустился на полъ, закрывши лицо руками, а Гусарчиковъ выбѣжалъ въ сосѣдную комнату и закричалъ „караулъ“.

Когда въ кабинетъ вбѣжали слуга Ивана Борисовича, артельщикъ и услышавшій выстрѣлъ швейцаръ, сопровождаемые Гусарчиковымъ, Бусовъ стоялъ съ опущеннымъ револьверомъ, глубоко пораженный всей этой сценой, оглушенный, ошеломленный неожиданнымъ выстрѣломъ и отчаяннымъ крикомъ Гусаркова. При видѣ вбѣжавшихъ онъ пришелъ въ себя.

— Напрасная тревога,—тихо проговорилъ онъ,—я показывалъ револьверъ, а господинъ Гусарчиковъ ударилъ меня подъ локоть, и произошелъ нечаянный выстрѣлъ. Не бойтесь, я—не убійца.

— Взять его! Связать его!—неистово закричалъ Иванъ Борисовичъ, вскакивая съ пола.—Убить меня хотѣлъ! Полицію сюда! Протоколъ! Доктора мнѣ, я, быть можетъ, раненъ, убитъ! Берите его!

— Бери его!—крикнулъ Гусарчиковъ, толкая впередъ здорovenнаго швейцара.

Люди вдругъ кинулись на Бусова, вырвали револьверъ, а Гусарчиковъ сорвалъ съ портъеры массивный шнуръ и крѣпко связалъ арестованному руки назадъ.

— Что, герой, попался?—заглянулъ онъ въ лицо Бусова и злобно захохоталъ.—Я его, Иванъ Борисовичъ, въ участокъ-съ. Хорошо-съ? А протоколъ составлять сюда придутъ. Вотъ пуля-то кула угодила: картину пробила!

— Ну, слава Богу!—оглянулся Иванъ Борисовичъ.—А вѣдь я думалъ, она во мнѣ. Уфъ, даже потъ прошибъ. На волосокъ пролетѣла отъ головы-то, на волосокъ!

Пуля пролетѣла аршина на два выше головы Ивана Борисовича.

— Да, да, въ участокъ его! Въ участокъ его, злодѣя, убійцу! Не убѣжалъ бы, берегите его. Револьверъ-то возьмите! Ухъ, даже ноги подкашиваются. Дайте мнѣ воды!

Бусова вывели, а Иванъ Борисовичъ въ изнеможеніи опустился въ кресло, тяжело вздыхая и охая. Черезъ полчаса онъ рассказывалъ Лукерѣ Федоровнѣ всю исторію, немилосердно прибавляя и сочиняя, а потомъ, давъ показанія явившейся полиціи, одѣлся и пошелъ въ клубъ, чувствуя себя героемъ, подвергавшимся величайшей опасности, и стораю нетерпѣніемъ рассказать очень эффектную и романтическую басню про выстрѣлъ, которымъ хотѣли прекратить его драгоценную жизнь. Обычные посѣтители клуба даже карты побросали и окружили повѣствовавшаго Ивана Борисовича плотной стѣной, а на другой день исторія о покушеніи на жизнь была извѣстна всему городу и рассказывалась на всѣ лады, какъ продолженіе таинственнаго романа Марины Григорьевны. Правды въ рассказѣ не осталось уже и тѣни, а образъ ни въ чемъ неповинной въ данномъ случаѣ Марины Григорьевны выросъ въ грандіозные размѣры: она въ передачѣ вѣстовщиковъ и вѣстовщицъ являлась какимъ-то чудовищемъ, которымъ маменьки стали пугать своихъ взрослыхъ дочекъ.

Гуршинъ, черезъ день послѣ покушенія Бусова на убійство, возвратившись съ работъ, сѣлъ за чай и взялъ только что полученныя газеты. Въ одной изъ московскихъ, въ отдѣлѣ дневника происшествій, онъ прочелъ:

„Вчера въ Москвѣ произошло слѣдующее событіе, взволновавшее весь городъ. Служащій конторщикомъ въ конторѣ торговаго дома Лоскутниковъ и К^о, московскій мѣщанинъ Павелъ Петровичъ Бусовъ покушался на жизнь одного изъ представителей фирмы, именно на весьма популярнаго и уважаемаго въ Москвѣ коммерсанта Ивана Борисовича Лоскутникова. Означенный Бусовъ пришелъ въ кабинетъ Ивана Борисовича и выстрѣ-

лилъ въ него изъ револьвера системы Смитъ и Вессонъ, заряженнаго шестью пулями, и лишь благодаря энергiи и смѣлости другого, находившагося тутъ же, конторщика, Андрея Ивановича Гусарчикова, преступленіе не совершилось. Гусарчиковъ толкнулъ злодѣя подъ локоть въ моментъ прицѣла, и пуля, пролетѣвъ надъ головою г. Лоскутникова, ударилась въ стѣну, гдѣ и застѣла. Подкладка этой исторiи будто бы романическаго характера, и въ ней немалую роль играетъ жена другого представителя фирмы. Бусовъ арестованъ“.

Прочитавъ эту замѣтку, Гуршинъ сильно измѣнился въ лицѣ, спрятавъ номеръ газеты въ карманъ и принялся большими шагами ходить по комнатѣ.

„Бѣдная, бѣдная!—думалъ онъ про Марину Григорьевну.— Вотъ кого бьетъ жизнь-то, такъ бьетъ! Оставалось одно утѣшеніе—любовь тихая, скорѣе на дружбу похожая, и тутъ неудача: любимый человѣкъ попадаетъ въ бѣду! Ахъ, Бусовъ, Бусовъ, и надо было ему стрѣлять въ этого деревяннаго истукана! Оскорбили, не вынесъ, а тутъ еще мерзавецъ находился, этотъ торжествующій предатель Гусарчиковъ, ну, и не стерпѣлъ. Пропадетъ теперь. Эхъ, купечество наше почтенное, ты словно нарочно такъ устраиваешь всю жизнь, чтобы жить какъ можно хуже, чтобы на долю твоихъ членовъ выпадало какъ можно больше несчастій и горя. Губятъ молодые силы, тратятъ лучшіе годы. Эхъ, ты, жизнь, жизнь!“.

Гуршинъ сѣлъ и глубоко задумался надъ положеніемъ дорогой для него Марины Григорьевны.

Находясь въ день пріѣзда Ивана Борисовича на работѣ, онъ увидалъ Лоскутникова и быстро спрятавъ свою гостью; затѣмъ, приказавъ запереть переднее крыльцо, онъ проводилъ Марину заднимъ ходомъ въ сосѣднюю деревню къ пріятелю-мужику, гдѣ она и пробыла два дня. Сегодня она опять вернулась къ нему, но была встрѣчена теткой Гуршина уже далеко не такъ радушно, какъ въ первый разъ. Добрая старуха любила ее, жалѣла и вполне сочувствовала ей, но еще болѣе любила и жалѣла своего племянника, своего Сеню, а пребываніе этой гостыи грозило ему бѣдой. Полиція уже пріѣзжала, и Богъ вѣсть, что еще будетъ! Старушка не смѣла разговаривать на эту тему съ племянникомъ, понимая, что ему очень дорога Марина Григорьевна, но очень печалилась и ждала теперь всякихъ ужасовъ. Наконецъ она рѣшилась поговорить обо всемъ съ Мариной и утромъ высказала ей всѣ свои сомнѣнія, всѣ свои печали и тревоги.

— Себя-то ты, голубушка, не спасешь—все равно найдутъ тебя рано или поздно, а Сеню погубишь,—сказала она.—Вѣдь,

начальство пріѣзжало искать тебя, а съ начальствомъ шутить нельзя, особливо намъ, маленькимъ людямъ. Загубить Сеню, гнѣздо наше разорять. Покорись своему мужу, возьми на себя долю свою! Отъ доли не уйдешь. Вотъ Сеня-то какой сталъ—краше въ гробъ кладутъ! Видимое дѣло, полюбилъ онъ тебя, а развѣ можно чего либо, кромѣ горя, ждать отъ этого? Ты—чужая жена. Только будетъ онъ сохнуть и погибнетъ ни за что, а ты все равно къ мужу должна идти. Жаль мнѣ тебя, вотъ какъ жаль, да дѣлать-то нечего. Отъ станowego парень приходилъ, сказывалъ, что бумага такая пришла, по которой станowego-то за попустительство отъ должности отрѣшили. Куда онъ съ ребятами-то пойдетъ? Возьми ты, касатка, терпѣніе, помолись Владычицѣ, да и ступай къ мужу! Ой, отъ судьбы своей не уйдешь, а только другихъ погубишь!

— Да, это вѣрно. Я уйду! — рѣшительно сказала Марина Григорьевна и сейчасъ же объявила это Гуршину.

Онъ не пытался уговаривать ее, и самъ сознавая, что это неопредѣленное положеніе лишь убиваетъ и его, и Марину медленными муками, что лучше одинъ конецъ. И вотъ они рѣшили, что сегодня Марина поѣдетъ въ Москву и явится въ домъ мужа, просить развода или... или умереть...

Извѣстіе объ арестѣ Бусова осложнило дѣло, и Гуршинъ не зная, что дѣлать.

XVI.

Марина сама помогла Семену Максимовичу рѣшить его сомнѣнія. Вечеромъ того же дня, въ который онъ прочелъ извѣстіе объ арестѣ Бусова, она пришла къ нему и сообщила о своемъ рѣшеніи возвратиться въ домъ мужа.

— Это самое лучшее, что я могу сдѣлать,—сказала она.— Я слишкомъ эгонистично поступала до сихъ поръ, подвергая непріятностямъ и даже опасностямъ нисколько невиновныхъ въ моемъ несчастіи людей.

— Эти люди—ваши друзья, и имъ вовсе не тяжело было то, о чемъ вы говорили,—сумрачно проговорилъ Гуршинъ.

— Да, я вѣрю въ любовь моихъ дорогихъ друзей, но тѣмъ не менѣе я не должна навлекать горе. Да вѣдь изъ-за меня потерпѣли не одни друзья! Я узнала, что становому грозитъ бѣда за то, что онъ не донесъ до сихъ поръ о моемъ пребываніи у васъ. О, я буду очень-очень несчастна, если только онъ пострадаетъ изъ-за меня!—Марина взяла Гуршина за руку.—Благодарю, отъ души благодарю васъ, мой добрый, мой хорошій другъ, за все, что вы сдѣлали для меня! — сказала она. — Никогда не изгладятся у меня изъ памяти дни моего

пребыванія у васъ... Я видѣла тутъ горячее участіе, дружбу, узнала въ вашемъ домѣ, что есть хорошіе люди и что дружба—не вымыселъ, что ея существованіе возможно...

Гуршинъ наклонился и поцѣловалъ обѣ руки Марины.

— Не стоитъ благодарить меня,—печально сказалъ онъ,—я слишкомъ немного сдѣлалъ для васъ... Я жду сдѣлать для васъ что нибудь большее и сдѣлаю, быть можетъ. Все придетъ въ свое время, а теперь мы поговоримъ о настоящемъ. Отправляйтесь въ домъ своего мужа! Богъ благословитъ васъ, и пожалуй эта мѣра дѣйствительно лучшая для достиженія какого нибудь опредѣленнаго результата; дадутъ же они наконецъ вамъ свободу, отпустятъ!—Гуршинъ вздохнулъ, и его лицо приняло еще болѣе печальное выраженіе.—Вамъ придется потерпѣть, дорогая моя,—проговорилъ онъ.—Васъ будутъ оскорблять, мучить... Потерпите, вынесите все это и знайте, что вслѣдъ за страданіемъ придетъ радость... Всего болѣе я боюсь того, что...

Гуршинъ замялся.

— Что такое?.. Договаривайте, не бойтесь смутить меня...

— Я боюсь, что эти люди могутъ поднять на васъ руку, могутъ... бить васъ...

— Да, это ужасно!—содрогнулась Марина.—Но что же дѣлать!.. Придется перенести и это... Вы, дорогой мой другъ, своимъ примѣромъ научили меня переносить невзгоды жизни. Вамъ вѣдь тоже очень тяжело, я знаю это.

— Что говорить объ этомъ! — съ тоскою произнесъ Гуршинъ.—Каждому своя судьба... И знаете, что я скажу вамъ? Я въ своемъ положеніи нахожу много наслажденій: мнѣ хорошо, о, какъ хорошо думать, что я могу доказать вамъ свою любовь, и не пользуюсь взаимностью... Этимъ-то я и докажу всю силу любви.

Поздно простилась Марина съ Гуршинымъ, чтобы на слѣдующій день утромъ ѣхать въ Москву.

Въ такое же свѣжее, раннее утро, какъ недавно ѣхалъ Бусовъ отъ Гуршина, собралась и Марина Григорьевна. Гуршинъ вызвался сперва проводить ее, но потомъ отдумалъ и послалъ съ нею тетку.

Марина Григорьевна рѣшила сдѣлать такъ: онѣ пріѣдутъ въ Москву, остановятся на постояломъ дворѣ, и оттуда она одна уже отправится къ Лоскутниковымъ на извозчикѣ.

Предъ отъѣздомъ Марина Григорьевна обошла весь домъ, простилась съ каждымъ уголкомъ и подошла къ Гуршину, который, блѣдный, какъ полотно, съ потухшими, ввалившимися глазами, стоялъ около окна и безцѣльно глядѣлъ въ него.

— Прощайте!—сказала ему Марина, подавая руку.—Мнѣ тяжело, страшно тяжело, что я не могу сказать вамъ ни слова утѣшенія... Я вижу, что вы глубоко любите меня, сильно, много любите!..

Гуршинъ оглянулся на нее.

— Я еще ничѣмъ не доказалъ этого, Марина Григорьевна,—сказалъ онъ,—и самъ еще не знаю, насколько люблю васъ... Я не знаю, хватитъ ли у меня силъ на то, чтобы сдѣлать для васъ все, чтобы устроить ваше счастье, пожертвовавъ собою.

— О, этого не надо!.. Мы постараемся жить такъ, чтобы хоть маленькая доля счастья выпала на нашу долю безъ жертвъ. Прощайте, дорогой другъ! Постарайтесь забыть меня!

Марина крѣпко пожала руку Гуршину, задумалась на одну секунду и потомъ обняла его и поцѣловала, какъ брата. Гуршинъ весь затрепеталъ отъ этого поцѣлуя.

— Зачѣмъ... зачѣмъ дали вы мнѣ этотъ поцѣлуй?—воскликнулъ онъ.—Это—милостыня? Это—подачка нищему?

— Это—знакъ моей дружбы!..

Марина быстро вышла на дворъ, гдѣ уже давно дожидался тарантасикъ, запряженный парюю добрыхъ лошадей. Гуршинъ вышелъ слѣдомъ за нею, дождался, пока она и его тетка усѣлись, пока работникъ подобралъ вожжи и лошади крупной рысью съѣхали со двора.

— Прощайте!—сказалъ Гуршинъ вслѣдъ уѣзжающимъ и опустился на ступеньки крыльца.

Долго сидѣлъ онъ тутъ, и утренній вѣтерокъ трепалъ его непокрытые, выющіеся волосы...

Совсѣмъ вечерѣло, когда на парадномъ крыльцѣ дома Локутниковыхъ раздался звонокъ.

— Никого не принимать, я занятъ!—приказалъ Иванъ Борисовичъ отворившему дверь его кабинета слугѣ. Однако минутой черезъ двѣ тотъ же слуга осторожно отворилъ дверь и остановился у порога.—Что ты?—спросилъ его Иванъ Борисовичъ, не отрываясь отъ работы.

— Гостья пожаловала, Иванъ Борисовичъ!—отвѣтилъ лакей.

— Какая гостья?.. Вѣдь я же сказалъ тебѣ, чтобы никого не принимать!

— Очень ужъ гостья-то невозможная-съ... неожиданная-съ...

— Кто такая?

— Да вѣдь Марина Григорьевна пріѣхали-съ, супруга Акима Осиповича.

— Какъ!.. Что ты говоришь такое?.. Какъ Марина Григорьевна?—воскликнулъ Иванъ Борисовичъ, такъ и вскочивъ.

— Вѣрно-съ, онѣ... Изволили спрашивать, дома ли Акимъ

Осиповичъ, а когда я доложилъ, что ихъ нѣтъ, вамъ доложить приказали. Въ залѣ онѣ-съ.

— Фу ты, чудеса какія! Часъ отъ часа не легче!—Иванъ Борисовичъ пошелъ было въ залъ, но потомъ вернулся, переѣнилъ халатъ на визитку, поправилъ предъ зеркаломъ прическу, опрокинулъ на себя чуть не половину склянки духовъ, опять пошелъ и опять вернулся.—А ну, какъ она тоже съ револьверомъ? — нерѣшительно обратился онъ къ человѣку. — Ты вотъ что, Петръ! Ты войди со мною и наблюдай; ежели что нибудь такое—ты пресѣки. Пойдемъ!

Марина Григорьевна, не снявъ съ себя верхняго платья, стояла въ залѣ около окна и тревожно глядѣла на дверь, когда вошелъ Иванъ Борисовичъ. Она была прекрасна съ выраженіемъ тревоги и муки на своемъ блѣдномъ лицѣ; она походила на мученицу, ожидавшую казни, ожидавшую послѣднихъ минутъ своихъ.

— Марина Григорьевна!—проговорилъ Лоскутниковъ, входя въ залъ.—Это—вы? Что это значитъ?.. Чѣмъ объяснить ваше появленіе въ нашемъ домѣ?

— Вѣдь въ этомъ домѣ мой мужъ; я пришла къ нему. Я узнала, что меня хотѣли привести сюда силой, съ помощью полиціи, и предпочла явиться сама. Моего мужа нѣтъ?

— Да, онъ уѣхалъ... Онъ бѣжалъ отъ того позора, которымъ вы покрыли его голову.

— О, я много пострадала за это!

— Пострадали?—спросилъ Иванъ Борисовичъ усмѣхнувшись.—А я полагалъ, что вы напротивъ очень весело и пріятно провели время.

Къ Лоскутникову моментально явились его развязность и присущая ему игривая манера обращенія съ женщинами. Онъ уже глядѣлъ на Марину Григорьевну, какъ на шаловливую барыньку, которая наконецъ струсилла и пришла въ домъ мужа съ повинной или съ просьбою дать ей право на свободное прожизваніе, гдѣ она захочетъ и какъ захочетъ. Скорбную муку на ея лицѣ онъ приписалъ страху предъ грядущими объясненіями.

— Да-съ, я полагалъ, что вы весело и очень пріятно проводили время, — повторилъ онъ, приближаясь къ Маринѣ Григорьевнѣ. — Помилуйте, все способствовало этому. Васъ окружали такіе рыцари!.. Этотъ господинъ Гуришинъ напимѣръ; онъ—совсѣмъ рыцарь!.. Положимъ, онъ не въ шлемѣ и латахъ, а въ поддевкѣ, но онъ—все же рыцарь и притомъ недурень собою. А господинъ Бусовъ?.. О, это—герой! И вдругъ съ такими поклонниками на лонѣ природы вы скучали, или страдали, какъ

вы говорите?.. Не вѣрю-сь, смѣю не вѣрить! Но что же вы не снимаете пальто? Петръ, помоги раздѣться!

Марина послушно дозволила слугѣ снять съ нея пальто и платокъ и осталась въ своемъ живописномъ нарядѣ, который носила всегда у Гуршина.

— Ба, какъ вы мило одѣты!—пришелъ въ восторгъ Иванъ Борисовичъ.—Совсѣмъ пейзажъ, совсѣмъ!—Онъ совсѣмъ близко подошелъ къ Маринѣ и, взявъ ее за руку, тихо спросилъ:—не хотѣлось ѣхать къ муженьку-то? Ну, что дѣлать, что дѣлать!.. Авось не надолго... А? Хе-хе-хе! Вамъ придется потерпѣть немного, но во мнѣ вы найдете защитника и друга. О, я всегда за женщинъ... Я всегда былъ, есть и буду сторонникомъ этой... какъ ее?.. эмансипаціи женщинъ. Да-съ!.. Я понимаю, что условія жизни нашихъ женщинъ тяжелы, и сочувствую имъ. Вы позволите быть вашимъ другомъ?

Марина Григорьевна думала, что этотъ дядя ея мужа встрѣтитъ ее оскорбленіями, упреками, угрозами, и была поражена его галантнымъ обращеніемъ. Гаденькаго заигрыванія съ подкладкой ухаживанія и ловеласничества она въ своемъ волненіи не замѣтила. Еще будучи невѣстой, она слыхала, что Иванъ Борисовичъ — образованный, просвѣщенный купецъ, и теперь, вспомнивъ это, повѣрила ему.

— О, не только дружба, а даже и простое участіе дорого для меня въ моемъ положеніи!—сказала она, протягивая руку новому „другу“.

— Я понимаю это, вполне понимаю! — воскликнулъ Иванъ Борисовичъ, пожимая маленькую бѣлую ручку.—И я—вашъ защитникъ.—Онъ понизилъ голосъ.—Вамъ вѣроятно непріятно будетъ совмѣстное сожителство съ мужемъ,—сказалъ онъ,—и я даю вамъ слово, что возьму на себя хлопоты о выдачѣ вамъ отдѣльнаго бѣда на жительство, а тамъ даже и о разводѣ подумаемъ. Я говорю, что вполне понимаю васъ. Теперь вы пожалуйста въ ваши комнаты, а я доложу о вашемъ приѣздѣ нашей почтенной матронѣ, свекрови вашей. Петръ, позови сюда Аннушку, пусть она проводитъ Марину Григорьевну на половину Акіма Осиповича и будетъ при ней! Вы, Марина Григорьевна, располагайтесь, какъ вамъ удобнѣе и лучше, а я... я сію минуту буду у васъ. До свиданья пока!

Лоскутниковъ сдѣлалъ граціозный жестъ и отправился къ Лукерѣ Федоровнѣ. Ему было очень весело и пріятно. Дѣла шли очень успѣшно и скоро можно было сдѣлаться если не полнымъ хозяиномъ всего дѣла, то во всякомъ случаѣ главнымъ его членомъ. Отсутствіе племянника и болѣзнь свояченицы, которая въ послѣднее время совершенно не входила въ дѣло,

способствовали тому, что Иванъ Борисовичъ основательно „нагрѣлъ руки“; оставалось только сдѣлать Гусарчикова бухгалтеромъ и съ его помощью совсѣмъ войти въ обладаніе капиталами племянника, къ чему Иванъ Борисовичъ и стремился. Теперь къ шедшему въ его руки благополучію присоединилось новое. Красавица Марина Григорьевна тутъ, онъ будетъ играть пріятную роль ея покровителя, защитника и друга. Племяннику достаточно будетъ и того, что останется на его долю отъ умѣлой опеки Ивана Борисовича, да отъ матери, а остальное будетъ принадлежать ему, Ивану Борисовичу. Недаромъ онъ—такой умница и дѣлецъ, недаромъ его судьба привела къ этому дѣлу.

Думая такъ и приходя заранѣе въ блаженное состояніе отъ близкаго благополучія, Иванъ Борисовичъ пошелъ съ докладомъ къ свояченицѣ, которая все болѣе и болѣе благоволила къ нему, все болѣе и болѣе вѣрила ему.

Вѣсть о приходѣ Марины Григорьевны разлетѣлась по дому съ быстротой молніи, и старуха уже знала о немъ черезъ своихъ приживалокъ.

— Пожаловала гулена-то наша?—встрѣтила она деверя.

— Да, да, вообразите себѣ! Она струсила моего натиска, моихъ репрессивныхъ мѣръ и сдалась. Что теперь дѣлать съ нею, сестрица? Позвать ее къ вамъ?

— Ну ее! Я и такъ больна. Не желаю, не могу я видѣть ее, эту гадкую бабенку!.. Помѣстите ее въ комнатахъ Кимы, да надо слѣдить за нею, а то опять убѣжить, да еще вещи свои унести. Я къ ней надежную женщину приставлю. Кимѣ сегодня же телеграмму пошлите.

Это не входило въ планы Ивана Борисовича.

— Не подождать ли, сестрица?—замѣтилъ онъ.—Ему теперь рано еще пріѣзжать, надо сперва все уладить.

— Можетъ и не пріѣзжать, а извѣстить надо; пошлите непременно. И сейчасъ же за отцомъ маришкинымъ пошлите, пусть придетъ.

— Надо ли это, сестрица? Выйдетъ скандалъ... Вѣдь онъ бить бросится дочку.

— Пусть его!.. Не мы бьемъ, не наше и дѣло... Сейчасъ же пошлите! Пусть онъ повидаетъ доченьку, полюбуется на нее. Что же она? Кается? смиренность на себя напустила?

— Тиха и грустна! Видимо мучается угрызениями совѣсти.

— Совѣсть! Развѣ можетъ быть у нея совѣсть? Ахъ, негодная, негодная. Что бы съ нею встарину сдѣлали, въ наше время? А теперь нельзя, теперь имъ воля дана. Ее бы по кусочкамъ разнять надо, жилы бы изъ нея, негодной, вытянуть

надо! Пошлите за отцомъ, непременно пошлите, пусть хоть онъ ее поучить, а то неужели ей такъ безъ наказанія и быть? Гляди, Акимъ-то еще простить, красотой ея прельстится; это все бываетъ въ жизни, околдовываютъ и не такихъ, какъ Кима нашъ. Охъ, грѣхи, грѣхи! Спаси, Господи, и помилуй, не введи во искушеніе! Вы, братецъ, закройте ео, да чтобы разносоловъ ей разныхъ не давали, а щей да каши разъ въ день, а одѣть ее въ затрапезное платишко. Вотъ, можетъ, завтра мнѣ полегче будетъ, такъ сама я приляжу за всѣмъ. Охъ, грѣхи, грѣхи!.. Ступайте, братецъ, оставьте меня, я прилягу да усну, можетъ быть.

Иванъ Борисовичъ вышелъ.

Распоряженіе о посылкѣ телеграммы и объ извѣщеніи Ладыжникова надо было исполнить, потому что Лукерья Федоровна могла потомъ узнать, что ея приказанія не исполнены, и это подорвало бы ея довѣріе къ деверю, а оно еще очень нужно было Ивану Борисовичу. Онъ подумалъ немного и сдѣлалъ такъ, какъ ему было сказано. Къ Акимѣ Осиповичу была отправлена телеграмма съ извѣщеніемъ о приходѣ Марины Григорьевны, а мальчикъ побѣжалъ къ Ладыжникову.

Старикъ не замедлилъ пріѣхать.

— Гдѣ она? — сурово спросилъ онъ Ивана Борисовича, не здороваясь съ нимъ и входя въ залъ въ своемъ длинномъ пальто на барашковомъ мѣху и съ палкой.

— Тамъ, у себя. Пойдемте, я васъ провожу.

Марина Григорьевна встала, вся дрогнувъ, навстрѣчу отцу, шагнула къ нему и опустилась на колѣна.

— Батюшка, простите, простите меня! — со слезами проговорила она, ловя руки старика.

— Что задумала? — глухо проговорилъ тотъ, оттолкнувъ ее. — Гдѣ отъ законнаго мужа бѣгала? На то я тебя растилъ, чтобы ты срамомъ меня покрыла? — Старикъ оглянулся на стоявшаго въ дверяхъ Ивана Борисовича. — Уйди, свать, — сказалъ онъ. — При такомъ разѣ надо отца съ дочерью съ глаза на глаза оставить. Ступай!

— Достопочтеннѣйшій Григорій Петровичъ, я состою здѣсь представителемъ этого дома, интересовъ мужа вашей дочери, а моего племянника, и потому долженъ сказать вамъ, что не потерплю никакого насилія. Въ нашъ вѣкъ...

— Въ нашъ вѣкъ глупыхъ людей больно много расплодилось, вотъ что! — перебилъ его старикъ. — Ты тамъ — представитель какой-то, а я — отецъ и лучше тебя знаю, что дѣлать долженъ и какъ поступать. Вотъ еще мужа я, быть можетъ, сталъ бы слушать, а твое дѣло тутъ — сторона. Ступай съ Богомъ! —

Старикъ отстранилъ Ивана Борисовича и заперъ за нимъ дверь.— Встань!—обратился онъ къ Маринѣ, которая все еще стояла на колѣнахъ.—Кайся во всемъ, а потомъ мѣду приемишь. Гдѣ была?

— Батюшка, я ушла отъ мужа, я виновата въ этомъ, но только въ этомъ. Я осталась вѣрна ему, ничѣмъ не опозорила ни его, ни васъ, ни себя.

— А побѣгомъ?

— Да, этимъ я принесла горе. Но что же мнѣ дѣлать, батюшка? Я сознала, что не могу быть его женой, почти невольно ушла и уже на улицѣ, далеко отъ этого дома, ономнилась. Возвращаться было поздно, и я ушла. Я жила скромно и лишь страдала. Я виновата, батюшка, но что же мнѣ дѣлать? О, я могла хуже кончить: я могла бы наложить на себя руки, лишитъ себя жизни. И какъ бы тогда горько вамъ было, какъ бы тяжело было знать, что ваша дочь изъ дома, въ который вы отдали ее, бросилась въ омутъ.

— Зачѣмъ же ты шла за Акимомъ, если онъ уже такъ противенъ былъ? — угрюмо, глядя куда-то въ уголъ, спросилъ старикъ.

— О, батюшка! Я вотъ въ эти горькіе дни окрѣпла, а тогда я была ребенкомъ. Мнѣ страшно было послушаться вашей воли. Вспомните, батюшка, какъ вы мнѣ грозили!—и Марина, закрывъ лицо руками, заплакала.

XVII.

— Гм!.. Боялась угрозы, послушаться моей воли! А... а почему же ты не побоялась такой срамъ затѣвать? Ослушалась—побилъ бы тебя и тѣмъ дѣлу конецъ, а теперь? Теперь вдвойнѣ бита будешь: отецъ—отцомъ, а мужъ само собой, а тамъ еще свекровь. Почему этого не побоялась?—укорялъ отецъ Марину.

— Говорю вамъ, что не помнила, что и какъ дѣлала!.. Шла, словно меня кто силой велъ.

Старикъ покачалъ головой.

— Пришла къ гибели своей!—сказалъ онъ.—Кто ты теперь? Куда приготовила себя?

— Въ монастырь я уйду,—тихо сказала Марина.

— Въ монастырь?—спросилъ отецъ, глянувъ на нее.—А-а! Ну, что же, иди!.. Можетъ, къ тому тебя судьба ведетъ. Можетъ, ты и родилась на то, чтобы наши грѣхи замаливать. Ступай, твое дѣло. Да впрочемъ нѣтъ: ты не своя, а мужняя!.. Мужъ тиранить будетъ, не пуститъ.—Голосъ у старика дрогнулъ.—Ну, да ты все на своемъ стой!—крикнулъ онъ.—Иди, иди въ монастырь, молись за насъ... за меня молись!—Ладых-

никовъ приблизился къ дочери, поднялъ ея опущенную голову за подбородокъ и впился своими потухшими, безцвѣтными глазами въ ея глаза.—Богъ тебя спаси и настави! Иди, иди, это—твой путь, — проговорилъ онъ и, привлеки заплаканную Марину, поцѣловалъ ее въ лобъ.—А если придется потерпѣть, потерпи,—добавилъ онъ и нетвердой походкой вышелъ изъ комнаты, прошелъ мимо Ивана Борисовича и черезъ минуту уѣхалъ.

Лоскутниковъ пошелъ было къ Маринѣ узнать о подробностяхъ ея объясненія съ отцомъ, но не былъ принятъ; однако, не смущаясь этимъ, онъ, очень довольный и веселый, отправился въ кабинетъ кончать работу, чтобы потомъ по возможности весело и пріятно провести вечеръ. Чувствовалъ онъ себя прекрасно.

На другой день, часовъ въ двѣнадцать утра, къ Маринѣ Григорьевнѣ кто-то постучался. Она пила утренній чай у себя въ комнатѣ одна и теперь писала письмо къ Гуршину, окончательно рѣшившись идти въ монастырь и желая извѣстить его объ этомъ своемъ рѣшеніи.

Убравъ письмо, она подошла къ двери и отперла ее. Въ комнату вошелъ Иванъ Борисовичъ. Видно было, что онъ особенно тщательно занялся сегодня туалетомъ и даже немного завился, а платье одѣлъ новое, только что принесенное отъ портного и не совсѣмъ-таки къ нему идущее, ибо визиточка была черезчуръ узка и коротка, что не особенно гармонировало съ его плотной, круглой фигурой. Элегантно шаркнувъ ножкой и сдѣлавъ привѣтственный жестъ какъ-то особенно пластично согнутой и вновь разогнутой рукой, онъ пріятно улыбнулся и сдѣлалъ поклонъ по всѣмъ правиламъ благовоспитаннаго молодого человѣка, получившаго воспитаніе у порядочнаго танцмейстера.

— Съ добрымъ утромъ, Марина Григорьевна!—проговорилъ онъ.—Какъ почивали? Здоровы ли?

— Благодарю васъ,—поблагодарила Марина,—я здорова.

— Весьма радъ!.. Вы позволите мнѣ провести у васъ нѣсколько минутъ?

— Ахъ, пожалуйста!.. Меня даже удивляетъ эта особенная деликатность: вѣдь я ональная, виновная, а вы—дядя оскорбленнаго мною мужа. По правдѣ сказать, я ожидала встрѣтить васъ другимъ.

— И ошиблись? Нѣтъ-съ, Марина Григорьевна, я—не то, за что вы меня принимаете!.. Я принадлежу къ купеческой семьѣ, обладающей всѣми недостатками некультурныхъ людей, но самъ я высоко стою надъ косностью и дикостью этого темнаго народа и являю собою протестанта устарѣлымъ традиціямъ.

Я — человекъ прогресса и свободы!.. Я, Марина Григорьевна, вполнѣ на вашей сторонѣ!

— Да?—удивилась Марина.

Она никакъ не ожидала всего этого; она думала, что дядя ея мужа, еще такъ недавно разыскивавшій ее съ полиціей, встрѣтитъ ее укорами, упреками, оскорбленіями, и вдругъ онъ не только вѣжливъ съ нею, а даже любезенъ и еще высказываетъ свое сочувствіе.

— Да-съ, да,—отвѣтилъ Иванъ Борисовичъ, ударяя себя въ грудь.—Я не могу не быть на вашей сторонѣ, такъ какъ вижу, что вы—жертва деспотизма, жертва невѣжества.—Иванъ Борисовичъ оглянулся на дверь, всталъ, заглянулъ въ корридоръ и заперъ дверь на крючекъ.—Мой племянникъ Акимъ,—продолжалъ онъ,—продуктъ дикой среды, воспитавшей его, и вамъ онъ—не пара. Вы сдѣлали именно то, что должны были сдѣлать.

— Да?—опять удивилась Марина.—Но вѣдь вы же, Иванъ Борисовичъ, ѣздили искать меня съ полицейскимъ офицеромъ.

Лоскутниковъ вскинулъ обѣ руки и ударилъ ими себя въ грудь.

— Да, я, я, я,—трижды сказалъ онъ.—Но я долженъ былъ это сдѣлать ради васъ же! Ваше положеніе было фальшиво, вы рисковали своимъ собственнымъ спокойствіемъ, и я долженъ былъ взять на себя трудъ вывести васъ изъ этого невыгоднаго для васъ положенія. Вы здѣсь, въ домѣ своего мужа, мужа нелюбимаго вами, брошеннаго, но вы на легальной почвѣ-съ!.. Вы—супруга купца Лоскутникова, и ничья рука не смѣетъ коснуться васъ, ничьи уста не смѣютъ сказать про васъ хулу. А тамъ... гм... тамъ вы во всякое время могли подвергнуться оскорбленіямъ и роковымъ случайностямъ, такъ какъ вы, простите меня, были бѣглая-съ!.. Страшное слово: „бѣглая“!

Иванъ Борисовичъ даже руку воздѣлъ къ небесамъ для особеннаго драматизма.

— Положимъ такъ, но зато тамъ я была гарантирована отъ проявленія тѣхъ правъ, которыя имѣютъ надо мною и мужъ, и его мать, и вся родня. Кто знаетъ, какъ воспользуется мой мужъ своимъ правомъ надо мною? А его мать?.. О, я не даромъ бѣжала, Иванъ Борисовичъ, я боялась именно этихъ правъ... боялась и боюсь...

— А я?—торжественно спросилъ Иванъ Борисовичъ.

— Что вы?

— Я!.. Я въ данномъ случаѣ все! Я сумѣю оградить вашу свободу отъ всякихъ проявленій деспотизма моего племянника

и его матери. Къ счастью я имѣю кое какое вліяніе на нихъ... Хе-хе... Кое какое?.. Не кое какое собственно, а громадное вліяніе, и, повѣрьте мнѣ, могу сдѣлать для васъ многое.

Марина Григорьевна пожала руку благороднаго заступника.

— Я очень благодарна вамъ, Иванъ Борисовичъ, за ваше участіе,—сказала она,—и, по правдѣ сказать, удивлена этимъ вашимъ участіемъ. Вѣдь вашъ племянникъ и его мать ближе вамъ, нежели я.

Сегодня Марина Григорьевна могла спокойнѣе наблюдать за своимъ неожиданнымъ покровителемъ и видѣла, что тутъ что-то неспроста, что это рыцарское заступничество дядюшки, еще такъ недавно разыскивавшаго ее съ полиціей, имѣетъ въ корнѣ не простое сочувствіе къ несчастію неудачно вышедшей замужъ дѣвушкѣ, а нѣчто иное.

Иванъ Борисовичъ немного смѣшался отъ замѣчанія Марины.

— Да, конечно племянникъ и его мать мнѣ ближе по родству, но для меня выше всего принципъ! Попранная, такъ сказать, свобода женщины глубоко возмущаетъ меня, и я всегда встаю на ея утѣшителей!—Послѣ этого Иванъ Борисовичъ наговорилъ очень много красивыхъ вещей о свободѣ вообще и свободѣ женщины въ частности и заключилъ свои словоизліянія предложеніемъ Маринѣ перейти на отдѣльную квартиру.— Васъ непремѣнно должно тяготить это пребываніе въ чуждомъ домѣ,—заявилъ онъ,—мало того, васъ должно это оскорблять.

— Положимъ. Но вѣдь моя свекровь врядъ ли рѣшится отпустить меня,—возразила Марина.

— А я... опять-таки я!.. О, я говорю вамъ, что мое вліяніе тутъ кое что значить, и мы все устроимъ. Вы, безъ сомнѣнія, пожелаете получить разводъ, а такъ какъ это не легко и не скоро дѣлается, то я и устрою васъ на квартирѣ, гдѣ вы будете совершенно спокойны.

— Да, но гдѣ же мнѣ взять средствъ для такой жизни? Я готова трудиться, но вѣдь что же я умѣю дѣлать? Ужъ если вы такъ добры, что хотите такъ многое сдѣлать для меня, то прежде всего надо будетъ придумать какое нибудь дѣло мнѣ. Я могу давать первоначальные уроки, обучать музыкѣ, шить...

— Марина Григорьевна,—перебилъ ее Иванъ Борисовичъ,—мой бумажникъ во всякое время къ вашимъ услугамъ!

— Благодарю васъ, но я не могу воспользоваться вашимъ предложеніемъ,—покраснѣла Марина.—Жить на чужой счетъ и тяжело, и стыдно, а особенно въ моемъ положеніи.

Лоскутниковъ смекнулъ, что шагнулъ немного далеко и ужъ очень поспѣшно пошелъ къ цѣли, а потому живо сыгралъ назадъ.

— Да, но вѣдь я предлагаю вамъ денегъ на время, то есть, пока вы найдете дѣло,—сказалъ онъ.

— А до того времени я могу ограничиться очень малымъ. Но знаете что? Мнѣ не вѣрится въ возможность такой жизни, меня не отпустить отсюда.

— Порукой вамъ въ томъ, что васъ отпустить-ся! Все сдѣлаю, все устрою, а пока до свиданья, поѣду по дѣламъ! — и Лоскутниковъ опять элегантно раскланялся и вышелъ.

Въ залѣ онъ встрѣтилъ Лукерью Федоровну.

— У негодницы у этой, что ли, былъ?—спросила она его.

— У нея, сестрица, у нея.

— Зачѣмъ ходилъ?

— Увѣщевалъ, сестрица. Читалъ ей мораль и выставялъ всю гнусность ея поступка.

— Пеняй ее, пеняй почаще, пусть она почувствуетъ, негодница!

— Ужъ я дойму ее, не беспокойтесь! Вы бы тоже сходили къ ней да позвили бы ее.

— Нездоровится мнѣ, боюсь, что разстроюсь, совсѣмъ больна буду. Вотъ хочу прокатиться немного, авось воздухъ-то освѣжить, а какъ поправлюсь, такъ и примусь за нее.

— Примитесь, сестрица, примитесь, ее надо до костей допять!

„Я сперва ей адъ тутъ домашній устрою, пусть она увидитъ, какая ее жизнь ожидаетъ безъ моего заступничества,—думалъ Иванъ Борисовичъ, катя на своемъ рысакѣ на биржу.—Устрою адъ, заставлю познакомиться съ характеромъ моей сестрицы, а потомъ и извлеку... извлеку и приобрету!.. А что за хорошенькая, что за роскошная бабеночка!.. Чудо!.. Скушалъ ее, пальчики оближешь!“.

Мариша Григорьевна долго думала по уходѣ Лоскуникова. Его совершенно неожиданное заступничество сперва смутило ее—она видѣла въ этомъ заступничествѣ желаніе вызвать сперва благодарность, признательность, а потомъ и любовь, и испугалась этого; но, всегда и во всемъ видя лишь хорошія стороны, она сейчасъ же отогнала отъ себя эти сомнѣнія и даже упрекнула себя за такой скептицизмъ.

„Человѣкъ просто видитъ горе одинокой женщины и спѣшитъ подать ей руку помощи,—думала она.—Зачѣмъ видѣть во всемъ одно дурное? Это нехорошо! Онъ все же стоитъ гораздо выше своей среды; видно, что онъ много читалъ, наблюдалъ, развилъ себя, и очень естественно, что желаетъ помочь мнѣ, не сочувствуя тѣмъ правиламъ, по которымъ женщины должны сдѣлаться вещью по выходѣ замужъ. Почему же я не буду вѣрить

ему и буду видѣть въ его желаніи помочь мнѣ дурныя побужденія? Не надо такъ, нехорошо это!“.

Потомъ Марина задумалась о своемъ будущемъ. Послѣ свиданія съ отцомъ мысль идти въ монастырь укрѣпилась въ ней. Она думала, что не имѣетъ права поступить иначе, послѣ того какъ разбила жизнь мужа и нарушила священный обѣтъ брака.

„Во всякомъ случаѣ,—думала она,—я сдѣлала своего мужа несчастнымъ и не имѣю права искать счастья, мірскаго счастья, житейскаго... Такой эгоизмъ былъ бы грѣховенъ, преступенъ“.

Но она рѣшила идти въ монастырь лишь послѣ того, какъ строго, всесторонне обдумаетъ планъ дальнѣйшей жизни, а для этого надо было все обдумать и взвѣсить. Она боялась скорымъ рѣшеніемъ поставить себя въ необходимость сдѣлать шагъ назадъ, чего ей страшно не хотѣлось. Она уже по опыту знала, что значить непослѣдственное рѣшеніе, очертя голову бросившись замужъ, ради избѣжанія отцовскаго гнѣва. Вотъ для составленія лучшаго мысленнаго плана будущей жизни ей и хотѣлось пожить на свободѣ, видѣться съ Гуршинымъ, съ Бусовымъ.

Любовь къ послѣднему все болѣе и болѣе росла въ сердцѣ молодой женщины, и она начинала бояться развитія этого чувства, хотя и находила въ немъ большую долю наслажденія. Что могла дать ей эта любовь? Этотъ роковой вопросъ неотступно преслѣдовалъ Марину, и у нея не было утѣшительнаго отвѣта на него. Горе, одно горе судила ей эта любовь, впервые закравшаяся въ ея сердце. И вотъ ей страшно захотѣлось побесѣдовать съ Гуршинымъ, который умѣлъ такъ хорошо дать отвѣтъ на всѣ мучившіе ее вопросы.

Предложеніе Ивана Борисовича устроить отдѣльное отъ мужа житіе позволяло ей имѣть надежду на свиданіе и съ Гуршинымъ, и съ Бусовымъ, и со старухой-кормилицей, которая теперь не могла навѣстить свою питомицу и свиданія съ которой Марина очень желала, питая къ старухѣ любовь чисто-дѣтскую. Хотѣлось помечтать о такой жизни: маленькая, уютная квартирка, ничего въ ней лишняго, все на своемъ мѣстѣ, все свое, все пужное, все пріобрѣтенное съ любовью. Кончился трудовой день; она, владѣлица этой квартирки, возвратилась домой съ уроковъ, зажигаетъ лампу въ маленькой гостиной, затопляетъ печку, подаетъ на столъ кипящій самоваръ и къ чаю собираются милые, дорогіе гости. Гуршинъ пріѣхалъ, Бусовъ. Молодые люди говорятъ о текущихъ новостяхъ, дѣлятся впечатлѣніями прочитаннаго въ новой книгѣ, въ газетѣ. Марина слушаетъ ихъ, многому учится изъ ихъ разговоровъ. А тутъ ста-

рая кормилица сидитъ и любовно, нѣжно смотритъ на свою Маринушку, взглядомъ матери смотреть... Хорошо, уютно!

Мечтая такъ, Марина вдругъ вспомнила данное отцу обѣщаніе идти въ монастырь и вздрогнула. Нарисованная въ воображеніи картина точно туманомъ застлалась и выступила другая. Отдаленный монастырь, убогая келья; тихо кругомъ. Въ кельѣ на молитвѣ стоитъ молодая послушница. Она одна, совсѣмъ одна. Даже въ мысляхъ у нея никого нѣтъ, никого и ничего посторонняго, только вѣчность обѣта и больше ничего. Истомленное постомъ и молитвой лицо блѣдно, станъ худощавъ и облеченъ въ суровую одежду. Послушница молится о грѣхахъ міра, и вся жизнь отдана этой молитвѣ; кромѣ молитвы — ничего. Темно и мрачно кругомъ. Вотъ раздался звукъ колокола, призывающій къ общей молитвѣ. Полутемный храмъ и въ немъ такія же, какъ она, монахини. Черныя одежды, мерцающій свѣтъ восковыхъ свѣчей и лампадъ. И всю жизнь такъ. Тамъ и конецъ, тамъ и вѣчная постель въ оградѣ монастыря, подъ простымъ деревяннымъ крестомъ. Хватитъ ли силъ на это? Хватитъ ли силъ сбросить съ себя все земное и уйти отъ міра, который даетъ много горя, но въ которомъ есть и свѣтлыя радости? А вѣдь идти въ монастырь обѣщано, и суровый отецъ благословилъ на это. Неужели опять идти противъ его воли? Да и имѣетъ ли еще она право мечтать объ иной жизни? За что же мужъ такъ оскорбленъ и опозоренъ ею? Развѣ онъ виноватъ, что она, какъ ребенокъ показанной розги, испугалась отца и связала съ нимъ, этимъ ни въ чемъ невиннымъ мужемъ, свою жизнь?

Сотни такихъ вопросовъ вставали въ головѣ Марины, и не находила она отвѣта на нихъ.

Послѣ долгаго раздумья, послѣ бессонной ночи она рѣшила воспользоваться предложеніемъ услугъ Ивана Борисовича и попросить его устроить ея жизнь отдѣльно отъ мужа до того или иного рѣшенія. Рѣшила она также объявить свекрови, что жить съ мужемъ во всякомъ случаѣ не желаетъ и не будетъ и что, если ее будутъ принуждать къ этому силою, она за послѣдствія не отвѣчаетъ. Съ этими мыслями она уснула.

Утромъ Марина подумала было написать Гуршину письмо и затруднялась только въ выборѣ человѣка, которому можно было бы поручить отнести письмо на почту. Но это затрудненіе сейчасъ же и устранилось. Къ ней съ самоваромъ и для уборки комнаты явилась замѣнъ вчерашней франтоватой и вертлявой горничной простая деревенская дѣвушка очень добродушнаго вида, одѣтая въ довольно потрепанный ситцевый сарафанъ и босая. Этой замѣной щеголеватой горничной простою деревен-

скою работницей Лукерья Федоровна хотѣла уязвить невестку, еще ранѣе поручивъ Ивану Борисовичу обставить жизнь бѣг-лянки наивозможно проще и неудобнѣе.

Простое, доброе лицо служанки поправилось Маринѣ.

— Какъ тебя зовутъ, милая?—спросила она.

— Меня-то? Маланьей зовутъ.

— Ты ко мнѣ приставлена?

— Ты, вишь, провинилась предъ „самой“-то, такъ вотъ она и не велѣла Аннушкѣ служить тебѣ; пусть, говоритъ, ей Малашка служить.

— Я этому очень рада, Малаша, ты нравишься мнѣ гораздо больше Аннушки.

— Гдѣ, чай, больше! Она городская, форсистая, а я, вишь, какая—босикомъ, да и дура, по-вашему, по господскому-то. А служить я тебѣ буду, только ты научи меня. Я тебя жалѣю больно.

— Жалѣешь!.. Почему?

— Безталанная ты. Отъ хорошей жизни не убѣжишь небось, особливо изъ такихъ-то хоромъ; стало быть, тебѣ тяжко пришлось. А теперь, поди, еще горше будетъ. Вотъ мужъ-то прѣдетъ, какъ, чай, лютовать будетъ!

— Ты, стало быть, знаешь мою исторію, Малаша?

— Это судьбу-то твою? Знаю. Я вѣдь тутъ около года живу, при мнѣ тебя привели за нашего хозяина-то.

— И жалѣешь меня? Спасибо тебѣ, милая! А если я тебя попрошу, Малаша, одну просьбу мою исполнить, сдѣлаешь ты это для меня?

— Отчего не сдѣлать? сдѣлаю, коли можно.

— Эту просьбу, видишь ты, надо вгайнѣ держать, чтобы никто не зналъ о ней. Ты никому не скажешь?

— Коли не велишь, не скажу.

— Я вѣрю тебѣ, Маланя. Дѣло вотъ въ чемъ: мнѣ надо послать одно письмо, такъ ты сперва купи мнѣ гдѣ нибудь марку. Знаешь почтовые марки? Ну, вотъ, такую! Купишь, а потомъ мое письмо и опустишь въ почтовый ящикъ. Сдѣлаешь это?

— Съ моимъ удовольствіемъ сдѣлаю!

— И никому не скажешь?

— Чудная ты какая! Зачѣмъ же я скажу, если ты не согласишься? Не велишь сказывать—стало быть не слѣдуетъ. Пиши, отнесу.

Марина свободно вздохнула и поблагодарила судьбу, пославшую ей такую простую, хорошую служанку.

XVIII.

„Дорогой мой Семень Максимовичъ!—написала Марина Гуршину.—Противъ всякаго ожиданія меня встрѣтили здѣсь вовсе не ужасами, и до сихъ поръ я ничего дурного не видала. Всего болѣе я боялась встрѣчи и объясненія съ отцомъ, но—вообразите себѣ—старикъ былъ лишь суровъ, и то лишь въ первыя минуты свиданія, а когда я сказала ему, что не могла не уйти, что это было выше моихъ силъ, онъ даже пересталъ быть суровымъ, и я объясняю это тѣмъ, что высказала ему свое желаніе идти въ монастырь. Онъ одобрилъ его и благословилъ меня. Такимъ образомъ моя житейская пѣсенка спѣта, и я—почти монахиня. Это пожалуй такъ и слѣдуетъ. Вы никогда не одобряли этого моего рѣшенія, но, подумайте хорошенько—и согласитесь, что больше мнѣ дѣлать нечего. Что я? Жена, бѣжавшая отъ мужа! Мужъ мой живъ, жить съ нимъ я не могу, что же мнѣ остается дѣлать въ міру? Мое мѣсто въ стѣнахъ тихой обители, и я буду тамъ. Я, знаете, не жалѣю о жизни, Богъ съ нею, и монастырь меня манитъ. Но, сознаюсь вамъ, бывають минуты, когда мнѣ страстно хочется жить. Увы, это невозможно, слѣдовательно надо сдѣлать то, что я общала отцу, то есть уйти въ монастырь. Такъ, стало быть, суждено!

„Буду продолжать о подробностяхъ моей жизни, я знаю, что онѣ интересуютъ моего добраго друга.

„Мужъ мой отсутствуетъ, свекрови я не видала, она не пускаетъ меня на глаза, а дядя моего мужа, тотъ самый дядя, который пріѣзжалъ арестовать меня, вообразите себѣ, совсѣмъ-таки хорошъ со мной! Онъ не только вѣжливъ, а почти нѣженъ, предупредителенъ и совсѣмъ на моей сторонѣ. Я увѣрена, что онъ не дастъ меня въ обиду, и это сознаніе значительно облегчаетъ мое настоящее положеніе. Это — человѣкъ, котораго коснулась цивилизація и смягчила его. Онъ видимо много читалъ и имѣетъ свѣтлыя взгляды на жизнь. Я даже въ порывѣ жажды жить думаю, что этотъ человѣкъ можетъ устроить мнѣ мое положеніе, то есть добиться для меня развода. Онъ имѣетъ вліяніе на моего мужа и на его мать.

„Ну, вотъ и все. Вы видите, что я живу ничего себѣ, нѣтъ той тихой радости, которая окружала меня въ вашемъ милomъ домикѣ, но нѣтъ и того горя, котораго мы ожидали. Бусова я не видала и ничего о немъ не знаю, спросить же Ивана Борисовича (Иванъ Борисовичъ — это дядя) мнѣ какъ-то неловко.

„Поцѣлуйте вашу милую тетю и кланяйтесь всѣмъ обывателямъ милаго уголка. Буду писать вамъ часто, а отвѣта пока

просить не могу, такъ какъ не знаю, куда просить адресовать письмо. Поживу—устрою. Забъжайте, дорогой мой, къ кормилицѣ и передайте ей мой привѣтъ. Ваша Марина“.

Послѣ посылки письма Маринѣ стало какъ-то легче, веселѣе, точно она побесѣдовала съ дорогимъ человѣкомъ, и она рѣшила писать Гуршину по возможности чаще. Одно только печалило ее — это неимѣніе никакихъ свѣдѣній о Бусовѣ. Ей страстно хотѣлось не только повидать его, а хоть бы дать ему вѣсточку о себѣ, сказать, что ее не оскорбляютъ, не мучаютъ, что вся жизнь сравнительно хороша.

Наконецъ она надумала что нибудь разузнать про него отъ Малаши, къ которой привязалась съ перваго же раза, да и сама видимо тоже пришлась по душѣ ей. При первомъ же удобномъ случаѣ она и заговорила на желанную тему.

— Малаша,—спросила она,—ты знаешь всѣхъ служащихъ Ивана Борисовича?

— Это конторскихъ-то, что ли?

— Да, конторскихъ.

— Какъ не знать? знаю. Я прежде при конторѣ жила, артельщикамъ и мальчикамъ прислуживала, а послѣ того меня къ хозяйской кухнѣ приставили. Знаю, всѣхъ знаю! Озорноватый народъ, безстыжій. Одинъ только былъ совѣстливый — Бусовъ, Павелъ Петровичъ.

Марина даже покраснѣла отъ удовольствія, что и эта дѣвушка, всѣми заброшенная, приравненная просто къ вьючному животному, была обласкана Бусовымъ и видѣла въ немъ оо-всѣмъ иного человѣка, чѣмъ всѣ окружающіе. Но ее удивило слово „былъ“.

— Ты говоришь, Малаша, „былъ“; развѣ его теперь нѣтъ?—спросила она.

— Да вѣдь онъ же въ острогѣ сидитъ.

Марина помертвѣла, выпрямилась во весь ростъ, схватившись руками за край стола, и черезъ силу выговорила:

— Въ острогѣ! Какъ въ острогѣ?

— А нешто ты не знала?—спросила Малаша.—Да, желанная, въ острогѣ; попалъ въ бѣду, сердешный! Ишь ты, побѣлѣла какъ!—сочувственно проговорила она, глядя на Марину.—Знать, милъ тебѣ Павелъ-то Петровичъ?

Марина выпила стаканъ воды и быстро подошла къ Маланѣ.

— За что, когда посаженъ? — быстро, едва выговаривая слова, задыхаясь спросила она.—Разскажи, все разскажи!

— Да не больно давно посадили. Застрѣлить онъ хотѣлъ хозяина, сказываютъ, Ивана Борисовича. Пришелъ, слышь ты,

къ нему, да изъ ружья, что ли, и хотѣлъ застрѣлить; а Гусарчиковъ во-время подоспѣлъ да и помѣшалъ ему. Гусарчиковъ-то теперь куда какъ возвеличенъ!

— За что же хотѣлъ онъ убить Ивана Борисовича?

— А разное у насъ на кухнѣ толковали: кто говоритъ, что онъ денегъ у хозяина просилъ, а какъ тотъ ему не далъ, такъ онъ въ него и пальнулъ, а кто говоритъ, что изъ-за тебя Павелъ-то Петровичъ грѣхъ такой сдѣлалъ. Разное толкуютъ! А ты и не знала, Марина Григорьевна? Ишь ты, болѣзная! Да, пропадетъ парень, засудятъ его.

— „Пропадетъ... засудятъ“, — повторила Марина въ глубокой тоскѣ и, склонившись къ столу, зарыдала.

Малаша не утѣшала ея. Она постояла, покачала головой и тихо вышла изъ комнаты.

Простой народъ не утѣшаетъ въ горѣ и знаетъ, что слезы иногда благотворно дѣйствуютъ на человѣка, которому тяжело, котораго душитъ грусть-тоска.

Маринѣ и надо было остаться одной. Она выплакалась, умыла лицо холодной водой и принялась обдумывать роковое извѣстіе, какъ громъ, поразившее ея.

Бусовъ попалъ въ страшную бѣду непременно изъ-за нея, стала думать она. Онъ безъ сомнѣнія имѣлъ объясненіе съ Иваномъ Борисовичемъ. Его, быть можетъ, хотѣли оскорбить, и онъ не вынесъ этого. Во всякомъ случаѣ она—виновница этого и должна употребить всѣ силы для спасенія отъ окончательной гибели этого дорогаго ей человѣка. Раньше всего надо поговорить съ Иваномъ Борисовичемъ; быть можетъ, онъ самъ захочетъ помочь ей и сдѣлаетъ все для спасенія Бусова. Она признается ему, что любитъ Бусова, откроетъ свою завѣтную тайну. Иванъ Борисовичъ пойметъ ея! Положимъ, онъ—дядя ея мужа, но вѣдь она же проситъ о спасеніи этого Бусова не ради того, чтобы отдаться ему, а лишь ради простого человѣческаго чувства. Вѣдь она—все равно не жена Акима Осиповича; вѣдь она завтра, послѣзавтра, на той недѣлѣ, въ монастырь уйдетъ. Наконецъ она точно такъ же стала бы просить о спасеніи и каждаго другого, тѣмъ болѣе если человѣкъ страдаетъ изъ-за нея.

Она поправила прическу, успокоилась и позвала Малашу.

— Не знаешь, Малаша, дома Иванъ Борисовичъ? — спросила она.

— Дома, а собирается ѣхать куда-то. Гаврило лошадей пошелъ закладывать.

— Иди, сходи на половину Ивана Борисовича и скажи кому нибудь, что я желаю видѣть его.

Малаша отправилась, и черезъ четверть часа Иванъ Борисовичъ явился по обыкновенію сіяющій, самодовольный и улыбающійся, какъ ясный день.

— Съ добрымъ утромъ!—привѣтствовалъ онъ Марину.—Какіе поживаете, милая затворница? Вы что-то блѣдны. Вамъ воздуха надо. — Иванъ Борисовичъ задумался на минуту, пощипывая свою подстриженную бородку.—Знаете что,—какъ-то особенно рѣшительно заговорилъ онъ, впиваясь въ Марину засверкавшими неудержимою страстью глазами. — Проѣдметесь немного? Васъ это. освѣжить, успокоить, развлечетъ. Сегодня чудный солнечный день съ легкимъ морозцемъ. Кони у меня—вихрь. Чудно прокатимся!

Марина задумалась. Ей и самой хотѣлось подышать свѣжимъ воздухомъ—она привыкла гулять и кататься у Гуршина, да и не хотѣлось отказывать Ивану Борисовичу ввиду такого важнаго дѣла къ нему. Поэтому она сказала:

— Хорошо, поѣдемъ! Но какъ взглянуть на это Лукерья Федоровна? Вѣдь она желаетъ видѣть меня затворницей?

— О, насчетъ этого не беспокойтесь! Я вчера умѣлъ доказать моей почтенной невѣсткѣ, что вы должны жить самымъ обыкновеннымъ образомъ, одѣваться, какъ приличествуетъ женѣ Лоскутникова, и показываться въ обществѣ напимѣръ со мною, чтобы показать всѣмъ и каждому, что никакого скандала нѣтъ, и вся размолвка кончена. Моя невѣстка думаетъ, что я все дѣлаю это ради ея сына, но тутъ не то. Я для васъ стараюсь...

Послѣднія слова зазвучали нѣжностью, въ нихъ даже слышалась страсть. Но не до того было Маринѣ, чтобы различать интонацію голоса Ивана Борисовича. Она едва слышала, о чемъ онъ говорилъ, и вся была поглощена мыслью о томъ далекомъ человѣкѣ, который былъ для нея дороже всего на свѣтѣ.

— Благодарю васъ,—пожала она руку Ивана Борисовича.

— Не стоитъ. О, я и не то готовъ сдѣлать для васъ!.. Вотъ ключи отъ вашего гардероба, я завоевалъ ихъ, какъ полководецъ завоевываетъ ключи отъ крѣпости. Одѣньтесь, съ шикомъ одѣньтесь и поѣдемъ показывать Москвѣ, что между нами миръ и согласіе. Жду васъ.—Иванъ Борисовичъ пошелъ.—Ахъ, да!—вернулся онъ.—Вамъ надо горничную. Вѣдь эта дура дѣревенская была лишь тюремщикомъ вашимъ... Я сію минуту пришлю...

— Оставьте мнѣ, Иванъ Борисовичъ, Малашу, она такая славная, я полюбила ее.

— Но вѣдь она не сумѣетъ одѣть васъ! Она не сумѣетъ своими грубыми лапами прикоснуться къ вамъ!

— Нѣтъ, ничего... Пожалуйста оставьте ее!

— Не смѣю спорить! Такъ я жду!—и Лоскутниковъ, щелкнувъ каблуками, вышелъ.

Марина подошла къ громадному шкафу, занятому ея обширнымъ гардеробомъ, принесеннымъ въ приданое, и задумалась надъ цѣлой коллекціей шикарныхъ платьевъ. Выбрала она просто сшитое, но чрезвычайно изящное черное бархатное платье и черную же съ бѣлымъ перомъ бархатную шляпу, надѣла сѣренькія перчатки, приколола на грудь гладкую золотую брошь и вышла въ залъ, пославъ Малану сказать Ивану Борисовичу, что она готова.

— Красавица!.. Совсѣмъ красавица!—восторженно произнесъ Лоскутниковъ, входя въ залъ и пожирая глазами Марину.— Воздуха, жизни надо этому роскошному цвѣтку!

— Вы очень любезны! — ласково улыбнулась ему Марина, принявъ эти похвалы за отеческую, дружественную любовь.

Иванъ Борисовичъ, облеченный въ шинель съ бобрами, настаивалъ, чтобы Марина одѣла ретонду на чернобурой лисицѣ. Величавый кучеръ подалъ пару сѣрыхъ въ коляскѣ, и она полетѣла по Ордынкѣ, вызывая любопытные взгляды и разнорѣчивые толки обитателей, хорошо знакомыхъ съ исторіей Лоскуниковаго дома.

Иванъ Борисовичъ прибѣгнулъ къ благонамѣренной лжи, сказавъ Маринѣ, что везетъ ее кататься и отдастъ въ ея распоряженіе туалетъ съ согласія Лукерьи Федоровны. Ничего подобнаго не было, а Лоскутниковъ, въ своемъ увлеченіи Мариной, просто рискнулъ, желая во что бы то ни стало угодить Маринѣ и вызвать ея признательность. Дѣло въ томъ, что Лукерья Федоровна въ тотъ день уѣхала на богомолье, и Иванъ Борисовичъ хозяйничалъ безъ нея; онъ полагалъ, что до ея свѣдѣнія прогулка съ Мариной можетъ не дойти, такъ какъ наперсница Лукерьи Федоровны, ключница, тоже уѣхала, а въ противномъ случаѣ можно было увѣрить Лукерью Федоровну, что сдѣлать такъ было необходимо, приведя тѣ мотивы, которые были высказаны имъ Маринѣ.

Прокатившись сперва по Замоскворѣчью, потомъ Кузнецкимъ мостомъ, Петровкой и бульварами, Иванъ Борисовичъ предложилъ Маринѣ заѣхать въ ресторанъ „Эрмитажъ“ и выпить кофе.

— Ловко ли это будетъ?—спросила она.

— Конечно! Да начать съ того, что вѣдь васъ тамъ никто не знаетъ. Выпьемъ кофе, позавтракаемъ, поговоримъ.

— А мнѣ надо о многомъ поговорить съ вами!

— Вотъ и чудесно!

Иванъ Борисовичъ приказалъ кучеру ѣхать въ „Эрмитажъ“.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ шикарнаго ресторана, куда вошелъ Иванъ Борисовичъ со своей спутницей, онъ снова восторженно оглядѣлъ Марину и воскликнулъ:

— Красавица!.. О, какая красавица!

Марина дѣйствительно была очень хороша въ эту минуту. Отъ быстрой ѣзды и легкаго морозца она раскраснѣлась, румянецъ игралъ на ея щекахъ, глаза блистали и искрились, а черный бархатъ мягко облегалъ ея роскошныя формы.

— Вы все мнѣ льстите,—улыбнулась она.

— Вамъ? А поглядите на себя... Вотъ!—и Иванъ Борисовичъ подвелъ Марину къ большому зеркалу, слегка охвативъ за талю.—Что? Какова?.. Богиня!..

Онъ немного прижалъ ее къ себѣ и весь дрогнулъ отъ прикосновенія къ мягкой гибкой талии.

Марина освободила свою талю отъ руки, сжимавшей ее, и сѣла на диванчикъ къ столу.

Лакей подаль кофе и ликеръ и удалился. Во время кофе Марина ничего не сказала о Бусовѣ, боясь начать этотъ разговоръ, чтобы не обнаружить своего чувства. Она и рѣшилась было сказать, что любить Бусова, но, когда пришлось говорить объ этомъ дядѣ мужа, рѣшимость пропала и слова не шли съ языка. Надо было приступить къ интересному предмету какъ нибудь поосторожнѣе. Марина разсѣянно слушала болтовню Ивана Борисовича, который тараторилъ не умолкая, пожирая глазами свою гостью и приписывая видимо взволнованное состояніе ея близости къ нему, такъ легко побѣждавшему когда-то женщинъ и поопытнѣе этой юной дѣвушки, имѣвшей мужа.

— Не позавтракаемъ ли мы?—наклонился Иванъ Борисовичъ къ Маринѣ.—Горячую котлетку марешаль; паштетъ, какую нибудь птичку очень недурно теперь скушать, а потомъ винца... Хорошо?

— Хорошо, пожалуй!—согласилась Марина.

Иванъ Борисовичъ заказалъ завтракъ, приказавъ подать его сразу на большомъ подносѣ и не беспокоить бѣганьемъ и безпрестаннымъ хлопаньемъ дверей. Ловкій, умѣлый лакей такъ и сдѣлалъ. Онъ живо сервировалъ столъ для завтрака, принесъ кушанья, поставилъ въ холодильникъ бутылку шампанскаго, затопилъ каминъ и удалился, неслышно ступая по мягкому ковру. Иванъ Борисовичъ принялся угощать. Онъ настоялъ, чтобы Марина выпила рюмку какой-то удивительно душистой и очень крѣпкой наливки, дѣйствующей, по его словамъ, самымъ цѣлебнымъ образомъ и противъ простуды, и противъ нервовъ, и

противъ головной боли, самъ положилъ на тарелку Марины кусокъ дыни и натиръ затѣмъ шампанскаго.

— Пить ли мнѣ?—улыбнулась Марина.—У меня ужъ и то кружится голова отъ этой вашей щѣлебной наливки.

— А это освѣжить... О, благодѣтельница вдова Кликъ дѣлаетъ чудеса: она просвѣтляетъ умъ, окрыляетъ воображеніе и заставляетъ кипѣть кровь. Выпьемъ за вашу самостоятельную жизнь, за вашу свободу... Я вижу зарю, такъ сказать, новыхъ дней вашихъ. Выпьемъ!..

Марина взяла стаканъ, чокнулась съ Иваномъ Борисовичемъ и выпила половину. Огнемъ прошла холодная влага по жиламъ и кровь закипѣла, глаза заискрились. Теперь можно было говорить свободно, теперь робости какъ будто и не было.

— Иванъ Борисовичъ!—начала Марина.

— Что, дорогая моя, что? — нѣжно спросилъ онъ, залпомъ выпивая второй стаканъ и сядя рядомъ съ молодой женщиной.

Марина не вдругъ отвѣтила на нѣжный вопросъ Ивана Борисовича. Она задумалась на минуту, опустила глаза и довольно тихо спросила наклонившагося къ ней и глядѣвшаго на нее влюбленными глазами родственника:

— Иванъ Борисовичъ, гдѣ Бусовъ?

— Бусовъ? Онъ находится въ очень надежномъ и уютномъ помѣщеніи, а именно въ острогѣ, — отвѣтилъ Лоскутниковъ и, еще ближе наклонившись къ Маринѣ, игриво спросилъ: — а васъ интересуетъ судьба этого господина? Можетъ, влюблены въ него? Хе-хе!.. Что же, это очень естественно: сердчишко желаетъ любви, бьется... Вѣдь моя бѣдная племянница одинока, а въ такіе годы, какъ у нея, сердце жаждетъ любви. Бьется сердечно? — и онъ приложилъ руку къ лѣвой сторонѣ груди страшно взволнованной Марины.

— Позвольте, пустите!—освободилась она.—Слушайте, Иванъ Борисовичъ, я вижу, что найду въ васъ участие, и буду говорить съ вами прямо. Да, я люблю Бусова, онъ мнѣ дорогъ... Я вѣрна своему мужу и буду вѣрна ему, но Бусовъ дорогъ, близокъ мнѣ, и я умоляю васъ спасти его!

— Увы, не могу, моя радость. Онъ въ рукахъ правосудія. Знаете что? Я скажу вамъ откровенное свое мнѣніе объ этомъ человѣкѣ. Это—большой руки негодяй!

Марина отшатнулась въ уголъ дивана.

— Это жестоко!—задыхаясь проговорила она. — Я сказала вамъ, что мнѣ этотъ человѣкъ дорогъ, что я люблю его, а вы оскорбляете его въ моемъ присутствіи.

— Ха-ха-ха! Ребенокъ вы этакій, дѣточка неопытная!.. Да,

я понимаю, вы могли увлечься имъ — онъ недурень, болтатъ умѣть, а вы лучше-то его и не видали; но дѣло въ томъ, что я люблю васъ, долженъ дать вамъ правильный взглядъ и нарисовать портретъ этого господина.

— Не трудитесь! — перебила Марина. — Вы не заставите меня иначе глядѣть на Бусова и только поссорите меня съ вами, если будете оскорблять этого очень дорогого для меня чело-вѣка.

— Да? — прищурился Иванъ Борисовичъ. — А вамъ извѣстно, за что попалъ онъ въ тюрьму?

— Нѣтъ. Вотъ я и хотѣла знать подробности этого...

— Бусовъ пришелъ ко мнѣ просить денегъ, грозя въ случаѣ отказа разблаговѣстить по всему городу, что онъ увезъ васъ отъ Акима, а когда я въ негодованіи выгналъ его, онъ выстрѣлилъ въ меня изъ револьвера.

— Ложь! — воскликнула Марина. — Этого не могло быть! Онъ неспособенъ на это, онъ не могъ это сдѣлать!..

— Такъ, стало быть, я лгу? — перекосивъ губы, спросилъ Иванъ Борисовичъ. — Какая же мнѣ цѣль лгать, позвольте спросить?

— Я не знаю, по того, что вы говорите, быть не могло!

Лицо молодой женщины пылало, глаза блестѣли негодованіемъ, грудь высоко поднималась. Она была дивно хороша въ эту минуту. Иванъ Борисовичъ долго глядѣлъ на нее и вдругъ, склонившись къ ней и обнявъ ея гибкую талью руками, воскликнулъ:

— Какъ хороша! Боже, какъ хороша! Ну, хорошо, хорошо, все сдѣлаю для тебя, Бусова отдамъ, будь съ нимъ счастлива, но подари мнѣ одинъ поцѣлуй, и я твой... Взгляни на меня!.. я старше твоего Бусова, но я красивѣе его, умнѣе, лучше... Я богатырь...

Марина съ ужасомъ глядѣла на Ивана Борисовича.

— Пустите меня! — вскрикнула она рванувшись.

— Нѣтъ!.. Ты моя, моя... Не пущу я тебя!

Марина собрала всѣ силы и вырвалась отъ обезумѣвшаго Лоскутникава.

— Негодай! — гнѣвно прошептала она, сверкая глазами и прижимаясь въ уголъ кабинета, какъ бы готовясь къ защитѣ.

Иванъ Борисовичъ всталъ.

— Негодай? — переспросилъ онъ, какъ-то опуская углы губъ и весь блѣднѣя отъ злобы. — Негодай? Это за то, что я такъ много сдѣлалъ для тебя? А Бусова любить можно? Последняго конторщика, дрянъ, мальчишку ставить выше и лучше меня? А извѣстно ли вамъ, сударыня, что, если бы не я, васъ бы въ

темный чуланъ заперли, истязали бы. И вы бросаете мнѣ слово „негодяй“ за всю мою любовь къ вамъ? Героиня какая! Отъ поцѣлуя порядочнаго человѣка бѣжить и оскорбляетъ этого человѣка, а сама бросаетъ домъ мужа ради послѣдняго негоднаго мальчишки.

Марина застонала и закрыла лицо руками.

Иванъ Борисовичъ шагнулъ къ ней и взялъ ее за плечи.

— Ну, я съ тобой не такъ буду разговаривать!—проговорилъ онъ.—Выбирай любое: или тебя ждетъ полное счастье, или... Нѣтъ, даже и грозить не могу... люблю... люблю...

Марина рванулась впередъ, схватила со стола вилку и со всего размаха вонзила ее въ лицо Ивана Борисовича.

— Ай!—вскрикнулъ онъ и упалъ на колѣна, схватившись за лицо. Кровь ручьями потекла изъ-подъ его рукъ, окрашивая его платье и каплями падая на коверъ.—Спасите! Помогите! Убили!—отчаянно закричалъ Иванъ Борисовичъ.

Гдѣ-то хлопнули двери; по корридору послышалось топанье нѣсколькихъ человѣкъ, и въ кабинетъ вбѣжали лакеи.

— Что случилось? Что такое? Кто кричалъ?—разомъ воскликнули они и остановились, какъ вкопанные.

Иванъ Борисовичъ полулежалъ на полу весь въ крови, а Марина стояла около стола блѣдная, какъ полотно, и судорожно сжимала рукоятку окровавленной вилки.

— Убила! Смертельно ранила!—крикнулъ Иванъ Борисовичъ и вскочилъ на ноги.—Верите ее, вяжите!

XIX.

Гушкинъ, получивъ письмо Марины, замѣтно повеселѣлъ; точно расцвѣлъ. Старуха-тетка втайнѣ благодарила Бога за такую перемену въ племянникѣ, до сихъ поръ положительно-таки боясь за него и ожидая какой нибудь катастрофы.

Со дня отъѣзда Марины Семенъ Максимовичъ сталъ совершенно неузнаваемымъ: исчезла его веселая улыбка, которая бывало часто появлялась на его лицѣ въ часы отдыха и покоя; не стало слышно его веселаго голоса, и лишь раздражительно да гнѣвно звенѣлъ этотъ металлическій голосъ; и, работая неутомимо весь день, Гушкинъ угрюмо просиживалъ въ теченіе всѣхъ вечеровъ предъ затопленной печкой, выкуривая папиросу за папиросой. Утѣшать, уговаривать его тетка не смѣла—онъ не любилъ этого, и одиноко переносилъ свое горе этотъ желѣзный человѣкъ, не охая, не плача и оттого еще болѣе страдаая.

Работалъ онъ въ эти дни страшно. Съ дѣтскихъ лѣтъ стоявшіе на тяжелой работѣ мужики удивлялись на него и гово-

рили, что они не могли бы столько работать. Вставъ до разсвѣта, Гуршинъ шелъ на гумно и молотилъ наравнѣ съ работниками до ихъ обѣда, потомъ выпивалъ рюмку водки и ѣхалъ въ лѣсъ, гдѣ у него происходила рубка. Тамъ онъ снова вставалъ на работу и не выпускалъ топора до сумерекъ. Затѣмъ онъ шелъ пѣшкомъ домой, обѣдалъ, прочитывалъ газеты и садился за работу къ письменному столу: велъ книги, писалъ письма свои и мужиковъ (къ нему ходило множество народа съ просьбами написать письмо), писалъ различныя прошенія и отзывы, ведя бесплатно дѣла сосѣдей въ судебныхъ учрежденіяхъ. Позднимъ вечеромъ онъ пилъ чай, сидя въ глубокой задумчивости у своего импровизованнаго камина, и шелъ спать послѣ полуночи. Часто старуха-тетка видѣла его сидящимъ за роялемъ и задумчиво перебиравшимъ клавиши. Одинъ разъ старуха видѣла, какъ онъ наклонился къ клавишамъ и поцѣловалъ ихъ нѣсколько разъ, и до ея слуха долетѣли его слова: „Марина, дорогая, хорошая моя! Какъ я люблю и какъ глубоко страдаю за тебя!“.

Эти слова онъ произнесъ со стономъ и упалъ головою на рояль.

— Сердце у меня кровью облилось, глядя на него,—со слезами рассказывала послѣ этого старуха.—Отняла покой у Сеньюшки эта гостья, и, гляди, сгибнетъ онъ изъ-за нея!

Мужики, слыша эти разговоры, говорили:

— Ничего, не сгибнетъ! Не такой онъ человѣкъ. Желѣзный человѣкъ, все пересилить, все переломить въ себѣ.

— Эхъ, кормильцы,—отвѣтила на это тетка,—вѣдь ржа и желѣзо переѣдаетъ!

Ржа, которая ѣла Гуршина, была сильна, и дѣйствительно можно было думать, что она переѣстъ его.

Изъ той же газеты, которая напечатала статью о покушеніи Бусова, Гуршинъ узналъ и о катастрофѣ въ „Эрмитажѣ“. Сталъ онъ по обыкновенію проглядывать московскія вѣсти и вдругъ вскрикнулъ, поблѣднѣлъ и выронилъ изъ рукъ газету.

— Сеньюшка, батюшка, что съ тобой?—подбѣжала къ нему находившаяся тутъ же тетка.

— Ничего. Оставь меня, тетушка!—глухо проговорилъ онъ.—Дай мнѣ воды!

Семень Максимовичъ выпилъ залпомъ два стакана воды, поднялъ газету и прочелъ извѣстіе еще разъ отъ начала до конца. Случай съ Мариной былъ переданъ въ газетной замѣткѣ въ страшно искаженномъ видѣ, очевидно по протоколу, который былъ написанъ со словъ Ивана Борисовича. Упомянувъ о покушеніи на убійство почтеннаго коммерсанта Лоскутникова,

совершенною недавно Вусовымъ, газета передавала извѣстіе о новой криминальной выходкѣ „достойной послѣдовательницы гнуснаго убійцы“. По словамъ этой замѣтки, Марина Григорьевна завлекла родственника своего мужа въ кабинетъ ресторана и просила затѣмъ уговорить мужа дать ей отдѣльный видъ на жительство и тихонько отъ отца возвратить приданое. Когда же Иванъ Борисовичъ съ негодованіемъ отвергнулъ эту просьбу, Марина Григорьевна схватила вилку и намѣревалась ударить своего родственника въ горло, но лишь успѣла нанести ему рану въ лицо; эта рана была для жизни пострадавшаго неопасна, но должна была оставить на лицѣ слѣдъ. Военственная дама-авантюристка арестована, и вѣроятно въ недалекомъ будущемъ правосудіе укажетъ ей надлежащее мѣсто. Такъ кончалась замѣтка.

Гуршинъ просидѣлъ минутъ двадцать, точно громомъ пораженный, и потомъ быстро всталъ.

— Тетя,—обратился онъ къ старухѣ,—иди, скажи Ивану, чтобы готовилъ мнѣ лошадь въ Москву. Въ ночь я выѣзжаю, поѣдетъ со мной и онъ. Иди скорѣе, тетя!

— Знать, случилось что нибудь, Сеюшка, что такъ проворно собрался?—спросила тетка.

— Да! Одинъ купецъ, съ которымъ я веду дѣла и который мнѣ долженъ, обанкротился, надо поспѣть во-время. Иди, тетка, торопи парня, а потомъ кое что мнѣ приготовишь. Достань изъ кладовой мой черный сюртукъ.

Часа черезъ два Семень Максимовичъ выѣхалъ изъ дома. Никогда еще такъ быстро не ѣздили онъ на своемъ „гнѣдомѣ“, какъ въ этотъ разъ.

Иванъ Борисовичъ болѣе испугался, чѣмъ пострадалъ. Рана, нанесенная ему Мариной, была совершенно неопасна: вилка, направленная слабой, дрожащей рукой, едва сорвала верхніе покровы, и хотя три ссадины на лицѣ были довольно глубоки и длинны, но серьезнаго вреда для здоровья не представляли. Уже на третій день катастрофы раны затянуло, и раненый чувствовалъ себя совершенно здоровымъ, хотя выѣзжать изъ дома было нельзя.

Лоскутниковъ сидѣлъ въ кабинетъ и проглядывалъ газеты, все еще отыскивая подробности событія и желая знать, какъ взглянули на это событіе общество и печать. Подробности кое какія были, притомъ для Ивана Борисовича благопріятныя, чего онъ страстно желалъ, боясь, чтобы въ общество не проникли вѣрные, компрометирующіе его слухи. Прослыть за довеласа, потерпѣвшаго поражение, онъ вовсе не боялся—такая

роль была даже ему пріятна, но нехорошо было бы, если бы истину узнала Лукерья Федоровна. Хорошаго бы мнѣня осталась она о деверѣ, который ѣздилъ съ отданной на его попеченіе женой племянника по ресторанамъ и ухаживалъ за нею настолько усердно, что вызвалъ энергичныя съ ея стороны мѣры! Послѣ этого невѣстка и племянникъ могли бы просто-напросто турнуть его, а Иванъ Борисовичъ только что довелъ дѣло до благопріятнаго результата, и еще мѣсяца черезъ два-три могъ назвать себя полнымъ побѣдителемъ. Поэтому онъ придумалъ басню о событіи въ ресторанѣ въ совершенно благопріятномъ для себя видѣ и успѣлъ увѣрить Лукерью Федоровну, что дѣло было именно такъ, какъ онъ говоритъ.

Проглядѣвъ газеты и успокоившись, Иванъ Борисовичъ сѣлъ было къ столу проглядѣть книги, какъ вошелъ человекъ и доложилъ, что его желаетъ видѣть господинъ Максимовъ.

— Что за Максимовъ? Зачѣмъ?—спросилъ Иванъ Борисовичъ.

— Въ первый разъ вижу ихъ. Говорятъ, что по важному дѣлу.

— Прости!

Иванъ Борисовичъ поправилъ повязку на лицѣ, принялъ величественную позу и закурилъ сигару.

Въ кабинетъ вошелъ Гуршинъ.

Иванъ Борисовичъ видѣлъ его одинъ разъ при слабомъ освѣщеніи начинающагося утра и не узналъ теперь, тѣмъ болѣе что тогда Гуршинъ былъ одѣтъ въ поддевку и мерлушковую шапку, теперь же былъ въ очень приличной черной парѣ, въ перчаткахъ и со шляпой въ рукѣ. Поклонившись Ивану Борисовичу, Гуршинъ остановился у дверей и спросилъ:

— Вы не узнали меня?

— Лицо знакомое, видалъ какъ будто,—проговорилъ Иванъ Борисовичъ, пристально вглядываясь въ гостя, и вдругъ быстро всталъ.—Вы... вы—господинъ Гуршинъ?... тотъ... въ деревнѣ... господинъ, у котораго жила Марина Григорьевна?

— Да, я—Гуршинъ. Семенъ Максимовичъ Гуршинъ. Вы извините меня, что я назвался другой фамиліей, но я боялся, что вы не захотите меня принять, а мнѣ очень нужно видѣть васъ!

— Я... я бы не желалъ... я ничего общаго не имѣю... не имѣю чести знать,—взволнованнымъ голосомъ и отыскивая глазами колокольчикъ, сказалъ Иванъ Борисовичъ.

— Напротивъ, мы имѣемъ много общаго! — Гуршинъ замѣтилъ безпокойныя взгляды хозяина и угадалъ его намѣреніе.—Иванъ Борисовичъ,—сказалъ онъ,—вы, быть можетъ, опасаетесь какого нибудь враждебнаго дѣйствія съ моей стороны,

такъ я клянусь вамъ честью, что не позволю себѣ даже единымъ словомъ оскорбить васъ, не говоря уже о какомъ нибудь покушеніи на ваше спокойствіе. Повѣрьте, я пришелъ къ вамъ съ мирными намѣреніями, и выслушайте меня. Я никогда не лгу, и если бы хотѣлъ дѣйствовать противъ васъ враждебно, то началъ бы не съ этого.

— Да я ничего... я и не думалъ, но меня удивляетъ... Впрочемъ милости просимъ... прошу садиться...

Гуршинъ поклонился и сѣлъ неподалеку отъ письменнаго стола.

— Чѣмъ могу служить?—обратился къ нему Иванъ Борисовичъ, оглядывая пытливымъ взглядомъ лицо и всю фигуру гостя.

— Многимъ, очень многимъ! Иванъ Борисовичъ, скажите мнѣ, какъ честный человѣкъ, при какихъ обстоятельствахъ произошло ваше печальное столкновеніе съ Мариной Григорьевной?

— Довольно интимный вопросъ,—кисло улыбнулся Лоскутниковъ.—Вы въ качествѣ кого же спрашиваете это у меня? То есть по какому праву?

— На основаніи права любящаго человѣка. Вамъ угодно признать это право?.. Это право священно. Оно не даетъ никакихъ юридическихъ преимуществъ, но среди людей, въ ихъ обыденной жизни, играетъ великую роль, и, если у человѣка есть сердце, если человѣкъ хоть немного сохранилъ чувства, онъ долженъ признать это право. Я такъ люблю Марину Григорьевну, что отъ того или иного исхода ея дѣла зависитъ моя жизнь. А вѣдь человѣческая жизнь стоитъ того, чтобы къ ней относились съ нѣкоторымъ вниманіемъ. Вы меня не знаете, следовательно не имѣете основаній особенно вѣрить мнѣ, но въ то же время не имѣете основаній и не вѣрить. Но я клянусь вамъ, что люблю Марину Григорьевну больше жизни!

— Быть можетъ!—пожалъ плечами Иванъ Борисовичъ. — Но я вамъ не завидую: любить замужнюю женщину столь же преступно, сколько и неудобно!

— Положимъ, но любовь не спрашиваетъ разсудка: вы это знаете конечно.

— Хорошо-съ, но что же вамъ угодно отъ меня?

— Мнѣ угодно, чтобы вы сказали истину... не мнѣ, а кому слѣдуетъ, для освобожденія Марины Григорьевны отъ тяжелаго для нея ареста, отъ суда, отъ всѣхъ тѣхъ страданій, на которыя обрекли это нѣжное созданіе люди, быть можетъ, за то, что она неизмѣримо выше ихъ.

— Но почему же вы думаете, что до сихъ поръ я говорилъ не истину?

— О, вамъ ли спрашивать у меня это! Развѣ Марина Григорьевна могла сдѣлать то, въ чемъ вы обвиняете ее? Я не былъ тамъ, гдѣ произошло это печальное событіе, но могу разсказать вамъ, какъ все было. Вы увлеклись красотой Марины Григорьевны, объяснились ей въ любви, быть можетъ, оскорбили ее, возмутили, и она, измученная, изстрадавшаяся, рѣшилась на преступленіе. За что, за что такъ страшно мучаютъ эту бѣдную, эту хорошую женскую душу? Кому сдѣлала она зло? Природа создала ее для полного счастья, а люди обрекли ее на муки! Прослѣдите всю ея жизнь, остановитесь надъ вопросомъ, за что она страдаетъ? Боже, вѣдь это возмутительно! Бѣдная, бѣдная!.. Мало того, что ея жизнь загублена, вы еще придумали для нея пытку и предали суду, арестовали, чтобы истерзать ея душу новыми муками ожиданія суда, позора. Ее и теперь уже забрызгиваютъ грязью; хорошо еще, что она не знаетъ этого, не слышитъ возмутительныхъ силетень! Подайте ей руку помощи, вытащите ее изъ этой пропасти, въ которую вы же толкнули ее! Развѣ вы находите наслажденіе губить человѣка? Развѣ вы думаете, что потомъ, когда вы довершите свое преступленіе и погубите ее, не придется къ вамъ въ тиши ночи ея кроткій образъ и не перевернетъ всей вашей души пѣвымъ укоромъ кроткихъ, ласковыхъ глазъ? Нѣтъ, онъ придетъ, и тогда горе вамъ! За что, ради чего вы хотите зла этому ангелу? — Гуршинъ всталъ, его лицо было блѣдно, глаза сверкали. — Я вижу, Иванъ Борисовичъ, мои слова, сказанныя отъ души, вырвавшіяся изъ наболѣвшей груди, произвели на васъ впечатлѣніе — вы краснѣли нѣсколько разъ... Я радъ этому и увѣренъ, что вы все сдѣлаете для облегченія участи этой хорошей, милой женщины.

Иванъ Борисовичъ всталъ и подаль Гуршину руку.

— Да, господишь Гуршинъ, вы угадали, — сказалъ онъ. — Вы — хороший человѣкъ... Спасибо вамъ! Я понялъ васъ, и у меня что-то шевельнулось въ груди. Намъ никогда не говорятъ ничего такого, насъ только хвалятъ, а вѣдь мы — люди... Спасибо вамъ! Даю вамъ честное слово, что все сдѣлаю для Марины Григорьевны. Она не виновата; это мы, мы довели ее до этого... Вы гдѣ остановились?

Гуршинъ сказалъ.

— Я вечеркомъ заѣду къ вамъ и поговорю. Мы обсудимъ все. Клянусь вамъ, я употреблю все старанія для облегченія участи Марины и... и Бусова.

XX.

Лукерья Федоровна вернулась съ богомолья и, узнавъ о катастрофѣ, только руками развела.

— Господи, да что же это такое у насъ дѣлается?—чуть не плача, заговорила она, обращаясь къ своей наперсницѣ-ключницѣ. — Часъ отъ часа не легче!.. То у сына жена убѣжала въ первый же день свадьбы, то въ деверя въ нашемъ же домѣ ея милый дружокъ изъ пистолета стрѣлялъ, теперь эта сквернявка въ какомъ-то трактирѣ его зарѣзать хотѣла!.. Это—ужасы какіе-то, это Богъ знаетъ что такое!.. Позоръ, срамъ для нашего рода всего. Зачѣмъ это она съ Иваномъ Борисовичемъ въ ресторанъ-то попала? Тутъ неладно что-то, тутъ штуки какія-то!

Ключница скромно потупила глазки.

— Я, матушка Лукерья Федоровна, давно замѣчала, что промежъ нихъ есть что-то, только вамъ говорить не хотѣла,—сказала она.

— Дура и вышла! Коли бы сказала раньше, ничего бы такого не вышло!.. Что же ты замѣчала?

— Да ужъ больно Иванъ Борисовичъ деликатно обращался съ нею. Вы приказывали какъ можно строже быть, а они ужъ такъ-то нѣжно, такъ-то ласково!..

— Негодяй старый!—злбно замѣтила Лукерья Федоровна.— Я шаркну его хорошенько, будетъ помнить!.. А мы довѣрились ему, мы ему все дѣло препоручили! Онъ, того гляди, и въ дѣлѣ-то такъ же каверзничаетъ!

— Каверзничаетъ, матушка, каверзничаетъ! — подтвердила ключница.—Это всѣ говорить!.. Акимъ Осиповичъ въ отсутствіи, вы до дѣловъ не доходите, какъ же имъ и не каверзничать? До кого хощь доведись, такъ руку запустить!

Лукерья Федоровна задумалась.

— Надо будетъ немедленно Киму вызвать.—сказала она.

— Надо, матушка, надо!

— Ну, ты молчи, это—не твое дѣло!—прикрикнула старуха на ключницу.—Что учить-то меня?.. Глупѣе я тебя, что ли? Поди, позови мнѣ Малашку: надо ее разспросить, она тутъ была при негодницѣ-то этой.

Ключница привела Малашку и поставила ее предъ хозяйкой, точно предъ судьей, дѣлающимъ допросъ. Дѣвушка потупила голову и щипала конецъ фартука, боясь взглянуть на хозяйку, которая вообще умѣла внушать къ себѣ страхъ окружающихъ.

— Малахья,—обратилась Лукерья Федоровна къ дѣвущкѣ,—

часто заходилъ безъ меня къ Маринѣ Григорьевнѣ Иванъ Борисовичъ?

— Заходилъ когда... не шибко часто, а заходилъ...

— Что же они говорили между собою?

— А нешто я знаю? Вѣдь онъ высмалъ меня.

— Ласковъ онъ былъ съ нею? хорошо обращался?

— Знамо, ласковъ... Поди, какъ ластится!.. У него, чай, губа-то не дура, языкъ — не лопата, знаетъ что горько, что сладко!..

— Такъ, такъ... Видишь?—обратилась Лукерья Федоровна къ ключницѣ, а затѣмъ продолжала допросъ Малаши:—ты въ горницахъ была, когда онъ кататься съ нею поѣхалъ? Хорошо она одѣлась?

— Хорошо! Иванъ - то Борисовичъ ключи ей принесъ отъ шкафовъ: „Выбери,—говорить,—себѣ платье“...

— Ахъ, негодяй, негодяй!—не могла удержаться Лукерья Федоровна.—Въ какомъ же платьѣ она поѣхала?

— Въ бархатномъ поѣхали.

— На парѣ?

— На парѣ.

— Ну, а Марина-то Григорьевна тоже ластилась къ нему?

— Нѣтъ. Она со всѣми важевата... Особливою не была: какъ со мною, такъ и съ нимъ.

— Правду говоришь? Да? Ну, ступай себѣ, иди!

Дѣвушка вышла.

Лукерья Федоровна гнѣвно стала ходить по комнатѣ.

— Это онъ ухаживалъ за нею, ластился, негодяй! — стала она говорить, будто сама съ собою.—А какую басню-то выдумалъ. Ради другихъ, видите ли, повезъ онъ ее, усовѣщевать сталъ, а она у него приданое стала просить и вилкой саданула его, когда онъ сталъ руку Кимы держать! Ловко придумалъ, что говорить!.. Что теперь дѣлать, не знаю. Ну, что мнѣ теперь дѣлать, что?—обратилась она къ ключницѣ.

— А вотъ Акимъ Осиповичъ пріѣдутъ, вы имъ все и доложите, а они въ судъ, да ту же вотъ Малашку свидѣтельницей.

— Дура!—перебила ее старуха.—Вѣдь тогда негодница - то наша права будетъ! Судъ-то увидитъ, что она, защищая себя, вилкой его шаркнула, и оправдаетъ ее, а коли такъ-то говорить, какъ Иванъ выдумалъ, ее въ Сибирь угонять! Опять же, если начальство судебное узнаетъ, что Маришка строгая такая насчетъ чести своей, такъ и за побѣгъ ей ничего не будетъ; отъ тиранства, скажутъ, ушла.

— Да-съ, это точно что...

— То-то и есть!.. Выпишу Киму, пусть адвоката найметь...

Такъ Лукерья Федоровна и сдѣлала. Въ этотъ же день была послана Акимъ Осиповичу телеграмма, которой его немедленно вызывали домой.

Молодой Лоскутниковъ бросилъ всѣ дѣла и прискакалъ. Узнавъ о шалостяхъ дядюшки, онъ сильно встревожился, конечно не столько за вѣрность жены, сколько за возможность быть обманутымъ дядюшкой и въ другихъ дѣлахъ. Даже не повидавшись съ Иваномъ Борисовичемъ, который все еще былъ боленъ и не выходилъ изъ дома, Акимъ Осиповичъ поѣхалъ къ одной адвокатской знаменитости по торговымъ и вообще по гражданскимъ дѣламъ и изложилъ все дѣло, высказавъ свои опасенія.

Знаменитость многозначительно поджала губы, подумала и объявила, что надо, во-первыхъ, немедленно уничтожить данную дядѣ довѣренность и выдать таковую ей, знаменитости, для произведенія ревизіи торговыхъ книгъ, а затѣмъ наложить на дядину часть арестъ, а его предать суду.

— Ну, а съ женой что мнѣ дѣлать?—спросилъ Акимъ Осиповичъ.

— Съ женой, батенька, сперва еще судъ будетъ имѣть дѣло, а потомъ ужъ и вы... А вамъ чего бы хотѣлось?

— Мнѣ хотѣлось бы проучить ее, а потомъ водворить у себя на правахъ мужа.

— Желательно все-таки красавицу-то имѣть при себѣ!—улыбнулась знаменитость.

— Желательно!—улыбнулся и Акимъ Осиповичъ.

— Это можно.

— Можно? То есть сперва проучить, а потомъ ко мнѣ?

— Ну да! А вы непременно желаете проучить?

— Да-съ... Ее надо проучить, знаете, гоноръ, норовъ по-сбить, а потомъ она уже шелковая будетъ. А то вѣдь и опасно такую-то имѣть: пожалуй и меня вилкой...

— Ха-ха-ха!—засмѣялась знаменитость.—Ну-съ, такъ вотъ такъ, какъ я сказалъ,—проговорила она.

— Отлично-съ, я согласенъ.

Адвокатъ назначилъ гонораръ, получилъ задатокъ, написалъ условіе и немедленно предложилъ приступить къ дѣлу, то есть уничтожить одну довѣренность, дать другую и затѣмъ взять дядюшку на цугундеръ.

— У него рыльце непременно въ пушку, и вы молитесь Бога, чтобы не было еще поздно,—сказалъ онъ на прощанье, но за дѣло взялся энергично.

Иванъ Борисовичъ, послѣ визита Гуршина, прихворнулъ довольно сильно. Вздоновала ли его пылкая, страстная, изъ души вылившаяся рѣчь Гуршина или дурно повліяла на здоровье неудачно наложенная на пораненную щеку повязка, но только у него сдѣлался жаръ, сильно разболѣлась голова, явилось затѣмъ лихорадочное состояніе, и онъ очень тревожно провелъ ночь, въ которую Акимъ Осиповичъ катилъ домой на курьерскомъ поѣздѣ.

Иванъ Борисовичъ засыпалъ тяжелымъ сномъ, но вскорѣ просыпался отъ душившаго его кошмара весь въ холодномъ поту. Выпивая нѣсколько глотковъ воды, онъ ложился навзничъ и лежалъ съ открытыми глазами, думая невеселыя думы...

Вспомнилась прожитая жизнь.

Кутежи, лихорадочная дѣятельность по торговлѣ, волненіе изъ-за рубля, который добывался опять-таки для кутежа, — вотъ чѣмъ была наполнена его жизнь до разоренія. Мелькали иногда свѣтлые образы любимыхъ женщинъ, но сейчасъ же пропадали, словно туманомъ застилавались, и тотъ туманъ шелъ отъ дикихъ оргій, въ которыхъ гибли и деньги, и силы, и эти любимыя женщины. Сколько было сдѣлано ихъ несчастными, и какъ ужасно онъ погибъ!.. За что? За то, что не могли устоять противъ соблазна и любили, прельщенные ласковыми рѣчами, блескомъ тряпокъ, мишуры. А вотъ пришло и разореніе. Все отнято, все пропало. Еще вчера бросалъ онъ на вѣтеръ сотни тысячъ рублей, а сегодня не было уже на приличный обѣдъ. Еще вчера десятки друзей были готовы идти за него въ огонь и воду, а сегодня они отворачивались и не узнавали. Наступили годы мелкихъ хлопотъ и заботъ, униженій. Путемъ лести, обмана, подленькаго искательства, пропское было получено довѣріе свояченицы и ея сына, и снова настала сытая, беззаботная жизнь, снова явилось высокомерное презрѣніе къ человѣку, у котораго въ карманѣ рублемъ меньше, чѣмъ у него. Этого благополучія оказалось мало — захотѣлось имѣть рублей все больше и больше. И вотъ началось обкрадываніе простоватаго племянника. Пошла цѣлая война подпольныхъ, выходокъ противъ достоянія родственника, возведена система ловкаго мошенничества, и какъ радовало это мошенничество, съ какимъ страстнымъ нетерпѣніемъ ожидался желанный день, въ который все будетъ его, въ который въ рукахъ окажется много-много рублей!.. А зачѣмъ эти проклятыя рубли? Вѣдь каждый изъ нихъ унесетъ по клочку здоровья, каждый изъ нихъ отниметъ по минутъ жизни, каждый изъ нихъ укоротитъ дорогу къ темной могилѣ. Опять начнутся оргіи, опять полетѣтся море шампанскаго, опять будутъ мелькать личики хорошенькихъ жен-

щинъ, которыхъ будутъ губить этими рублями... И такъ до могилы... А тамъ?...

Иванъ Борисовичъ въ ужасѣ повернулся на бокъ и пытался заснуть. Однако сонъ не шелъ, его замѣнилъ тяжелый кошмаръ. Снились Бусовъ, Марина, Гуршинъ. Вотъ люди, которые умѣютъ жить, которымъ любовь даетъ не минутное наслаждение, а цѣлую жизнь, полную радостей. Они страдаютъ, эти хорошие люди... Эта Марина... Какъ она хороша и какъ ей много выпало на долю муки и страданій!.. А онъ еще прибавилъ на нее тяжелый камень... За что? За что сидитъ въ тюрьмѣ этотъ Бусовъ?

Иванъ Борисовичъ снова вскакивалъ и принимался молиться. Кто знаетъ, будь у него въ эту страшную ночь подъ руками револьверъ, онъ, быть можетъ, всадилъ бы себѣ пулю въ лобъ! Что ни говори, а чѣмъ удобнѣе способъ подъ руками отправить себя на тотъ свѣтъ, тѣмъ скорѣе это дѣлается. Но Иванъ Борисовичъ не застрѣлился; онъ проснулся на другой день поздно, значительно похудѣвшимъ, желтымъ, слабымъ.

— Акимъ Осиповичъ пріѣхали,—сообщилъ ему лакей, полагая ему одѣваться.

— Да? Былъ у меня?

— Никакъ нѣтъ - съ... пріѣхали утромъ, кушали кофе и уѣхали... Теперь, кажется, дома. Прикажете доложить, что вы проснулись?

— Нѣтъ! Запри за собою двери, и, если онъ придетъ, то скажи, что я сплю... Боленъ, скажи!

— Слушаю-съ! Къ вамъ приходилъ тотъ господинъ, который былъ вчера, но я не могъ принять—вы почивали..

— Гуршинъ? Ахъ, жалъ!.. Если онъ придетъ опять, немедленно пусти; если буду спать—разбуди!

— Слушаю-съ! Прикажете подать чай?

— Да. Подай мнѣ зеркало!

Иванъ Борисовичъ даже головой покачалъ, увидѣвъ въ зеркалѣ осунувшееся, желтое лицо съ воспаленными глазами.

Гуршинъ къ нему болѣе не приходилъ, и Лоскутниковъ провелъ этотъ день совершенно одинъ, не приказавъ никого принимать. Ночь прошла такъ же тревожно. Къ думамъ о бесполезно прожитой жизни, къ горькому раскаянію во всѣхъ гадкихъ, эгоистичныхъ, наглыхъ дѣлахъ присоединилось еще новое мученье: стало страшно за возможность быть открытымъ въ своей преступной, направленной противъ племянника, дѣятельности. Въ тяжеломъ забытѣ представлялись судъ, позоръ, ссылка, грезились различные ужасы, разстроенное воображеніе рисовало страшныя картины.

На разсвѣтъ Иванъ Борисовичъ всталъ, прошелся по комнатѣ, сѣлъ у стола и закурилъ сигару.

— Все это—пустяки!—вдругъ проговорилъ онъ.—Все это—мелочь, жизнь не въ томъ. Пусть судятъ, пусть усылаютъ, куда хотять, это все равно... Надо искать чего-то другого или же умереть... А это все — ложь, ложь, ложь!.. Ухъ, какъ вдругъ легко стало, когда сознался себѣ въ этомъ! Вотъ заря начинающагося дня — пусть этотъ день будетъ днемъ моей новой жизни!

Онъ жарко помолился, легъ въ постель и заснулъ крѣпкимъ, живительнымъ сномъ.

Разбудилъ его какой-то шумъ за дверями кабинета.

— Не могу я пустить, если мнѣ это не приказано!—говорилъ убѣдительнымъ тономъ лакей Ивана Борисовича.—Опять же они больны и почиваютъ!

— Да нужно, страшно нужно, пойми ты это!—отвѣчалъ топорливый и видимо тревожный голосъ Гусарчикова. — Ужъ ты пусти, а я самъ отвѣчать буду. Пусти, непременно пусти, а не то я просто отсюда крикну Ивану Борисовичу! Вѣдь дѣло, вотъ какое, по самое горло нужно!

Лоскутниковъ взглянулъ на часы. Было около двѣнадцати.

— Кто тамъ?—крикнулъ онъ.—Впустите!

Гусарчиковъ бомбой влетѣлъ въ спальню Ивана Борисовича, отдѣленную отъ кабинета портьерой. Видъ франтоватаго помощника бухгалтера былъ довольно странный: его модный галстухъ развязался и висѣлъ бокомъ, всегда расчесанные а-ла-капуть волосы были сбиты, лицо выражало ужасъ. Онъ задыхаясь остановился у кровати и перевелъ духъ.

— Важныя вѣсти, Иванъ Борисовичъ!—выговорилъ Гусарчиковъ и опустился на стулъ, забывая почтительность къ благодѣтелю.

— Что такое, дружокъ, что случилось?—совершенно хладнокровно спросилъ Иванъ Борисовичъ, протягивая руку за сигарами.

— Вотъ онъ... пусть онъ уйдетъ,—кивнулъ Гусарчиковъ на лакея, бросившагося подать сигары.

— Тайна, стало быть?—улыбнулся Иванъ Борисовичъ.—Продолжительныхъ тайнъ не бываетъ, братъ, все равно узнается. Днемъ раньше, днемъ поздиѣе, а узнается... Выйди, Степанъ!

Гусарчиковъ проводилъ лакея тревожнымъ взглядомъ и поспѣшно досталъ изъ кармана номеръ газеты.

— Вотъ... Вотъ взгляните!—сунулъ онъ газету хозяину.

— Что такое?.. Дай-ка пенсне.

Иванъ Борисовичъ надѣлъ пенсіе, взялъ газету, прищурился и съ разстановкою прочелъ указанное Гусарчиковымъ мѣсто:

— „Симъ уничтожаемъ общую на веденіе всѣхъ нашихъ дѣлъ довѣренность, данную московскому первой гильдіи купцу Ивану Борисовичу Лоскутникову. Вдова первой гильдіи купчиха Лукерья Лоскутникова, купеческій сынъ Акимъ Лоскутниковъ“.

Иванъ Борисовичъ отложилъ газету и затынулся сигарой.

— Ну, такъ что же?—спросилъ онъ.

— Какъ такъ „что же“?—изумился Гусарчиковъ.—Да вѣдь это... это что же такое?

— Уничтоженіе данной довѣренности, милый. Это значитъ, что мои довѣрители спохватились во-время, и наша роль ловкихъ обкрадывателей кончена.

— Да что же теперь-то будетъ?.. Вѣдь... вѣдь въ конторѣ присяжный повѣренный Подноготный! Всѣ книги у него, касса запечатана!..

— Уже? Проворно дѣйствуютъ!

— Что же будетъ-то? Господи!.. Успокойте вы меня, Иванъ Борисовичъ, вѣдь я съума готовъ сойти!.. Вы, стало быть, надѣетесь выйти сухимъ?

— Нѣтъ, голубчикъ, не надѣюсь.

Гусарчиковъ поблѣднѣлъ.

— Что? Какъ не надѣетесь?—воскликнулъ онъ вскакивая.

— Такъ. Вотъ, если бы прошло еще мѣсяца полтора, мы вышли бы сухими и богатыми, ну, а теперь мы выйдемъ мокрыми курицами и нищими!.. Ха-ха-ха!

— Вы шутите... Но я умоляю васъ сказать все серьезно! Вы понимаете, что я чувствую?

— Скверно долженъ чувствовать, я это понимаю и говорю тебѣ совершенно серьезно: мы пропали..

— Пропали? Какъ пропали?

— Такъ... Наше дѣло сорвалось. Видалъ пьесу „Свадьба Кречинскаго“? Вотъ какъ у Кречинскаго сорвалось, такъ и у насъ.

— Господи! — Гусарчиковъ закрылъ лицо руками и точно упалъ на стулъ.—Но вы... вы покойны,—съ дрожью въ голосѣ заговорилъ онъ,—стало быть, вы надѣетесь? Быть можетъ, я... я одинъ погибну?..

— Оба, милый!

— И это—правда?.. И вы не шутите? Стало быть, все пропало?.. Нищій и... и въ Сибирь!.. Охъ, мои батюшки!.. Охъ!—и Гусарчиковъ, упавъ на колѣна и склонивъ голову на кровать, глухо зарыдалъ.

— Полно, Гусарчиковъ, перестань!—спокойно обратился къ

нему Иванъ Борисовичъ.—Мы, братъ, какъ воины на войнѣ: шли воевать, ждали побѣды, анъ попали въ плѣнъ! Неужели ты не зналъ, что воруя можно попасться?

Гусарчиковъ всталъ и смахнулъ съ лица слезы.

— За что же ты погубилъ меня?—злобно обратился онъ къ Ивану Борисовичу.—Ты, ты погубилъ меня! Ты училъ, ты втравилъ меня въ это дѣло!

— Вотъ послѣ этого ты—негодяй!—съ отвращеніемъ поморщился Иванъ Борисовичъ.—Этого не сдѣлаешь и послѣдній ворюшка, таща кошелекъ изъ кармана вмѣстѣ съ пріятелемъ, а потомъ обвиняя этого пріятеля. Это ужъ подло и гадко. Ступай отсюда! Мнѣ гадко не то, что я хотѣлъ обворовать племянника, а то, что у меня былъ сообщникъ такой негодяй, какъ ты. Иди!—Иванъ Борисовичъ позвонилъ.—Убери отсюда этого господина!—приказалъ онъ лакею, кивнувъ на Гусарчикова.

Послѣдній отстранилъ взявшаго было его подъ-руку лакея и шатаясь вышелъ изъ кабинета.

Черезъ часъ Иванъ Борисовичъ, тщательно выбритый, умытый, элегантно одѣтый, вошелъ въ кабинетъ своего племянника. Акимъ Осиповичъ сидѣлъ у письменнаго стола и, играя часовой пѣлочкой, слушалъ знаменитаго адвоката, который сидѣлъ на диванѣ, подогнувъ подъ себя одну ногу, болтая другой и куря сигару. Тутъ же около сына сидѣла Лукерья Федоровна.

Появленіе Ивана Борисовича произвело впечатлѣніе своею неожиданностью и видимо всѣхъ крайне удивило. Акимъ Осиповичъ покраснѣлъ и какъ-то сконфуженно потупилъ глаза, вскинувъ ихъ сперва съ удивленіемъ и даже съ испугомъ на дядю: старуха поджала губы и даже измѣнилась въ лицѣ; адвокатъ прищурился, вскинулъ на носъ пенсне и перемѣнилъ позу.

Иванъ Борисовичъ сдѣлалъ легкій общій поклонъ и подошелъ къ племяннику.

— Здравствуй, Кима, ты поправился, поноблилъ,—поздоровался онъ, цѣлуя племянника, а затѣмъ сѣлъ и повидимому спокойно закурилъ сигару.—Ну, Кима, хорошо, что ты во-время пріѣхалъ и во-время успѣлъ остановить руку своего дяди, которая, нагло, братъ, залѣзла въ твой карманъ. Каюсь, хотѣлъ ограбить тебя! Тебѣ, а равно и твоей матушкѣ, нѣтъ надобности знать, почему это я такъ прямо говорю, что хотѣлъ ограбить тебя, какая внутренняя работа вызвала во мнѣ признаніе, можетъ быть, кажущееся тебѣ и всѣмъ тутъ находящимся наглымъ. Но не въ этомъ дѣло. Да, пожалуй это признаніе и лишнее. Господинъ адвокатъ уже конечно успѣлъ найти преступленіе. Прости, не суди очень строго! Всѣ мы хороши. Лег-

кая нажива соблазнительна, а деньги я люблю... любить. Ну, и не устоялъ, да, но правду сказать, и не пытался особенно устоять. Теперь въ волѣ вашей, Лукерья Федоровна, и твоей. Кима, предать меня суду, и я достоинъ наказанія; но не ради себя, а ради твоей, Кима, репутаціи, прошу васъ обоихъ кончить дѣло безъ суда. Ничего твоего еще не пропало, такъ брось все и предай забвенію. Я уйду отъ васъ, далеко уйду. Отпустите меня!—Иванъ Борисовичъ обратился къ адвокату:—Господинъ присяжный повѣренный, я увѣренъ, что мои родственники не будутъ противъ того, чтобы простить меня, и развѣ побоятся только, что изъ этого можетъ выдти что нибудь. Такъ убѣдительно прошу васъ увѣрить ихъ, что выдти тутъ ничего не можетъ, и научить, какъ оформить дѣло. Что касается меня, то я готовъ на все: готовъ даже отдать и лично, честно мнѣ принадлежащее.

Адвокатъ пыхнулъ сигарой и всталъ.

— По моему-съ, это самое лучшее, что можно придумать,—сказалъ онъ,—и я такому исходу весьма радъ. Ни они, ни я тутъ ничего не теряютъ, да и скандала нѣтъ, что конечно весьма желательно всѣмъ.

Общество должно было быть очень недовольно метаморфозой, происшедшей съ Иваномъ Борисовичемъ Лоскутниковымъ. Метаморфоза липила его разомъ трехъ громкихъ процессовъ: двухъ уголовныхъ и одного гражданского. Гражданское дѣло о растратахъ, подлогахъ и мошенничествахъ купца Ивана Борисовича Лоскутникова и мѣщанина Гусарчикова, слухъ о которомъ уже носился было, не состоялось, а два уголовныхъ дѣла—о покушеніи на убійство мѣщаниномъ Бусовымъ и о нанесеніи тяжкой раны купеческой женой Мариной Лоскутниковой—были прекращены по заявленію потерпѣвшаго, который заявилъ прокурору, что онъ на Бусова и на Лоскутникову показалъ по злобѣ.

Такъ какъ по послѣднему дѣлу свидѣтелей-очевидцевъ нанесенія раны вовсе не было, а свидѣтель по первому дѣлу—Гусарчиковъ—измѣнилъ свое показаніе и сообщилъ, что выстрѣлъ произошелъ лишь по неосторожности, то оба обвиняемые были освобождены изъ-подъ ареста и отъ суда, а дѣла ихъ прекращены.

XXI.

Оставивъ пока выпущенныхъ изъ-подъ ареста Марину и Бусова, мы займемся Гусарчиковымъ, который, несмотря на полную амнистію, рѣшился отмстить своимъ бывшимъ хозяевамъ и

выдумалъ для этого нѣчто совсѣмъ оригинальное. Чтобы прослѣдить за нимъ, читателю надо заглянуть въ новый мірокъ.

Въ небольшомъ номерѣ меблированныхъ комнатъ, заваленномъ разнымъ хламомъ, въ полдень сѣренькаго, туманнаго дня молодая, красивая женщина готовила обѣдъ на керосиновой кухнѣ, покрикивая на мальчика лѣтъ семи, который игралъ на стулѣ, изображая имъ лошадь. Мальчикъ кричалъ и хлопалъ веревочнымъ кнутомъ.

— Ты перестанешь или нѣтъ?—раздражительно спрашивала молодая женщина въ сотый разъ, не имѣя возможности оторваться отъ кипящей на керосиновой кухнѣ кастрюльки.

— А ты посмотри, мама, какъ ловко я вольтижирую! Гопъ!

Мальчикъ схватился за спинку стула, перекувыркнулся и оборвавшись полетѣлъ на полъ.

— Ай!—вскрикнула мать, бросивъ рыбу, которую она чистила, и подбѣжала къ мальчику, но, видя, что онъ живъ и не искалѣченъ, схватила его за шиворотъ, подняла и испачканными рыбьею шелухой руками надавала ему шлепковъ.

Мальчикъ ушелъ за занавѣску и легъ на кровать, негромко всхлипывая.

— Что, хорошо?—спросила его мать, снова берясь за рыбу.

— Не больно... не почувствовалъ ничего. Мсье Капито и не такъ бьетъ, когда я падаю въ манежъ, да я и то ничего!—сквозь слезы отвѣтилъ мальчикъ.—А только ты—злая. Я отмщу тебѣ, когда буду артистомъ, и ничего не буду давать тебѣ изъ жалованья, какъ не даетъ мистеръ Альфредъ своей старой матери, которая тоже била его. Злая, нехорошая!

Мать не слушала ворчанья своего сына и спѣшно рѣзала рыбу, опуская куски ея въ кипящую воду.

— Обѣдъ готовъ?—отворяя дверь и входя въ комнату, спросилъ высокій, тощій человѣкъ лѣтъ сорока.—Нѣтъ еще, по обыкновенію? Что за проклятая жизнь! Измучаешься, какъ собака, устанешь и придешь домой къ пустому столу!

Онъ сбросилъ съ себя пальто, швырнулъ шляпу и сѣлъ на первый попавшійся стулъ. Этотъ худой, казавшійся старше своихъ лѣтъ, человѣкъ былъ очень измученъ и утомленъ. Темные, глубоко ушедшіе въ орбиты, глаза какъ-то тускло глядѣли на свѣтъ, словно ихъ легкимъ туманомъ задернуло. Губы были блѣдны и плотно сжаты; щеки ввалились; красивый, правильный носъ заострился точно у мертвеца. Онъ былъ хорошо сложенъ и мускулистъ, но теперь его грудь опустилась, ввалилась, а плечи повисли.

— Всю жизнь одну и то же—беспорядокъ и небрежность!—продолжалъ онъ ворчать.—Еще ни разу не приходилъ я къ го-

товому обѣду или ужину... ни разу въ теченіе восьми лѣтъ супружеской жизни!

— Но ты забываешь, Гриша, что вѣдь я тоже была на репетиціи и вернулась только сейчасъ,—кротко замѣтила молодая женщина, торопливо приготавливая обѣдъ.

— Гм... и ужасно трудная репетиція выдти въ пантомимѣ и изобразить влюбленнаго пейзажа! Ты могла бы раньше встать, все заготовить и...

— Не ворчи, не ворчи, все готово, садись! Сегодня твоя любимая селянка изъ малосольной бѣлуги. Водки принесъ?

Мужъ не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, а просто досталъ изъ кармана пальто бутылку водки, откупорилъ ее, сѣлъ за столъ и, залпомъ выпивъ двѣ рюмки, закусилъ кускомъ огурца.

— Поль, обѣдать!—крикнулъ онъ.

Мальчикъ вышелъ, утирая глаза рукавомъ фланелевой рубашенки.

— О чемъ плакалъ?—коротко спросилъ его отецъ, снова наливая водки.

— Дѣлалъ вольтажъ, упалъ, а она побила!—кивнулъ мальчикъ на мать.

— За дѣло, такъ и надо!

— Она была не за то, что я плохо сдѣлалъ вольтъ, а за то, что я испугалъ ее,—объяснилъ мальчикъ.

— Ага! Ну, я побью потомъ за неумѣнье. Давай же, Адель, селянку! Славный запахъ вареной рыбы... и вкусно очень. Ты стала недурно готовить, Адель. Вотъ теперь я выпью еще не одну, а цѣлыхъ пять рюмокъ! Ты сердисься за это, Адель?

— Вѣдь тебѣ вредно такъ много пить,—замѣтила жена и стала накладывать на тарелку мужа селянки, выбирая лучшіе куски рыбы.

— Вадоръ! Вино веселитъ сердце. Русскому человѣку веселіе пить—это князь Владиміръ сказалъ. Ты не знаешь, кто былъ князь Владиміръ, Адель, а я знаю. Я всю русскую исторію знаю. Ахъ, Адель. Адель, если бы не ты, я, быть можетъ, былъ бы чѣмъ нибудь побольше второго клоуна въ провинціальномъ циркѣ. Ты обидѣлась, что я сказалъ это, Адель?

— Я привыкла слышать, что загубила твою жизнь,—отвѣтила молодая женщина, пожимая плечомъ.

— Бѣдная! Прости меня, не сердись! Нѣтъ, Адель я все равно былъ бы чѣмъ нибудь очень жалкимъ, какъ всякій самоучка. Я выпью еще одну рюмку, Адель, я страшно усталъ. Сегодня я репетировалъ новое антрэ. Я объявилъ войну нашему любимцу публики, этому ифменскому клоуну Кристофу, хочу затмить его. Ахъ, если бы мнѣ мою прежнюю силу! Ушла она,

вся ушла. Но я поспорю съ этимъ нѣмцемъ! Вообрази, Адель, какую выдумалъ я штуку: я въ комическомъ видѣ продѣлываю все то, что дѣлаетъ нашъ знаменитый Джэкъ, все, рѣшительно все! Я упражняюсь на турникѣ, влѣзаю на лѣстницу безъ опоры, дѣлаю сальто-мортале! Я пересыпаю все это массой острыхъ, смѣшныхъ словъ и падаю разъ по пятидесяти, прежде чѣмъ исполню то или другое упражненіе. Публика будетъ хохотать до упада! Да. Но какъ мнѣ тяжело достаются эти паденія! Я—старая собака. Адель, у меня кости стали болѣть. Да, сегодня ночью я стоналъ отъ боли вотъ въ этомъ мѣстѣ плеча.

— Напрасно ты выдумалъ это антрэ, Гриша; можно бы ограничиться тѣмъ, что ты дѣлаешь,—сказала она, подавая второе блюдо—кусокъ жареной говядины.

— Да? Ты думаешь? А знаешь, что сказалъ мнѣ этотъ жидъ, нашъ директоръ? Онъ сказалъ: „Джемсъ Бейтъ, вы стали страшно однообразны въ своихъ антрэ; ваши шутки древни, какъ міръ, а члены перестали быть гибкими и сильными. Вы излѣнились, Джемсъ Бейтъ, или устарѣли. И въ томъ, и въ другомъ случаяхъ вы становитесь не нужны“. Вотъ что сказалъ мнѣ нашъ директоръ.

Клоунъ откинулся на спинку кресла и посмотрѣлъ на жену. Его лицо стало теперь красно, глаза искрились, углы губъ поднялись, на впалыхъ щекахъ игралъ багровый румянецъ. Онъ выпилъ еще двѣ рюмки водки, съѣлъ кусокъ мяса и закурилъ окурокъ сигары.

Его жена задумчиво разрѣзывала яблоко и давала его по маленькимъ кусочкамъ сыну.

— Нѣтъ, Адель, не напрасно я выдумалъ это антрэ,—продолжалъ клоунъ.—Мнѣ надо кормить и одѣвать себя, тебя и сына, который будетъ... А чѣмъ онъ будетъ, Адель?

Адель пожала плечами.

— Неужели такимъ же фигляромъ, какъ и я?—продолжалъ отецъ.—О, нѣтъ... Мы образуемъ его, онъ пойдетъ по другой дорогѣ... а я... я—ничтожество! А вѣдь были хорошіе дни у меня, слава была, торжество... Масса народа, блескъ огней, и я—сильный, ловкій, веселый—выхожу, сверкая причудливымъ костюмомъ. Я смѣшу, фиглярствую, но я слышу громъ аплодисментовъ, крики восторга—и я счастливъ. Видно, человекъ всегда гонится за тѣмъ, чтобы имъ постоянно восторгались... Ха-ха-ха!.. Я—клоунъ; я, костромской мѣщанинъ Григорій Пантелеевичъ Коромысловъ.—артистъ Джемсъ Бейтъ! Я—англичанинъ... Меня мать ребенкомъ звала „ахтеромъ“ и била за это актерство страшно. А я все бѣгалъ въ театръ, гдѣ мой батька держалъ вѣшалку, и восторгался. Ушелъ потомъ изъ дома и поступилъ

на сцену статистомъ. О, Господи, какъ мнѣ хорошо было, когда я выходилъ на сцену въ латахъ, съ мечомъ, въ блестящемъ шлемѣ или въ яркомъ костюмѣ боярина. Я думалъ, что вся публика на меня глядитъ, любитъ мною! Потомъ, Адель, мнѣ удалось получить роль и со словами. Я скопилъ десять рублей и далъ ихъ одному актеру, чтобы онъ внезапно заболѣлъ передъ самымъ началомъ. Этотъ актеръ получалъ двадцать пять рублей въ мѣсяцъ и игралъ гонимовъ, палачей, тюремщиковъ и маленькихъ злодѣевъ. Онъ внезапно напился пьянъ, его оштрафовали пятью рублями, а его роль дали мнѣ. Надо было играть разбойника, который выходитъ и говорить про одну дѣвицу: „Не трудись, атаманъ, тебѣ не разбудить ея; она не дышитъ, она умерла!“. Я до сихъ поръ помню эту роль; я мечталъ играть ее цѣлую зиму и все училъ. Я одѣлся, навѣшалъ на себя кинжаловъ, ножей, пистолетовъ, мнѣ придѣлали громадные усы. Я вышелъ... Суфлеръ подаль мнѣ мои слова, но я ничего не слышалъ, ничего не видѣлъ. Я замеръ на мѣстѣ... Атаманъ ждалъ, бросая на меня грозные взгляды; суфлеръ десятый разъ кричалъ мнѣ мою фразу. „Не раструдишься, атаманъ, тебѣ не умереть ея—она не дышитъ!“—сказалъ я. Я слышалъ потомъ хохотъ публики, видѣлъ, какъ опустили занавѣсъ, чувствовалъ, какъ этотъ самый атаманъ, которому я провалилъ роль, схватилъ меня за волосы. Меня прогнали... это было въ Перми, давно, далеко отъ моей родины! Уйдя со сцены, я служилъ на кирпичномъ заводѣ, потомъ былъ половымъ, лакеемъ у одного помѣщика. Этотъ помѣщикъ держалъ домашній театръ, и я... я сталъ у него первымъ актеромъ. Я игралъ Веллизарія, Ляпунова, Гамлета. И я думалъ, что хорошо играю; это думали и всѣ, кто былъ у насъ въ театрѣ. Но въ одинъ день я слетѣлъ съ пьедестала величія. Видишь, Адель, какъ я умѣю говорить!.. Я былъ въ городѣ и видѣлъ хорошаго актера, который игралъ Гамлета. Я бѣжалъ отъ своего помѣщика и поклялся никогда не играть. Я утопиться хотѣлъ—такъ мнѣ было больно, гадко, стыдно, главное—стыдно. Въ Сибири былъ, на югѣ былъ... Помнишь, Адель, Симферополь? Я увидалъ тебя тогда въ циркѣ и влюбился. Адель, если бы на тебѣ не было тогда бархатнаго спенсера и розовой атласной юбочки, я, быть можетъ, и не замѣтилъ бы тебя!.. Бархатный спенсеръ и коротенькая юбочка сдѣлали меня женатымъ человѣкомъ. А трудно было добиться мнѣ этого, Адель! Я поступилъ въ циркъ чѣмъ-то вродѣ конюха... Помнишь? Сталъ учиться гимнастикѣ, ѣздѣ, бывалъ статистомъ и наконецъ дѣйствующимъ лицомъ. Насмѣшили ролью какого-то мельника публику, и меня стали ставить

на афишу. Потомъ я сталъ клоуномъ. Ты вышла тогда за меня, вѣдь я получалъ сто рублей въ мѣсяцъ, а ты была маленькой артисткой. Было счастье, Адель. Я смѣшилъ публику отъ души и своей собственной веселостью заражалъ другихъ. Теперь не то.

Клоунъ опустилъ голову, пососалъ потухшую сигару, бросилъ ее и налилъ рюмку водки.

— Не пей!.. будетъ, Григорій,—сказала жена.

— Теперь не то!—повторилъ клоунъ, выпивая рюмку.—Мнѣ стыдно теперь! Рожа въ мѣлу, на плечахъ шутовской нарядъ, въ сердцѣ тоска, боль, а я говорю смѣшныя слова, чувствую, что они выходятъ не смѣшны, и думаю: „А чѣмъ будетъ мой сынъ?“. Если я не буду кривляться и зарабатывать этимъ кривляніемъ деньги, онъ будетъ паяцомъ, балаганщикомъ, кривлякой или сапожникомъ, грязнымъ мастеровымъ, не умѣющимъ даже читать, а если буду кривляться, то я могу дать ему образованіе. Но не стыдно ли будетъ ему, когда онъ взрослымъ вспомнитъ своего отца?.. И встанетъ предъ нимъ его отецъ, какъ живой, въ дурацкомъ колпакѣ, въ погребушкахъ, кривляется. Онъ на потѣху толпѣ... Вѣдь больно будетъ Полю. И, чѣмъ больше онъ будетъ образованъ, тѣмъ противнѣе ему будетъ казаться занятіе его отца. Отецъ—шутъ, отецъ—фигляръ. Адель, вѣдь Полю во снѣ будетъ сниться его отецъ, идущій на головѣ по грязной аренѣ цирка, кривляющийся, искажающій образъ человѣческій. Нѣтъ, пусть онъ лучше будетъ коммерсантомъ!.. Поль, гдѣ трапезія?.. Аллэ наверхъ! Подай мнѣ хлыстъ!.. Ну, эйнгъ, цвей, дрей... Н-ну, живо!

— Не кричи, Гриша, Поль легъ спать. Бѣдный мальчикъ плохо спалъ ночь, его вчера учили новому приему, и мсье Капито очень больно побилъ его. Легъ бы и ты, Гриша; вѣдь часа черезъ три надо идти на представленіе.

Адель иѣжно провела по волосамъ мужа и поцѣловала его въ лобъ. Онъ лѣниво отвѣтилъ на ея поцѣлуй и пошелъ за перегородку; вскорѣ оттуда послышался храпъ—клоунъ уснулъ.

Молодая женщина прибрала въ комнату и сѣла у окна чинить какой-то пестрый, сшитый изъ ярко краснаго атласа костюмъ. Не проработала она и часа, какъ въ дверь кто-то постучался.

— Войдите!—крикнула молодая женщина.

Дверь открылась, и въ комнату вошли молодой человѣкъ, франтовато одѣтый въ пальто съ дорогимъ бобровымъ воротникомъ, и довольно обдерганный субъектъ неопредѣленныхъ лѣтъ, съ еврейскимъ типомъ лица.

— Артистъ Джемсъ Бейтъ здѣсь живетъ?—спросилъ молодой человѣкъ, поклонившись хозяйкѣ.

— Да... Вамъ его нужно?—отвѣтила та.

— Нужно-съ. Вы вѣроятно—его супруга?

— Я—его жена. Потрудитесь присѣсть, я сейчасъ разбужу его; онъ спитъ.

Молодая женщина пошла за перегородку и не особенно-таки скоро разбудила своего крѣпко спавшаго мужа. Тотъ всталъ наконецъ, умылся, одѣлъ новый сюртукъ и вышелъ къ посѣтителямъ.

— Имѣю честь кланяться!—вѣжливо поклонился онъ.—Чему обязанъ честью видѣть васъ у себя?

— Да вы отлично говорите по-русски! — удивился молодой человекъ. — А я думалъ, что вы ни слова не знаете, слыша васъ въ циркѣ и зная вашу иностранную фамилію, такъ что вотъ переводчика взялъ съ собою. Это — господинъ Шмерцъ, коммисіонеръ, а я — московскій купецъ Андрей Ивановичъ Гусарчиковъ.

— Очень пріятно,—поклонился клоунъ и пригласилъ гостей садиться.

— У насъ, господинъ Бейтъ, есть до васъ дѣло,—заговорилъ послѣ нѣкотораго молчанія Гусарчиковъ, снова принявшій свой франтоватый видъ и самодовольныя манеры, тѣмъ болѣе что тутъ онъ сказался купцомъ, каковымъ и выглядѣлъ дѣйствительно въ своемъ дорогомъ костюмѣ, съ брилліантовыми перстнями на пальцахъ, съ массивной цѣпью на жилетѣ.—Дѣло очень серьезное и для васъ не безвыгодное.

— Я слушаю-съ,—поклонился клоунъ.

— Шмерцъ сообщилъ мнѣ, что вы завѣдуете постановкой пантомимъ въ вашемъ циркѣ, который между прочимъ очень хорошъ и не уступаетъ любому изъ петербургскихъ и московскихъ. Вы завѣдуете?

— Да, я.

— Отлично идетъ у васъ это дѣло и по комизму вы, честное слово,—первый клоунъ!

Клоунъ поклонился. Гусарчиковъ снова подумалъ минуты двѣ и потомъ храбро продолжалъ:

— Дѣло мое состоитъ вотъ въ чемъ: не можете ли вы въ пантомимѣ изобразить одну исторію изъ мѣстной жизни, которую я вамъ подробно сообщу? Исторія, знаете, очень курьезная и будетъ имѣть успѣхъ, такъ что вы получите десятка два полныхъ сборовъ; кромѣ того я готовъ заплатить вамъ за постановку ея извѣстную сумму. Исторія, говорю, интересная—и у васъ она выйдетъ чудо, какъ смѣшна и потѣшна, а ужъ публика останется довольна. Дѣйствующія лица этой исторіи хорошо извѣстны въ Москвѣ и все—большіе негодаи...

— Негодяи? сифонять клоунов.

— Страшные! Я, видите ли, хотѣлъ на театрѣ ихъ изобразить, да, говорятъ, это очень трудно, и притомъ я не знаю, какъ это сдѣлать; ну, а вамъ - то это совсѣмъ легко, такъ вотъ мнѣ и господинъ Шмерцъ передавалъ... Можно, господинъ Бейтъ?

Клоунъ задумался.

XXII.

Въ циркѣ, пріѣхавшемъ въ Москву на праздничные дни и помѣстившемся въ одномъ изъ временныхъ балагановъ, дѣла шли совсѣмъ плохо: циркъ сборовъ не дѣлалъ, такъ что ему грозило полное разореніе, какъ вдругъ въ одинъ изъ вечеровъ на представленіе собралась масса публики, и публики все дорогой, такъ что были заняты первыя мѣста партера и почти всѣ ложи. Директоръ цирка недоумѣвалъ и только руки потиралъ отъ удовольствія, сидя въ кассѣ и видя, какъ шкатулка кассира наполняется деньгами.

— Что-то сегодня необычайное дѣлается, господинъ Смитъ! — замѣтилъ кассиръ, обращаясь къ директору, только что отрывавъ послѣдній билетъ перваго ряда.

— Да, я и самъ удивляюсь! Мы продали весь первый и второй ряды, почти всѣ ложи, а публика все прибываетъ... и публика все богатая. Смотрите, какой народъ: бобы, бархатъ, соболь. Очень странно!

— Быть можетъ, это потому, что мы ставимъ новую пантомиму? — сдѣлалъ догадку кассиръ.

— О, нѣтъ!.. Мы бывало ставили болѣе десяти блестящихъ пантомимъ съ балетомъ, съ разными заманчивыми обѣщаніями, а сборовъ все не было, сегодня же пантомима хотя и новая, но вовсе не заманчивая. Кого можетъ привлечь пантомима съ простымъ заглавіемъ: „Жена и два мужа, или ай-да баба—всѣхъ провела!“? Нѣтъ, это что нибудь не то. Впрочемъ Джемсъ Бейтъ говорилъ мнѣ, что эта пантомима дастъ сборъ. Однако пора идти начинать.

Въ ожиданіи начала представленія публика вела разговоры.

— Ба, Петръ Ивановичъ! — весело привѣтствовалъ красивый, не старый еще купецъ въ шинели съ бобрами другого купца, совсѣмъ уже пожилого, съ сѣдою бородою. — И вы въ балаганъ собрались? Вотъ ужъ не ожидалъ-то!

— Со всей фамиліей пріѣхалъ, двѣ ложи взяли, — отвѣтилъ купецъ и наклонился къ уху знакомаго. — По особенному случаю попали!

— Не письмо ли получили?

— Да... А ты какъ это узналъ?

— Да и я получилъ, и братъ Иванъ, и теща!..

— Да неужто? Знать, всей Москвѣ разосланы письма-то! И-ну, оказія!.. Что тебѣ пишутъ?

— Вотъ оно, письмо-то, у меня!—Купецъ въ шинели досталъ изъ кармана письмо, написанное четкимъ почеркомъ, и прочелъ: — „Милостивый Государь! Если Вы завтра пріѣдете въ циркъ Смита, то будете имѣть удовольствіе видѣть изображенную въ пантомимѣ хорошо знакомую Вамъ исторію. Неизвѣстный“.

— Вотъ такое же и я получилъ,—сказалъ старикъ.—Что за штука такая—очень любопытно знать!

— Не выдумка ли это директора цирка ради сбора?

— Иѣтъ, какъ возможно! За это отвѣтить во-какъ!

Въ ложахъ между дамами шли разговоры тоже о полученныхъ анонимныхъ письмахъ, приглашавшихъ пріѣхать въ циркъ, гдѣ въ пантомимѣ будетъ изображена хорошо извѣстная исторія. Дамы были въ сильно возбужденномъ состояніи и съ нетерпѣніемъ поглядывали на часы, ожидая начала представленія.

При самомъ началѣ въ одну изъ ложъ вошла Лукерья Федоровна Лоскутникова съ сыномъ и какой-то родственницей. Всѣ бинокли направились на эту ложу и во всѣхъ мѣстахъ послышался сдержанный шепотъ, а кое гдѣ злорадный смѣхъ.

Лукерья Федоровна, закутанная въ дорогую соболью шубу, сѣла въ углу ложи и гордо отвернулась отъ публики, слегка кивнувъ головой на поклонны многочисленныхъ знакомыхъ. Акимъ Осиповичъ напротивъ того сѣлъ на самомъ виду и, облокотившись о барьеръ ложи, разглядывалъ публику въ бинокль, довольно смѣшно ломаясь и съ улыбкою раскланиваясь со знакомыми. Онъ и Лукерья Федоровна тоже получили письма съ анонимнымъ приглашеніемъ быть сегодня въ циркѣ. Оба они догадались, что за знакомую исторію будутъ представлять, и поѣхали, сгорая нетерпѣніемъ видѣть представленіе и недоумѣвая, кто—затѣйщикъ этого дѣла. Сильное было подозрѣніе на Марину Григорьевну и на Бусова, изъ которыхъ первая жила у отца послѣ освобожденія изъ-подъ ареста, съ согласія Лукерьи Федоровны, которая хотѣла подумать пока, чѣмъ кончить дѣло.

Публика ложъ и креселъ усиленно занималась теперь разговорами о Лоскутниковыхъ.

— Сама пріѣхала, вотъ диво-то!—сказала полная, красивая купчиха въ ложѣ, разглядывая въ бинокль Лоскутникову.

— Да, странно. Она вѣдь лѣтъ десять никуда не выѣзжала въ увеселительныя мѣста,—отвѣтилъ мужъ купчихи.

— А ужъ особенно послѣ скандала-то ихъ. Даже къ род-

нымъ, даже въ церковь не ѣздила. Ужъ не ихъ ли это исторію представлять-то будутъ?

— А пожалуй, что такъ. Потому, видно, старуха-то и прикатила.

— Вотъ скандалъ-то!

— П-да! А все бабы, все вы.

— Ну, ужъ и вы хороши! Вонъ муженекъ-то сидитъ, въ усь не дуесть, зубы еще скалитъ!

Представленіе началось.

Публика, видимо скучая, просидѣла два отдѣленія, глядя на хорошо всѣмъ знакомыя прыганье, черезъ и сквозь разные предметы, упражненія на лошадяхъ и съ лошадьми, гимнастику и тому подобное. Но вотъ кончился послѣдній антрактъ, и всѣ взгляды устремились на особо устроенную для пантомимъ сцену, закрытую занавѣсомъ. Раздался звонокъ; капельмейстеръ взмахнулъ палочкой, и занавѣсъ поднялся при звукахъ оркестра.

Сцена представляла залъ, ярко освѣщенный люстрами и канделябрами. По обѣ стороны сидѣли гости, изображающіе купцовъ и купчихъ въ каррикатурномъ видѣ. Въ углу стояли музыканты, загримированные евреями. Гости подъ звуки игривыхъ мотивовъ оркестра сильно жестикулировали и кривлялись. При появленіи официанта, который объяснялъ знаками, что пріѣхали молодые, всѣ встали, а музыканты начали дѣлать видъ, что играютъ на своихъ скрипкахъ безъ струнъ и обклеенныхъ золотою бумагою трубахъ. Изъ боковыхъ дверей вышла старуха для встрѣчи молодыхъ съ хлѣбомъ и солью. Въ публикѣ раздался сдержанный смѣхъ: старуха довольно удачно была загримирована Лукерьей Федоровной, видимо по ея портрету. При звукахъ „Персидскаго марша“ выходная дверь отворилась, и въ залъ торжественно вошли „молодые“, которыхъ играли клоунъ Джемсъ Бейтъ и его жена. Публика опять засмѣялась и уже совсѣмъ громко. Бейтъ былъ поразительно похоже загримированъ Акимомъ Осиповичемъ. Не сиди самъ Акимъ Осиповичъ въ ложѣ, можно было подумать, что онъ одѣтъ комическій фракъ и невозможно узенькія брюки и вышелъ на сцену. Жена Бейта не была похожа на Марину, но явилась очень хорошенькой и эффектной въ своемъ вѣнчальномъ платьѣ.

Публика точно по командѣ перевела бинокли со сцены на ложу Лоскутниковыхъ. Старуха сидѣла въ глубинѣ, плотно занахнувшись шубой, сжавъ губы и гнѣвно сверкая глазами. Акимъ Осиповичъ ерзалъ на стулѣ, показывалъ видъ, что улыбается, но его лицо то блѣднѣло, то покрывалось ярко-красными пятнами.

На сценѣ развивалось дѣйствіе пантомимы. „Молодые“ обо-

шли поздравлявшихъ ихъ гостей и сѣли, причемъ мѣста пообѣ стороны „молодой“ заняли два франта. Мужъ повертѣлся около нихъ, глупо разводя руками и безпомощно улыбаясь, и наконецъ отошелъ въ сторону къ столу съ закусками, гдѣ и принялся пить рюмку за рюмкой. Его мать подбѣжала къ нему и стала показывать на „молодую“, у которой франты цѣловали руки, передавая ей записки. Потомъ мать и сынъ подбѣжали къ франтамъ и начали ихъ оттаскивать; однако тѣ ловко увертывались и снова занимали свои мѣста. Открылся балъ. „Молодой“ все время пытался танцовать съ женой, но она отказывала ему и танцевала съ ухаживавшими за нею франтами, а мужъ только бѣгалъ и кончилъ тѣмъ, что пошелъ танцовать съ матерью: послѣ того какъ Акимъ Осиповичъ потерялъ надежду танцовать съ женой, онъ уткнулся въ уголъ и заревѣлъ, и тогда мать подошла къ нему, утерла ему слезы полою платья и пошла съ нимъ отплясывать какой-то танецъ, незамѣтно перешедшій въ камаринскій. Публика галерки заржала отъ удовольствія, видя, какъ сѣдая старуха плясала камаринскаго съ сильно выпившимъ молодымъ. Наконецъ балъ кончился, гости стали уходить, причемъ желали всего лучшаго не „молодому“, а его счастливымъ соперникамъ.

Сцена второго дѣйствія представляла роскошную комнату „молодыхъ“. Новобрачная въ кружевномъ пеньюарѣ сидѣла у стола и читала полученныя на балу записки. Прочитавъ ихъ, она проворно одѣлась, забрала изъ комода пачку денегъ и брилліанты и, выставивъ изъ окна раму, бѣжала, причемъ оркестръ игралъ: „Пропaday моя телѣга, всѣ четыре колеса!“. Затѣмъ, при звукахъ вульгарной пѣсенки „Шли три онѣ, а за ними онъ“, въ комнату вошелъ „молодой“, сильно пошатываясь. Его жена убѣгая погасила свѣчи, и въ комнатѣ было темно. Обманутый мужъ, задѣвая за мебель и роняя разные предметы, долго искалъ жену, потѣшая публику и безпрестанно падая. Наконецъ вбѣжали мать и прислуга, и всѣ принялись искать „молодую“, заглядывая подъ столъ, въ ящики комода, въ коробки туалетнаго столика; не найдя ничего, прислуга ушла, а мать принялась таскать сына за волосы, чѣмъ второе дѣйствіе и кончилось.

Третье дѣйствіе происходило въ той же комнатѣ. При поднятій занавѣса мать „молодого“, онъ самъ и его родственникъ, загримированный очень похоже Иваномъ Борисовичемъ, отчего публика снова пришла въ восторгъ, сидѣли за столомъ, накрытымъ краснымъ сукномъ, причемъ мать какъ бы изображала предсѣдателя, а мужчины—членовъ суда. Дворники ввели связанную „молодую“, одѣтую въ арестантскій халатъ. Начался

судь, во время котораго родственникъ очень ловко и усердно таскалъ изъ кармановъ „молодого“ и его матери деньги и пряталъ ихъ себѣ за голенища сапогъ, строя рожи и кривляясь. Бѣглянку присудили приковать на цѣпь, а сторожемъ къ ней поставили родственника. Однако, какъ только всѣ удалились, онъ освободилъ молодую. принесъ ей платье и шубу и собрался съ нею бѣжать, показывая ей награбленные деньги; но „молодая“, ласковая съ нимъ во время освобожденія, вдругъ схватила откуда-то взявшуюся вилку и ударила этой вилкой его по лицу, а сама побѣжала къ окну и сдѣлала какіе-то знаки; на нихъ явились два ухаживавшіе за нею франта и снова похитили ее въ окно, захвативъ всѣ награбленные родственникомъ деньги.

Пантомима кончилась очень живою картиною, которая изображала „молодую“ въ сопровожденіи двухъ франтовъ въ глубинѣ сцены, лежащаго на полу родственника съ окровавленнымъ лицомъ и „молодого“ съ матерью, стоящихъ въ комическихъ позахъ съ вывороченными карманами. Все это освѣтилось бенгальскимъ огнемъ, и занавѣсъ опустился при оглушительныхъ аплодисментахъ публики, жадно слѣдившей за пантомимой.

Когда бинокли дамъ снова направились на ложу Лоскутниковыхъ, тамъ уже никого не было. Нѣкоторые видѣли, что съ Лукерьею Федоровной сдѣмалось дурно и ее вынесли изъ цирка и посадили въ карету.

Публика разѣхалась и разошлась; балаганъ опустѣлъ. Директоръ, очень довольный отличнымъ сборомъ, угощалъ исполнителей пантомимы и ея автора, Джемса Бейта, виномъ въ сосѣднемъ трактирчикѣ.

Къ столу этой компаніи подошелъ человекъ высокаго роста, просто, но прилично одѣтый, и обратился къ директору:

— Вы—директоръ цирка, господинъ Смитъ?

— Директоръ? О. да, я,—отвѣтилъ тотъ вставая.

— Я хотѣлъ бы поговорить съ вами по очень важному дѣлу.

— Гаврить? Вы знайтъ гаврить по-англійски или по-нѣмски?

— Нѣтъ, я не говорю. Ахъ. это очень жаль!—и господинъ оглянулся, отыскивая кого-то.

— Вамъ что угодно?—обратился къ нему виновникъ торжества, клоунъ Джемсъ Бейтъ.—Я могу перевести господину директору ваши слова.

— Ахъ, очень радъ. Вы—клоунъ Джемсъ Бейтъ?

— Къ вашимъ услугамъ.

— А я—московскій житель, Павелъ Петровичъ Бусовъ. Я

хотѣлъ бы знать, кто авторъ ирранной сегодня пантомимы и откуда взять ея сюжетъ?

— Гм...—усмѣхнулся клоунъ.—Авторъ—я, какъ и вообще всѣхъ даваемыхъ у насъ пантомимъ, ну, а что касается до сюжета, такъ я вамъ сказать это не могу.

— Конечно потому, что вы не знаете, имѣю ли я право спрашивать о сѣ этомъ?

— Да-сѣ, хотя бы и потому.

Бусовъ подумалъ минуту.

— Вы—англичанинъ, господинъ Бейтъ?—спросилъ онъ.

— Официально—да, для публики, а на самомъ дѣлѣ я — русскій.

— А, очень радъ; съ соотечественникомъ пріятно имѣть дѣло. Такъ позвольте теперь спросить васъ, господинъ Бейтъ, честный вы человѣкъ или нѣтъ?

Клоунъ сдѣлалъ шагъ назадъ и оглянулъ собесѣдника нѣсколько театральнымъ взглядомъ съ головы до ногъ.

— Я вижу, что вы—честный человѣкъ, — продолжалъ Бусовъ, — потому вижу, что вы покраснѣли, а глаза ваши вспыхнули; это бываетъ только у честныхъ людей. Теперь я буду говорить съ вами прямо: въ этой пантомимѣ задѣта честь хорошей, доброй, высокочестной, святой женщины, и вообще вся эта пантомима—гнусный пасквиль, инсинуація. Вы должны, во-первыхъ, снять ее со сцены, если только полиція не пригласитъ васъ сдѣлать это, а, во-вторыхъ, должны сказать мнѣ, кто вамъ далъ сюжетъ для нея? Повторяю, здѣсь задѣта честь женщины, и женщины для меня дорогой, и если вы не скажете мнѣ добровольно...

— Не грозите! — перебилъ клоунъ, — я угрозы не боюсь и ваши предыдущія слова подѣйствовали на меня болѣе, чѣмъ угроза. Здѣсь, говорите вы, задѣта честь женщины?

— Да, и хорошей женщины!

— Знаете что, приходите завтра ко мнѣ, и мы поговоримъ съ вами. Если я буду убѣжденъ въ правотѣ вашихъ словъ, я все скажу вамъ и... покажу того человѣка, который далъ мнѣ сюжетъ.

Бусовъ пожалъ руку клоуна, поклонился его компаніи, съ любопытствомъ слушавшей ихъ разговоръ, и вышелъ изъ трактира.

Джемсъ Бейтъ отошелъ за сосѣдній столикъ, спросилъ себѣ пива и глубоко-глубоко задумался.

На другой день рано утромъ Бусовъ пришелъ къ клоуну. И самъ Джемсъ Бейтъ, и его тихая, задумчивая жена произвели на Павла Петровича самое выгодное впечатлѣніе, и онъ послѣ

часовой бесѣды съ клоуномъ съ жаромъ, съ увлеченіемъ разсказалъ ему всю исторію Марины.

Клоунъ внимательно, и не проронивъ ни единого слова изъ разсказа, выслушалъ Бусова и, когда тотъ кончилъ, пожавъ ему руку, съ чувствомъ сказалъ:

— Простите меня и попросите за меня прощенія у этой особы, если мой поступокъ причинилъ ей какое нибудь горе. О, какъ я раскаиваюсь во всемъ. Глупый, дикій я человѣкъ! Вѣдь я думалъ, что я какое нибудь общественное дѣло дѣлаю, ставя эту писквильную пантомиму, думалъ, что обличаю зло, порокъ. Повѣривъ этому проходимцу, этому намазанному франту. Погоди же, придетъ онъ ко мнѣ!

— А Гусарчиковъ хотѣлъ быть у васъ?—спросилъ Бусовъ.

— Да. Онъ за постановку этой пантомимы обѣщалъ мнѣ заплатить, но я еще, слава Богу, не такъ низко палъ, чтобы брать, за подобныя вещи деньги, и сказалъ ему, что напротивъ я ему заплачу, если онъ говоритъ правду и пантомима дастъ сборъ.

— Ну, и что же?

— Онъ согласился, и конечно придетъ.

— Негодай!.. Прощайте, господинъ Бейтъ, я уйду, такъ какъ не могу поручиться за себя, что не избыю этого негодая, а въ своемъ положеніи я очень далекъ отъ желанія снова попасть въ исторію... Сохрани Богъ!..

— Нѣтъ, вы останьтесь. Уйдите за перегородку, я самъ не допущу васъ до исторіи и возьму на себя трудъ объясниться съ этимъ господиномъ. Вы увидите, что у клоуна есть тоже душа, и сердце, и чувство. Останьтесь, дорогой мой, мнѣ это очень желательно.

Бусовъ согласился.

Жена клоуна приготовила завтракъ, подала бутылку вина, и Джемсъ Бейтъ разговаривая выпилъ стакана три. Онъ всегда дѣлался болтливъ и откровененъ выпивши, а потому разсказалъ Бусову всю свою жизнь съ мельчайшими подробностями. Этотъ разсказъ очень заинтересовалъ молодого человѣка; нравственный портретъ комедіанта, какъ самъ себя называлъ Бейтъ, все болѣе и болѣе выяснялся предъ нимъ, и клоунъ все болѣе и болѣе начиналъ ему нравиться.

За разговоромъ время прошло незамѣтно. Но вотъ около часа пополудни въ дверь номера постучались.

— Это—онъ!—шепнулъ клоунъ.—Идите за перегородку!..

Бусовъ удалился.

XXIII.

Въ комнату вошелъ Гусарчиковъ.

— Господину Джемсу Бейтъ мое особенное почтеніе!—развязно поздоровался онъ, подавая клоуну руку.—Ну, что, батенька, каковъ сборикъ-то взяли?.. А? Рѣдкостный сборикъ!...

— Да, сборъ хорошъ,—сухо отвѣтилъ клоунъ.

— Хорошъ!.. Не то что хорошъ, а великолѣпенъ! Вы не скромничайте, почтенный, не наводите тумана-то!—Гусарчиковъ сѣлъ и, закуривъ сигару, спросилъ:—вы конечно помните, господинъ Джемсъ, наши условія?

— Это вы насчетъ чего?—въ свою очередь спросилъ клоунъ.

— А насчетъ процентовъ со сбора.

— А!.. Хорошо, вы получите свою часть. Но дѣло-то вотъ въ чемъ: вѣдь вся эта наша затѣя съ этой пантомимой—одна сплошная низость...

Гусарчиковъ даже брови поднялъ отъ неожиданнаго оборота рѣчи.

— То есть какъ это? Какъ это низость?—съ величайшимъ изумленіемъ спросилъ онъ.

— Да такъ! Съ моей стороны больше глупости, ну, а вы дѣйствовали, какъ самый патентованный негодяй.

Гусарчиковъ измѣнился въ лицѣ и смущенно проговорилъ:

— Я не понимаю... Это очень странно... тутъ вышли какія нибудь сплетни! Во всякомъ случаѣ я попрошу васъ такъ не выражаться!

— Это вы насчетъ слова „негодяй“? Я вамъ скажу, что вы—негодяй, вы не безпокойтесь.

— Въ такомъ случаѣ я лучше уйду... я не желаю,—и Гусарчиковъ поднялся.

— А, нѣтъ, погодите!—усадилъ его клоунъ.—Вы сперва выслушайте, что я вамъ скажу. Вы дѣйствовали въ данномъ случаѣ вотъ какъ: надумавъ посредствомъ пантомимы насолить ничего, кромѣ хорошаго, не дѣлавшимъ вамъ людямъ, вы еще захотѣли и выгоду извлечь изъ этого, то есть, опозоривъ ихъ, взять съ нихъ деньги за снятіе пантомимы со сцены, удѣливъ для этого отъ сорваннаго куша частицу мнѣ или директору. Это называется очень некрасивымъ именемъ! Но все это—еще ничего, главное не въ этомъ, а въ томъ, что вы ради наживы задумали опозорить хорошую женщину и исказили ея исторію, передавая ее мнѣ. Такъ ли было на самомъ дѣлѣ, какъ вы мнѣ передавали? Вѣдь не такъ!.. Ага, молчишь, поблѣднѣлъ, негодный человѣчишко! Что сдѣлала тебѣ эта женщина? Ты мстилъ ей только за то, что тебѣ не удалось продать ее, за то, что

человѣкъ, которому она дорога, называть тебя настоящимъ именемъ!.. А какъ ты поступилъ съ этимъ человѣкомъ? Бусова знаешь?.. Знаешь, что ли?.. Говори!.. Что языкъ-то прикусилъ?

— Я... я не подавалъ по... повода... Вы... вы не имѣете права называть меня на „ты“.

— Что-о? Ха-ха-ха!.. Скажите, какая щепетильность! Да я еще бить тебя буду!

Гусарчиковъ быстро всталъ и схватился за шапку.

— Сиди!—крикнулъ клоунъ.—Если еще разъ пошевелишься, пришибу на мѣстѣ!

— Господинъ Бейтъ, вы оставьте... не трогайте меня... Если, можетъ, вамъ Бусовъ говорилъ что нибудь, такъ вы не вѣрьте. Если онъ обѣщалъ вамъ заплатить, такъ у него ничего нѣтъ... Я вамъ больше заплачу.

— Ишь, аршинникъ, все на рубли мѣряетъ! Я—комедіантъ, я—гаеръ, но я—честный человѣкъ и меня не купишь! Мнѣ сказали, что ты—негодяй, и я вижу, что это—правда! Ты продалъ Бусова, хотѣлъ ограбить своего благодѣтеля и потомъ опозорилъ еще его! И ни капли раскаянія, ни капли совѣсти!—Клоунъ всталъ и трагически ударилъ себя въ грудь кулакомъ.—Если бы ты зарыдалъ, если бы ты поникъ головою и сказалъ мнѣ: „Ты—правъ, я поступилъ, какъ негодяй“,—я подаль бы тебѣ руку примиренія. А ты лжешь и оправдываешься!..

— Господинъ Джемсъ! да, ей-Богу же, я невиновенъ!—заговорилъ Гусарчиковъ.—Вы позвольте, я вамъ доказательства принесу... Это вамъ Бусовъ все наговорилъ, такъ онъ вретъ!.. Это—самый зловредный человѣкъ, и его прогнали хозяева за его низости.

— За какія же именно, господинъ Гусарчиковъ?—раздался позади него ровный, спокойный голосъ.

Гусарчиковъ вскочилъ и оглянулся. Предъ нимъ стоялъ Бусовъ.

Если бы въ комнатѣ грянулъ громъ, если бы произошло что нибудь невѣроятное и чрезвычайное, Гусарчиковъ болѣе поразиться и изумиться не могъ, какъ теперь. Онъ сперва отступилъ шага на два назадъ, широко открылъ глаза и поблѣднѣлъ, какъ полотно.

— Ахъ, это—вы!.. Это вотъ кто, вотъ кто... Я... я виновать!—упавшимъ голосомъ произнесъ онъ.

— Вы—жалкій человѣкъ, Гусарчиковъ!—съ гадливымъ чувствомъ отвращенія глядя на своего бывшего сослуживца, проговорилъ Бусовъ.—Отпустите его, Джемсъ, пусть онъ идетъ!..

Джемсъ Бейтъ театральнымъ жестомъ указалъ на дверь и крикнулъ:

— Вонъ!

Гусарчиковъ съежился весь, наклонился и, точно ожидая удара въ спину, вышелъ изъ комнаты.

— Его и бить-то противно!—замѣтилъ Джемсъ Бейтъ.—И съ такимъ неголяемъ у меня было что-то вродѣ компаніи, такому негодяю я довѣрилъ и съ его словъ забросалъ грязью хорошихъ людей... Простите меня Христа ради, Бусовъ! Предайте всю эту гадость мою забвенію, если это возможно.

— Я уже и предалъ все забвенію! — пожалъ Бусовъ руку клоуна.—Но что мы сдѣлаемъ теперь? Вѣдь вашъ директоръ, взявъ такой сборъ, непременно захочетъ повторить эту пантомиму?

— Никогда! Во-первыхъ, эта пантомима все же—моя собственность, во-вторыхъ, я скажу ему, что ставить ее запретила административная власть, а, въ-третьихъ, самъ не буду играть въ ней, безъ меня же она идти не можетъ.

— Да, но вѣдь тогда у васъ можетъ произойти разрывъ съ директоромъ?

— Пусть! Мнѣ вдругъ, безповоротно опротивѣла моя профессія, и я брошу ее. Я найду другое дѣло и хоть трудомъ носильщика, да только не этимъ, прокормлю свою семью!.. Адель, хочешь новой жизни?

Жена Джемса улыбнулась и проговорила:

— Хочу, но вѣдь это не легко, Джемсъ!

— Пустое!.. Поищемъ—найдемъ.

Бусовъ посидѣлъ еще съ часъ и ушелъ, разставшись съ клоуномъ большимъ другомъ...

Потрясающее впечатлѣніе произвела на Лукерью Федоровну пантомима. Она рыдала всю дорогу изъ цирка, а, пріѣхавъ домой, въ сильнѣйшемъ истерическомъ припадкѣ упала на постель въ своей комнатѣ и своими дикими криками перепугала весь домъ. Послали за докторомъ, но Лукерья Федоровна не приняла его, а приказала подать себѣ чая и позвать сына.

— Зачѣмъ посылалъ за докторомъ?—спросила она у него, почти успокоившись и лишь дрожа всѣмъ тѣломъ, закутанная въ шубу.—Тутъ развѣ докторъ поможетъ!

— Думалъ, что вамъ дадутъ какогонибудь успокоительнаго, мамаша,—робко глядя на мать, проговорилъ Акимъ Осиповичъ.

— Ничего не надо... Садись вотъ тутъ, налей мнѣ чая!..

Акимъ Осиповичъ исполнилъ то и другое.

— Каковы штуки устраиваетъ намъ твоя супруга?—продолжала старуха,—красавица-то твоя, прелестница-то.

— Можетъ быть, мамаша, это и не она-съ... Вѣдь и она выставлена въ пантомимѣ въ некрасивомъ видѣ.

— А ей, паглой, развѣ не все равно? Она, непременно она! Да это все равно, она или не она. Черезъ нее, ради нея... Она сдѣлала насъ несчастными, она погубила весь домъ нашъ!.. Она... Слышишь ты?.. Она!

Старуха какъ-то взвизгнула послѣднее слово.

— Да, мамаша, точно что... Всему виною она,---поспѣшно согласился Акимъ.

— А мы ее на всѣ стороны отпустили, иди-де, матушка, живи на волѣ, надругайся надъ нами! И надругается!.. Еще не то придумаетъ!.. Она не придумаетъ—дружки милые придумаютъ.

Старуха почти бросила на столъ допитую чашку и закрылась руками.

— Срамъ-то, срамъ-то какой! Господи! Вся-то Москва собралась на наше позорище глядѣть... Смѣются, злорадствуютъ, зубы скалятъ, оглядываются на насъ!—Она вскочила и, сверкая глазами, подошла къ сыну.—Завтра же водворить ее въ твой домъ!—крикнула она.—Слышишь? Чтобы завтра же она была здѣсь!

— Мамашенька, да на что же она мнѣ?

-- Дуракъ! На то, чтобы она жила тутъ, а не на волѣ, на то, чтобы люди не смѣли ничего говорить... Я ее зубами загрызу, жилы изъ нея вытяну, а добьюсь того, что она наружно будетъ твоей вѣрной и любящей женой. Пусть она ненавидитъ тебя, а въ людяхъ вы—законные мужъ и жена и она любить тебя. Пусть улыбается въ людяхъ, пусть свое довольство показывается!.. Не позволю срама на свой домъ!.. Никогда!.. Я Марину въ гробъ вгону, въ Сибирь сама уйду, а заставлю ее быть вѣрной женой и изъ своего дома не отпущу! Завтра же ее сюда и завтра же въ театръ съ нею, въ ложу, на гулянье; пусть тѣ, которые хохотали надъ нами сегодня, знаютъ, что все это—вздоръ, что супруга Акима Осиповича Лоскутникова живетъ съ нимъ въ ладу и согласіи. Понялъ теперь?

-- Понялъ, мамаша.

— Ну, завтра же и поѣзжай за нею!.. Если откажется ѣхать, а отецъ ея сторону возьметъ, къ начальству поѣдешь, право на нашей сторонѣ... Ты мнешься что-то, Акимъ?—Старуха указала на иконы. — Вотъ Господомъ Богомъ клянусь тебѣ, что, если завтра Маришка не будетъ у насъ, я тебя прокляну!

— Мамашенька!

— Прокляну, прокляну и уйду отъ тебя, все имѣніе чужимъ людямъ отдамъ... Ступай теперь спать, а я помолюсь... Помолю Господа, чтобы Онъ, Царь Небесный, послалъ всѣ невзгоды, всѣ

кары на эту окаянную женщину, которая отравила мнѣ жизнь. Ахъ, если бы старина, что бы я сдѣлала съ нею!

Старуха стиснула руки, въ бессильной злобѣ упала головой на столъ и снова зарыдала жгучими, мучительными, злыми слезами.

Акимъ Осиповичъ далъ ей выплакаться, почтительно поцѣловалъ руку и вышелъ.

„Что же мнѣ теперь дѣлать?—сталъ думать онъ, ложась на свою одинокую кровать.—Хорошо, если Марина согласится; а если нѣтъ? Сколько канители—то, хлопотъ! Въдь сезонъ начался, а тутъ тебѣ вонъ какая каша!.. Ловко насъ однако прохватили въ пантомимѣ этой!.. И придумали же, шельмы! Завтра надо къ начальству ѣхать, просить, чтобы запретили продолжать эту пантомиму. Неужели это Марина придумала? Ловкая она дѣвченка... и хорошенькая... очень даже хорошенькая! Собственно говоря, имѣть такую супругу не худо, красиво, пріятно. Приѣдешь въ театръ—и всѣ взоры на твою жену устремлены, а ты сидишь и знаешь, что она твоя... Пріятно, что и говорить! Я въдь тоже могу быть строгимъ, если захочу; такъ поверю, что въ колечко согнется!.. Поѣду завтра... А ну, какъ она меня тоже вилкой или тамъ Бусовъ какой нибудь изъ револьвера? Фу, гадость какая! Женятся же люди и все какъ быть слѣдуетъ, а у меня такая драма вышла, что ужасъ... или драма, или оперетка какая-то... Немного на Менелая похожъ я...—Акимъ Осиповичъ вскочилъ съ постели.—Такъ нѣтъ же, не Менелай я!—воскликнулъ онъ. — Я вамъ покажу, каковъ я! Одурачить меня захотѣли? Шалишь!.. Жаль, что мы дядю простили, надо бы его сперва подтянуть. Ну, да шутъ съ нимъ, я надъ другими покажу, каковъ я, если меня затронешь. Ну, а теперь спать, силы набраться для завтрашняго объясненія... А все-таки револьверъ я завтра съ собою возьму“.

Онъ позвонилъ.

— Изволили звать?—минутъ черезъ пять явился заспанный лакей, уже послѣ третьяго звонка.

— Изволилъ! А ты гдѣ былъ? Дрыхнулъ? Баринъ еще не спитъ, а вы уже на-боковую... Скоты, негодяи!.. Я васъ выучу... Распустили тутъ безъ меня, избаловали! Штрафами заколочу, вонъ гнать буду! Что всталъ? Раздѣвай!.. Я вамъ покажу, каковъ я!

— Виновать-съ, я полагалъ, что вы изволили уснуть.

— Молчать!—на весь домъ закричалъ Акимъ Осиповичъ.—Еще защитительныя рѣчи говорить вздумалъ?.. Н-ну!

Лакей получалъ отличное жалованье и кралъ раза въ три побольше этого жалованья, а потому мѣстомъ дорожилъ. Онъ

съ быстрою молніею раздѣлъ Акима Осиповича, уложилъ въ постель, укуталъ одѣяломъ и удалился на-ципочкахъ.

„Какъ я его пугнулъ!.. поблѣднѣлъ даже... Всѣхъ бы вотъ такъ-то пугать!“—подумалъ Акимъ Осиповичъ и сладко уснулъ.

XXIV.

Марина Григорьевна жила у отца жизнью затворницы, и рѣшеніе идти въ монастырь окончательно окрѣпло въ ней. Она даже рѣшилась не писать больше Гуршину, чтобы не смущать себя ничѣмъ. Дни ареста сильно повліяли на нее, и она все еще не могла опомниться отъ ужаса, точно проспавшись послѣ тяжелаго сна, точно во снѣ видѣла страшную сцену въ „Эрмитажѣ“ и все за нею послѣдовавшее. Когда ей объявили, что она свободна, и отпустили, она пріѣхала въ домъ отца въ какомъ-то полузабытьѣ и на вопросы старика о томъ, что съ нею произошло, почти не могла дать никакого отвѣта, плакала, просила у него прощенія и съ рыданіями сказала, почти падая въ его объятія:

— Въ монастырь, батюшка, въ монастырь!.. Покою хочу я, забыться хочу, а то я съума сойду!.. Страшно мнѣ, батюшка! Христа ради хлопочи, чтобы меня въ монастырь... скорѣе-скорѣе!

Старикъ глубоко вздохнулъ, велѣлъ служанкѣ отвести дочь въ ея комнату и ушелъ. Онъ рѣдко навѣщалъ послѣ этого Марину, словно боясь показать свою любовь, но все время ѣздилъ къ адвокатскимъ знаменитостямъ и узнавалъ, какъ удобнѣе и лучше получить его дочери разводъ, оставить мужа окончательно и уйти въ монастырь. Знаменитости пожимали плечами, рылись въ толстыхъ томахъ свода законовъ и говорили, что это очень трудно и требуетъ очень много усилій, но надежды старика не лишали и деньги у него брали охотно.

Однажды только было старикъ подумалъ ѣхать къ мужу дочери и объясниться съ нимъ, какъ къ его уединенному дому подъѣхала щегольская коляска, и лакей въ причудливой ливреѣ высадилъ на крыльцо барина въ шинели съ бобрами и въ блестящемъ цилиндрѣ.

— Кто это?—спросилъ старикъ Ладыжниковъ у подѣбжавшей къ окну служанки.

— Супругъ Марины Григорьевны, Акимъ Осиповичъ Лоскутниковъ, батюшка,—отвѣтила старая служанка.—Принимать?

— Принять... Да на вотъ денегъ, пошли дворника купить шампанскаго лучшаго, закусокъ какихъ тамъ надо, фруктовъ, что ли... Иди живѣе!..

Самъ старикъ проворно прошелъ въ свою уютную спальню, переѣмнилъ засаленный халатъ на сюртукъ и вышелъ въ залъ

со старинной мебелью, съ потемнѣвшими картинами духовнаго содержанія и портретами архіереевъ на стѣнахъ, съ горшками герани на окнахъ, съ ковравыми дорожками по направленію ко всѣмъ дверямъ.

Акимъ Осиповичъ во фракѣ, завитой, надушенный, но съ очень важнымъ и дѣловитымъ выраженіемъ на лицѣ, стоялъ посреди зала и игралъ шляпой.

— Уважаемому Акиму Осиповичу глубокое почтеніе!—низко поклонился старикъ.—Весьма лестно видѣть васъ... Прошу въ горницы пожаловать.

— Благодарю васъ! Я могу сказать о цѣли своего посѣщенія и здѣсь. Я долженъ объявить вамъ, что пріѣхалъ не какъ гость, а какъ... какъ дѣловой человѣкъ.—очень важно и величественно проговорилъ Акимъ Осиповичъ.

— Пусть такъ,—сказалъ старикъ, пожавъ плечами,—но все же прошу хоть присѣсть.

— Благодарю-съ.

Акимъ Осиповичъ сѣлъ, закинувъ ногу на ногу.

— Какъ здоровье вашей матушки?—освѣдомился старикъ.

— Она больна и не можетъ быть не больна, потому что ваша дочь принесла ей столько горя, что остается удивляться, какъ еще она жива! Наконецъ, помимо всего-съ, ваша дочь прибѣгла къ ужасной мѣрѣ и не ограничилась тѣмъ, что уже такъ страшно оскорбила нашъ домъ, а пошла далѣе... Вы не изволили вчера быть въ циркѣ?

— Въ циркѣ?—удивился старикъ.—Нѣтъ, батюшка, давно я отсталъ отъ этого, болѣе двадцати лѣтъ не бывалъ ни въ какихъ такихъ заведеніяхъ... А для чего вы спросили меня объ этомъ?

Акимъ Осиповичъ разсказалъ старику о пантомимѣ, подробно передавъ всю ея обстановку и содержаніе.

— Вотъ до чего мы дожили!—закончилъ онъ разсказъ.—И мы имѣемъ основаніе предполагать, что эта затѣя принадлежитъ вашей дочери.

— Недаромъ она, бѣдная, ушла отъ тебя, зятекъ!—сказалъ старикъ, покачавъ головой.—Ты хоть и женился на ней, и говорилъ, что любишь ее, а вовсе не знаешь, что она за человѣкъ!.. Нѣтъ, неспособна она на это. Она глупенькая была, способна была убѣжать отъ нелюбимаго мужа, какъ ребенокъ, но она добрая и честная... Слышишь, зятекъ?.. Да, она добрая и честная, и я, ея отецъ, не позволю оскорблять ее даже и тебѣ, ея мужу!.. Когда твой дядя сталъ прельщать ее льстивыми словами и оскорбилъ, она не подорожила собою и, честь

оберегаючи, чуть не убила его, а вѣдь твой дядя всѣ льготы ей общалъ; такъ, стало быть, она честная и тебѣ вѣрна. Эта гнусная выдумка ея, ты говоришь?.. Господи, да развѣ Маринушка способна на это? Да вѣдь она все у меня была, изъ горенки своей не выходила. И ты ее винишь въ такомъ дѣлѣ!.. Эхъ, зятекъ, зятекъ!

— Ну, хорошо... ну, положимъ, что это—не она, но тѣмъ не менѣе печальнымъ недоразумѣніемъ надо положить конецъ,—сказалъ Акимъ Осиповичъ.—Марина Григорьевна должна вернуться къ намъ въ домъ и быть официально моею женою.

Старикъ задумался.

— Вернуться моею супругъ домой необходимо ради сохраненія моею чести, чести нашего дома, наконецъ для того, чтобы зажать рты сплетникамъ!—продолжалъ Акимъ Осиповичъ.

— Да, да... Ну, а если она напимѣрь въ монастырь уйдетъ? Вѣдь это все покрываетъ и даже дастъ тебѣ право жениться на другой. Что ты скажешь на это?

— Гм... Не знаю... Я объ этомъ съ мамашей не говорилъ.

— Ты самъ-то разсуди, ты уже—взрослый, ты—мужъ. Быть въ послушаніи и въ повиновеніи у матери хорошо, похвально, но для такихъ дѣлъ надо имѣть своего царя въ головѣ.

— Ужъ, право, не знаю!—затруднился Акимъ Осиповичъ.—Я хотѣлъ бы поговорить объ этомъ съ Мариной Григорьевной.

— Можно... Я сейчасъ скажу ей.

— Позвольте! А она... она не покусится на мою жизнь?

Старикъ только засмѣялся па это и, разводя руками, пошелъ въ комнату дочери. Акимъ Осиповичъ оправился предъ зеркаломъ и принялъ живописную позу.

Въ сосѣдней комнатѣ зашуршало платье, и на порогъ зала показалась Марина Григорьевна, сопровождаемая отцомъ. Старикъ постоялъ секунду, точно раздумывая, войти ему или нѣтъ, указалъ потомъ жестомъ на Лоскутникова и удалился.

На Маринѣ было сѣренькое шерстяное платье, но она отъ этого нисколько не потеряла и казалась все-таки красавицей, несмотря даже на блѣдность и утомленный, печальный видъ.

Акимъ Осиповичъ всталъ и поклонился женѣ. Она подала ему руку. Мужъ и жена постояли такъ съ минуту и сѣли.

— Вы хотѣли меня видѣть?—спросила Марина, не поднимая глазъ.

— Да, я пріѣхалъ говорить съ вами. Между нами установились странныя отношенія... Какъ нибудь надо выдти изъ этого положенія.

Акимъ Осиповичъ робѣлъ предъ женою и чувствовалъ себя очень неловко. Не то, чтобы онъ считалъ себя виновнымъ, а

просто онъ конфузился предъ красавицей, надъ которою имѣлъ власть и которую ему рекомендовали „прибратъ къ рукамъ“.

— Акимъ Осиповичъ, — заговорила Марина, — я предъ вами много виновата, я много горя принесла вамъ и вашей матушкѣ, но вы сами были тому виною.

— Я? Чѣмъ же это я-то виновать?

— Вы не знаете? Вспомните, что вѣдь вы не спрашивали, охотно ли я иду за васъ. Вы совершили сдѣлку съ моимъ отцомъ и, не спросивъ меня, сдѣлали меня своей женой. Я конечно должна была сказать вамъ тогда, что не люблю васъ, что иду за васъ противъ своей воли, но у меня нехватило на это характера. Знаете, что? Мы оба виноваты съ вами и оба достаточно наказаны.

— Нѣтъ-съ, я не признаю себя виновнымъ! — покачалъ головой Лоскутниковъ. — Чѣмъ же я виновать? Не я отъ васъ бѣжалъ, а вы отъ меня, слѣдовательно вы и виноваты. И потому вы говорите, что мы оба наказаны. Это неправильно-съ! Я дѣйствительно наказанъ, опозоренъ, оскандаленъ, а вы что же? вы ничего. Пожили въ свое удовольствіе, потѣшили себя и только.

Марина горько улыбнулась. И Гуршинъ, и Бусовъ, и даже ея отецъ понимали, что ей не легко, что она сильно страдаетъ, а этотъ человѣкъ ничего не понимаетъ! Она пожила въ свое удовольствіе, думаетъ онъ.

— Ну, мы съ вами объ этомъ спорить не будемъ, — сказала Марина. — Хорошо, пусть я пожила въ свое удовольствіе; но чѣмъ теперь мы рѣшимъ?

— Теперь-съ? Теперь я желаю, чтобы вы шли ко мнѣ въ домъ и жили, какъ подобаетъ женѣ.

— О, нѣтъ, никогда! — съ содроганіемъ сказала Марина.

— То есть какъ это никогда? Я этого требую, и если вы добровольно не согласитесь, попрошу подлежащихъ властей.

— О, Боже мой, Боже мой! — простонала Марина.

— Я не понимаю, чего вы упрямитесь? — пожалъ плечами Акимъ. — Я вамъ все прощаю, мамаша тоже простить современнымъ, и мы заживемъ великолѣпно! Мало ли у кого нынѣ жены бѣгаютъ? Не мы—первые, не мы—последніе.

— Да поймите же вы, что я не люблю васъ, не могу любить! — воскликнула Марина. — Какая же будетъ наша жизнь? Боже мой, вѣдь я смотрю на бракъ очень высоко. Я думаю, что совмѣстная жизнь возможна лишь тогда, когда мужъ и жена любятъ другъ друга, когда между ними согласіе, дружба, когда они уважаютъ другъ друга.

— Все это—пустяки! — засмѣялся Акимъ Осиповичъ. — Ка-

кая тамъ дружба, какое тамъ уваженіе? Будемъ жить, какъ живетъ, и конецъ! Главное, чтобы толковъ не было, чтобы народу рты заткнуть.

— Ахъ, по-вашему, это—главное?

— Да, непременно-съ! И потому вотъ еще что: почему это вы меня не любите и не можете любить? Неужели я хуже когонибудь другого? Это меня и обижаетъ, и удивляетъ. Я всегда имѣлъ успѣхъ у женщинъ и нравлюсь очень многимъ, а вы... Страшно! Я еще понимаю, если бы васъ увлекъ какойнибудь дѣйствительный красавецъ, умникъ, знатный; опять какойнибудь артистъ, а то... Ха-ха-ха! Какой-то конторщикъ Бусовъ!

— Оставьте его, Акимъ Осиповичъ, онъ тутъ не при чемъ,—сказала Марина. — Я ушла отъ васъ не къ Бусову, а куда глаза глядятъ.

— Да-съ, однако вы любите его?

Марина подняла глаза на мужа, помолчала, подумала и потомъ рѣшительно, твердо проговорила:

— Да, я люблю его.

— Ну, вотъ, видите! Это меня и удивляетъ! Вѣдь это—ничтожество, дрянъ.

Марину точно обожгло. Она нервно двинулась на стулъ, стиснула руки и сверкнула глазами.

— Акимъ Осиповичъ, я умоляю... умоляю васъ, не оскорбляйте этого человѣка! — проговорила она. — Онъ—мой другъ. братъ. Вотъ въ углу икона моей покойной матери, и предъ этой иконою и памятью своей матери клянусь вамъ, что я не измѣняла вамъ и ваша честь не оскорблена.

Акимъ Осиповичъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на жену.

— Да?—протянулъ онъ.—Не понимаю! Гуршинъ этотъ... онъ тоже... Вы тоже не любили его?

— Любила и люблю, какъ брата. Я вамъ сознаюсь, что люблю Бусова, страстно, горячо люблю, но никогда не нарушу своего обѣта, Акимъ Осиповичъ, и буду вамъ вѣрна.

Лоскутниковъ съ удивленіемъ глядѣлъ на жену и слушалъ ея рѣчи, какъ что-то новое, странное.

— Да, вотъ какъ! Такъ пойдемте же ко мнѣ, будьте моею!—Голосъ Лоскутникова сдѣлался нѣженъ и ласковъ.—Будемъ жить. Я васъ буду любить и беречь. Вы не любите меня теперь, но полюбите потомъ и забудете этого Бусова. Пойдемте ко мнѣ! Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ васъ мнѣ, а меня—вамъ назначила судьба, отъ судьбы же не уйдешь.

— Акимъ Осиповичъ, — взяла его Марина за руку, — мнѣ жаль васъ! Ваше положеніе, преледа, некрасиво, и вамъ, должно быть, больно... не потому, что вы любите меня, нѣтъ. Полю-

бить такъ скоро нельзя, это—не любовь. Больно вамъ отъ людскихъ толковъ, отъ укоровъ вашей матери, отъ фальшиваго положенія. Я знаю это, но идти въ вашъ домъ, жить съ вами я не могу! Я умоляю васъ, на колѣнахъ умоляю! — Марина встала со стула и опустилась на колѣна.—Отпустите меня въ монастырь!

Лоскутниковъ поднялъ ее и усадилъ на стулъ.

— Но почему? Почему вы не хотите жить со мною?—спросилъ онъ.—Такая молодая, красавица и вдругъ въ монастырь.

— Ахъ, Акимъ Осиповичъ!—заломила Марина руки.—Да вы подумайте, какъ же я-то съ вами буду, если въ сердцѣ, въ мысляхъ у меня будетъ другой? Вѣдь это и надъ бракомъ, и надъ святымъ чувствомъ любви издѣваться, надругаться надо. Я буду вашей женою, а любить буду не васъ. О, нѣтъ, никогда! Это позорно, преступно!

— Ну, хорошо, ну, положимъ, что такъ; въ такомъ случаѣ живите у меня ради людей, ради того, чтобы надо мной не смѣялись, чтобы забыли мой позоръ и видѣли, что жена у меня, что все кончено. Моя мать этого хочетъ, требуетъ. По крайней мѣрѣ вы будете въ моемъ домѣ.

— Тяжело это... тяжело, Акимъ Осиповичъ, жить такъ...

— Ахъ, вамъ тяжело?—съ укоромъ проговорилъ Лоскутниковъ.—А мнѣ развѣ не тяжело? Зачѣмъ же такой эгоизмъ? Вы сдѣлали ошибку, что вышли за меня. Положимъ такъ! Но вѣдь вы не задумались такъ ли, сая ли поправить эту ошибку, вы ушли отъ меня, бросили меня. Вы отдали меня на посмѣище всему городу, на укоры родни, матери и не подумали, каково мнѣ это. Худо ли, хорошо ли вамъ было, а все-таки лучше, чѣмъ мнѣ: надъ женами, которыя мужей бросаютъ, никто не смѣется, смѣются надъ мужьями. И надо мною смѣялись, а мать упреками мучила. Вы погостили тамъ гдѣ-то, а потомъ вотъ въ монастырь хотите идти. А я при чемъ останусь? Мать-то вотъ сказала, что проклянетъ меня, наслѣдства лишитъ, если я васъ не верну. Ужъ если вы такая возвышенная, съ такими благородными взглядами, такъ умѣйте и страдать. Вамъ тяжело, неприятно жить подъ одной крышей со мною, а вы поборите это чувство, побѣдите себя. Сами вы говорите, что я вамъ Богомъ данъ, ну, такъ и не идите противъ воли Божьей! Еще неизвѣстно, что будетъ угоднѣй Богу: то ли, что вы въ монастырь уйдете, или мужа своего успокоите. Я, быть можетъ, пить начну, погибну изъ-за васъ! Я вотъ вамъ не рассказывалъ про пантомиму въ циркѣ, а вѣдь такая вещь чуть моей матери не убила, да и мнѣ ой какъ тяжело досталось!

— Какая пантомима? Что такое?—спросила Марина.

Акимъ Осиповичъ разсказалъ ей всѣ подробности о пантомимѣ и о впечатлѣніи, которое та произвела на него, на его мать и на публику. На этотъ разъ онъ точно дома забылъ всѣ свои манеры и былъ простъ, натураленъ и искрененъ. Отъ этого отсутствія обычнаго лманья Акимъ Осиповичъ много выигралъ и казался простымъ, милымъ человѣкомъ.

Марина слушала его съ глубокимъ вниманіемъ и думала, крѣпко думала. Когда ея мужъ кончилъ и даже прослезился, рисуя свое некрасивое положеніе, она пожала ему руку и сказала:

— Да, вы правы!

— Пойдете ко мнѣ? Пойдете?—радостно спросилъ Акимъ Осиповичъ, заглядывая ей въ лицо.

— Да. Но я попрошу васъ дать мнѣ подумать одинъ только день. Послѣзавтра прїѣдете къ намъ сюда, и я или пойду къ вамъ, или... рѣшусь умереть...

— О, нѣтъ, сохрани васъ Богъ! Я покоя не буду знать всю жизнь, если вы умрете изъ-за меня. Вы подумайте, я подожду день, а мамашѣ скажу, что вы согласились, но не совсемъ здоровы и докторъ не велѣлъ вамъ выходить. Заживемъ, хорошо заживемъ.

— Нѣтъ, хорошо мы не заживемъ!—сказала Марина, потупившись и покачавъ головой.—Буду я у васъ жить, но... по любить васъ я не могу. Такъ и говорю вамъ и обманывать не хочу.

— Будете любить Бусова?

— Да.

Марина встала, торопливо пожала руку мужа и быстро вышла.

— Ну, что? Какъ рѣшили?—спросилъ зятя тестъ, выходя изъ своей комнаты.

— Рѣшили, что ваша дочь будетъ жить со мною. Эхъ, тестюшка, тестюшка, хороша ваша дочь, ухъ, какъ хороша, да... любить-то она не меня! Прощайте!

— Погоди, зятекъ, посиди! Выпей чего нибудь!

Лоскутниковъ махнулъ рукой.

— Какое ужъ тутъ питье? Я ужъ сегодня выпью въ другой компаніи, да такъ выпью, какъ еще никогда не пивалъ! Прощайте!

XXV.

Гуршина было трудно узнать—такъ измѣнился онъ въ послѣдніе дни. Лицо похудѣло, было мертвенно-блѣдно, и вся жизнь сосредоточилась въ глазахъ, которые горѣли мрачнымъ

огнемъ. Но эти глаза рѣдко поднимались и рѣдко кто видѣлъ ихъ—его взоръ всегда былъ опущенъ. Да и мало кому показывался Семенъ Максимовичъ въ эти дни. Угрюмый, задумчивый сидѣлъ онъ у себя въ комнатѣ или сѣдлалъ коня и уѣзжалъ куда-то на цѣлые дни, а то такъ бродилъ съ ружьемъ, иногда не приходя домой и на ночь.

По освобожденіи Марины Григорьевны изъ-подъ ареста, Гуршинъ получилъ отъ нея письмо, въ которомъ она извѣщала его, что ее освободили, что она живетъ у отца и рѣшила идти въ монастырь. Онъ уже давно не пытался уговаривать ее отказаться отъ этого намѣренія—быть можетъ, потому, что Иванъ Борисовичъ нарисовалъ ему самыми мрачными красками портреты ея мужа и его матери. Иванъ Борисовичъ былъ у Гуршина и простился съ нимъ, объявивъ, что ѣдетъ въ Сибирь.

— Тамъ, говорятъ, нужны силы, нужны работники,—сказалъ онъ,—а я работать могу, и въ торговой, и въ промышленной дѣятельности кое что смыслю. А тутъ моя пѣсенка спѣта. Вы, Семенъ Максимовичъ, исцѣлили меня, глаза мои открыли, человѣкомъ меня сдѣлали, и мое вѣчное спасибо вамъ!

— Я тутъ не при чемъ,—угрюмо отвѣтилъ Гуршинъ.—Просто-напросто въ васъ не умеръ человѣкъ и жилъ гдѣ-то въ глубинѣ души. Пришло время—и этотъ человѣкъ проснулся. Я даже готовъ вѣрить, что при извѣстномъ толчокѣ извнѣ или изнутри каждый субъектъ можетъ стать хорошимъ, какимъ бы негодяемъ онъ ни былъ; вся разница только въ томъ, что одному субъекту этотъ толчекъ нуженъ одной силы, а другому—другой.

Иванъ Борисовичъ былъ послѣдній человѣкъ, съ которымъ Гуршинъ велъ въ эти дни болѣе или менѣе продолжительную бесѣду. Послѣ этого онъ не принималъ никого и самъ не бывалъ нигдѣ.

Къ нему какъ-то пріѣхалъ Бусовъ, но Гуршинъ показался ему на одну минуту, сказавъ:

— Извините меня, Павелъ Петровичъ, но я долженъ оставить васъ; у меня есть дѣло, нетерпящее отлагательства.

— Охота?—грустно улыбнулся Бусовъ, видя, что Гуршинъ просто избѣгаетъ его и уходитъ на охоту.

— Да, охота. Тетка приготовитъ вамъ все необходимое, угоститъ васъ, а я, простите, уйду.

— Я хотѣлъ поговорить съ вами о Маринѣ Григорьевнѣ, посоветоваться относительно нея.

— Говорить нечего—надо дѣлать, а посоветовать я вамъ ничего не могу... Прощайте!

Бусовъ конечно не удерживалъ Семена Максимовича и только

подивился силѣ страсти этого человѣка. Какъ ни былъ крѣпокъ и выносливъ Гуршинъ, но могучая страсть, охватившая его, поборола его, изломала и пригнула къ землѣ. Ея сила была больше его силы.

Такъ Гуршинъ и жилъ эти дни, ни съ кѣмъ не видясь, никого не принимая и почти ни съ кѣмъ не говоря. Старуха-тетка только вздыхала, глядя на него, но уговаривать, утѣшать его не смѣла. Она даже входить къ нему въ комнату боялась, опасаясь разбередить его раны лишнимъ словомъ, своимъ лишнимъ появленіемъ. Какъ-то рано утромъ она робко вошла въ комнату Семена Максимовича и остановилась въ дверяхъ, видя, что онъ сидитъ у окна въ глубокой задумчивости.

— Что тебѣ, тетка?—выходя изъ своей задумчивости и обочаиваясь къ вошедшей теткѣ, спросилъ Гуршинъ.

— Письмо вотъ изъ города, Сеня; можетъ, нужное, такъ я и принесла.

— Ладно... Брось его на столъ!

— Чай кушать будешь, Сеня?—спросила тетка.

— Чай? Принеси пожалуй стаканчикъ!

Старуха вышла, а Гуршинъ сталъ ходить по комнатѣ, закинувъ руки назадъ и опустивъ голову. Вдругъ онъ случайно взглянулъ на письмо и весь вздрогнулъ; краска разлилась по его лицу: онъ узналъ на адресѣ руку Марины.

— Милая, желанная!—прошепталъ онъ, взявъ письмо и прижимая его къ груди.—Что-то ты пишешь мнѣ, что сообщаемъ своему другу?

Онъ разорвалъ конвертъ и впился, такъ сказать, въ мелкія строки красиваго женскаго почерка.

„Дорогой Семенъ Максимовичъ!—писала Марина.—Еще такъ недавно писала я Вамъ, что иду въ монастырь, что это мое рѣшеніе безповоротно, а вотъ теперь извѣщаю Васъ, что я остаюсь въ міру. Не подумайте, дорогой другъ мой, что я такая нерѣшительная: причиной моего новаго рѣшенія послужило то обстоятельство, что я сознала, положительно сознала необходимость жить съ мужемъ. Онъ, этотъ нелюбимый мною мужъ, доказалъ мнѣ это. Онъ упрекнулъ меня въ эгоизмѣ, и я вполне согласилась съ нимъ. Я не имѣю никакого права замѣшивать въ свою судьбу счастье и покой другого человѣка. Я не имѣю права располагать собою, будучи связана клятвой съ другимъ человѣкомъ. Ночь, цѣлая бессонная ночь привела меня къ этому рѣшенію. Я теперь думаю такъ: какъ я не имѣю права отдаться другому человѣку, такъ не смѣю выбирать себѣ по произволу дорогу. Я должна идти туда, куда поведетъ меня мой

мужъ, такъ какъ я ему дала клятву предъ престоломъ Бога. Это—мое послѣднее рѣшеніе... До свиданья!..

„Пишу Вамъ потому, что привыкла бесѣдовать съ Вами во всякихъ важныхъ случаяхъ. Не жалѣйте меня очень; меня утѣшаетъ мысль, что я могу сдѣлать добро моему мужу и тѣмъ людямъ, которые зависятъ отъ него. Утѣшаетъ еще и то, что, быть можетъ... я не вынесу всѣхъ этихъ волненій, не вынесу окончательной разлуки съ Б... и умру. О, какъ бы я хотѣла теперь умереть! Ваша Марина.

„Р. S. Пишу Вамъ „до свиданья“ потому, что надѣюсь сперва заочно, а потомъ и лично познакомить Васъ со своимъ мужемъ. Онъ добрый малый, но его мать меня пугаетъ. О, она помучаетъ меня досыта! Сегодня вторникъ, а въ четвергъ пріѣдетъ за мною мой мужъ и... я его!.. Сегодня я не совсѣмъ здорова“.

— Такъ итъ же, не бывать этому!—вскрикнулъ Гуршинъ, сжимая письмо.—Вотъ настало время освободить тебя, дорогая моя, и я освобожу!.. Ты будешь принадлежать только любимому человѣку и не переступишь порога своего мужа. Вотъ чѣмъ я докажу тебѣ, что я люблю тебя.

Въ этотъ моментъ вошла Степанида Егоровна со стаканомъ чая.

— Тетушка, скажи работнику, чтобы онъ какъ можно скорѣе заложилъ мнѣ лошадь, я поѣду въ Москву,—сказалъ Гуршинъ, ставя чай на столъ.—Поторопи его, тетя!

— Ладно, Сенюшка. Приготовить что либо на дорогу тебѣ, родной?

— Ничего не надо... Иди, торопись... Гостинецъ тебѣ изъ Москвы пришлю хорошій.

— Пришлешь? Самъ-то, стало быть, не вернешься съ работникомъ?

— Да... Дѣльце тутъ будетъ, можетъ, придется уѣхать... можетъ, надолго...

Старушка не посмѣла больше спрашивать и вышла, глубоко вздыхая.

Гуршинъ торопливо переодѣлся въ свое обычное дорожное платье, досталъ изъ стола револьверъ, зарядилъ его и бережно спряталъ въ карманъ поддевки, а потомъ позвалъ своего мельника, который во время отсутствія хозяина завѣдывалъ всѣми дѣлами.

Гуршинъ усадилъ мельника, заперъ дверь и заговорилъ:

— Я ѣду, Парамонъ Петровичъ, надолго, такъ ты будь тутъ хозяиномъ и добро мое блюди. Были мы съ тобою пріатели, такъ пріателемъ моимъ и будь. Я тебя знаю и люблю, а потому свое гнѣздо именно тебѣ, а не кому либо другому и доверяю. Быть можетъ, придется мнѣ все это свое имѣніе пе-

передать въ другія руки, такъ я рекомендую тебя новому хозяину какъ своего друга, а ты послужи ему, поучи его мужицкому уму - разуму. Скажи ему, что тутъ кругомъ каждый вершокъ рабочимъ потомъ облить, такъ пусть все бережетъ и любитъ.

Гуршинъ всталъ и обнялъ мельника.

— А ты куда же это, Семень Максимовичъ, отъѣзжаешь-то?—спросилъ мельникъ.—Или вовсе насъ бросить хочешь?

— Не бросить, а передать. Куда уѣзжаю—пока не скажу: не люблю раньше времени рассказывать, потомъ самъ узнаешь. Эхъ, братъ, жаль насиженное мѣсто бросать, да такъ тому, знать, быть надо... Прощай, Парамонъ Петровичъ, помни заветъ мой!

— До свиданья, Семень Максимовичъ, часъ тебѣ добрый... Чай не простясь-то не уѣдешь отъ насъ? Проводить честь-честью дозволишь, ежели и въ самомъ дѣлѣ покидать задумалъ?

— Простимся, простимся, какъ слѣдуетъ. До свиданья пока.—Гуршинъ вышелъ на крыльцо.—А, старуха, ты ужъ здѣсь,—съ грустной улыбкой обратился онъ къ теткѣ, которая успѣла-таки кое что собрать на дорогу своему Сенѣ и стояла на крыльцѣ съ корзиной, наполненной различными съѣстными припасами.—Ну, прощай, поцѣлуемся.

— Надолго, что-ль, уѣзжаешь, Сеня?—сквозь слезы спросила старушка, цѣлуя племянника.—И не сказалъ, куда да зачѣмъ.

— По дѣламъ, тетушка, по дѣламъ. Не скучай, а за хозяйствомъ смотри. Парамонъ Петровичъ, наказывалъ я тебѣ доброе беречь, а пуще всего вотъ ее, старуху мою, береги!.. Хорошая она старуха, люби ее и береги!—Гуршинъ вскочилъ въ сани.—Ну, до свиданья. Трогай!

Застоявшійся „Гнѣдой“ сорвался съ мѣста и вихремъ понесъ легкія санки по прекрасной, недавно установившейся дороге.

Гуршинъ оглянулся на свое имѣніе, снялъ шапку, перекрестился на бѣлую церковь сосѣдняго села, поклонился на всѣ стороны, а затѣмъ, почти упавъ въ сани, закрылъ лицо руками и зарыдалъ. Работникъ только глянулъ на него сбоку и покачалъ головой.

Приѣхавъ Гуршинъ въ Москву часу въ одиннадцатомъ дня и, оставивъ лошадей съ работникомъ на постояломъ дворѣ около Москворѣцкаго моста, пѣшкомъ пошелъ на Ордынку. Работнику онъ приказалъ попить чая, пообѣдать, выкормить лошадь, а къ вечеру ѣхать домой и сказать тамъ, что хозяинъ остался въ Москвѣ и пришлетъ, когда будетъ нужно, письмо. Распорядив-

ишсь такимъ образомъ, онъ простился съ работникомъ, далъ ему на чай десять рублей, а на прочіе десять рублей велѣлъ купить разныхъ гостинцевъ теткѣ.

Ровно въ двѣнадцать часовъ онъ былъ у дома Григорія Петровича Ладыжникова. У воротъ сидѣлъ дворникъ, только что кончившій мести троттуаръ и усыпавшій его пескомъ. Гуршинъ поздоровался съ дворникомъ. Тотъ окинулъ его взглядомъ и довольно небрежно отвѣтилъ на поклонъ. Семенъ Максимовичъ въ своемъ барашковомъ тулупѣ поверхъ поддевки походилъ на какого нибудь артельщика или приказчика изъ лабаза.

— Дворникъ будешь?—спросилъ Гуршинъ.

— Дворникъ.

— Получишь, любезный, на чай отъ меня, если поможешь одно дѣльце устроить.

— Гм!.. Какое же дѣльце такое? Коли можно мы — съ нашимъ удовольствіемъ; рады хорошему человѣку услужить.

— Дѣльце пустое для тебя. Слышалъ я, что мужъ дочери вашего хозяина помирился съ нею, будто бы опять жить съ нею хочетъ. Вѣрно это?

— Точно что. На ладъ у нихъ дѣло пошло, стоворились, слышь ты, и сегодня мужъ пріѣдетъ за нею. Хозяинъ нашъ на что скупъ, а угощеніе зятю во-какое дѣлаетъ!.. Повара взялъ, поваръ у насъ готовить... Зять-то за дочкой пріѣдетъ, да батюшку приходскаго пригласили, а, можетъ, и свекровь пріѣдетъ да изъ родни кто.

— Ну, вотъ, такъ я и слышалъ. Дѣло, видишь ты, вотъ въ чемъ: я къ зятю-то вашего хозяина на мѣсто прошусь, а меня никакъ не допускають къ нему, такъ и хочу я вотъ постоять тутъ у крыльца, а какъ Акимъ Осиповичъ подѣдетъ да выйdetъ, я его съ благополучнымъ окончаніемъ дѣла поздравлю, да и попрошусь...

— Оно какъ сказать... оно ничего, а только не осердились бы, что я допустилъ?.. Наше дѣло служебное...

— Ничего, любезный! На вотъ тебѣ, а если получу мѣсто, еще дамъ.

— Спасибо!.. Ладно, стой вотъ тутъ во дворѣ... за крыльцомъ держись; а то хозяинъ бы не увидалъ.

Гуршинъ вошелъ во дворъ и сталъ около крыльца. Проходя мимо оконъ, онъ поднялъ воротникъ тулупа—вѣдь его могла увидѣть Марина. Его лицо было покойно, глаза горѣли ровнымъ блескомъ человѣка, твердо рѣшившагося на свое дѣло, сердце билось ровну, и только тоска глодала его, тоска по Маринѣ.

Еще до сегодняшняго дня у него могла быть хоть какая нибудь надежда на возможность счастья, теперь же все было кон-

чено. Теперь онъ даже не могъ надѣяться когда нибудь увидѣть Марину, сказать ей хоть одно слово. Черезъ нѣсколько минутъ онъ будетъ преступникомъ, убійцей.

„Убійца!“—это слово стояло предъ нимъ и пугало его, какъ призракъ. Убійца! Онъ подниметъ свою руку и лишитъ ея жизни человѣка. Имѣетъ ли онъ на это право? Но вѣдь этотъ человѣкъ мѣшаетъ жить другому человѣку, который такъ страшно дорогъ.

„Кончено, кончено дѣло, я рѣшился!—думалъ Гуршинъ.—Я уже не убѣгу отъ своего рѣшенія, какъ не убѣгу и отъ правосудія. Я понесу кару за свое дѣло... Предо мной двѣ жизни, изъ которыхъ одна должна быть загублена, должна погибнуть; пусть же погибнетъ жизнь чужого мнѣ человѣка... Да я даже не хочу и разсуждать. Я просто сознаю всѣмъ своимъ существомъ, что долженъ такъ сдѣлать, и сдѣлаю. Развѣ это не будетъ та великая, непредѣльная любовь, о которой я мечталъ, которую возводилъ въ идеалъ и которая такъ высоко ставить человѣка надъ всѣми прочими созданіями, если я пожертвую собою? Если я не сдѣлаю такъ, то лишу счастья человѣка, который достоинъ его. Я буду орудіемъ для полученія этимъ человѣкомъ счастья... Что жизнь этого жалкаго человѣка? Кому нужна она? Рѣшено!.. Чу, слышишь стукъ колесъ, ѣдетъ... Чувствуетъ ли онъ, что вотъ-вотъ пробьетъ часъ его смерти? Господи, прости меня!“.

Акимъ Осиповичъ, должно быть, чувствовалъ. Наканунѣ и весь этотъ день онъ тосковалъ безъ всякой видимой причины и жаловался на свою тоску одному пріятелю.

— Повѣришь, Коля,—сказалъ онъ наканунѣ вечеромъ, сидя съ этимъ пріятелемъ въ загородномъ ресторанѣ,—такая у меня тоска, что просто мѣста не нахожу! Ну, вотъ и пью, и даже уже пьянъ, цыгане поютъ, музыка; завтра окончательный миръ съ женою, въ домъ ее привезу... и люблю я ее, красавица она, а тоска такъ и гложетъ меня.

— Это предъ радостью, милый! Вотъ привезешь жену и заживешь съ нею на-славу. Ты вѣдь теперь все равно, что молодой, точно женишься завтра. Пей-ка! Вся тоска улетитъ, какъ вотъ такихъ парочку бутылочекъ охолостишь!

Но тоска у Акима Осиповича не проходила. Утромъ онъ тоже былъ задумчивъ и печаленъ, и только предъ домомъ Ладыхниковыхъ ему стало весело, и образъ красавицы-жены всталъ предъ нимъ. Карета въѣхала на дворъ, и кучеръ круто осадилъ лошадей предъ крыльцомъ. Вбѣжавшій слѣдомъ за каретой дворникъ съ шапкой въ рукѣ сдѣлалъ Гуршину знакъ подойти скорѣй.

Гуршинъ сдѣлалъ шагъ впередъ и остановился у самаго крыльца. Акимъ Осиповичъ самъ отворилъ дверцу кареты и выпрыгнулъ. Съ какимъ-то обрывистымъ трескомъ грянулъ выстрѣлъ надъ самымъ его ухомъ. Лошади взвились на дыбы и шарахнулись въ сторону такъ, что ошеломленный кучеръ не успѣлъ удержать ихъ, и онѣ, круто повернувъ, вылетѣли за ворота и понесли. Дворникъ отшатнулся назадъ, замеръ на минуту на мѣстѣ и потомъ съ крикомъ бросился къ Гуршину.

— Что ты? Что ты сдѣлалъ?—произнесъ онъ, съ ужасомъ глядя на Акима Осиповича, который ничкомъ лежалъ около крыльца уже недвижнымъ трупомъ.

— Устроилъ дѣло, получилъ мѣсто!—горько улыбнулся Гуршинъ и бросилъ револьверъ.—Бери меня! видишь, убилъ я его.

На звукъ выстрѣла выбѣжалъ народъ изъ кухни, а изъ дома—старикъ Ладыжниковъ. Спотыкаясь по ступенькамъ лѣстницы, онъ, скорѣе падая, чѣмъ сходя, спустился внизъ и растерянно остановился надъ распростертымъ зятемъ.

— Что... что такое? Что случилось? Господи, да его убили!—воскликнулъ онъ, хватаясь за голову руками.

Дворникъ, задыхаясь и размахивая руками, кричалъ что-то, а потомъ схватилъ Гуршина и съ ожесточеніемъ началъ вязать ему руки снятымъ съ себя кушакомъ. На дворъ выбѣжала Марина и, увидавъ распростертаго на снѣгу мужа и связаннаго Гуршина, вскрикнула и прижалась къ косяку двери.

— Гуршинъ! — прошептала она, закрывая лицо руками, а затѣмъ пошатнулась, слабо вскрикнула и упала на ступеньки крыльца.

Гуршинъ видѣлъ это, поникъ головой, взглянулъ сбоку на Акима Осиповича и тихо-тихо проговорилъ:

— Теперь вдова... теперь свободна!

При дознаніи, произведенномъ въ полиціи, Гуршинъ объяснилъ, что убилъ Акима Осиповича Лоскутникова съ заранѣе обдуманнмъ намѣреніемъ и вотъ по какому поводу.

— Жена Лоскутникова,—сказалъ онъ,—уйдя отъ него, поселилась у меня въ имѣніи; это мужу было извѣстно, и вотъ при встрѣчѣ со мною онъ нанесъ мнѣ тяжкое оскорбленіе, ударивъ меня по лицу.

— Гдѣ это было?—спросили его.

— Это было въ домѣ Лоскутниковыхъ, когда я приходилъ туда къ дядѣ Акима Осиповича.

— А не по наговору жены убили вы его? Не были вы съ нею въ связи?

— Нѣтъ! Она всегда оставалась вѣрною своему мужу. Затѣмъ мнѣ было убивать его по ея наговору? Я вѣдь убилъ его

открыто, среди бѣла дня, на виду у всѣхъ, и слѣдовательно не могъ надѣяться обладать его женою, зная, что за убійство понесу наказаніе, буду сосланъ... Нѣтъ, жена убитаго тутъ не при чемъ.

Судебный слѣдователь, взявшись за дѣло очень горячо, ранивъ всѣхъ допросилъ Марину Григорьевну. Она откровенно созналась, что Гуршинъ любилъ ее, говорилъ ей объ этомъ, но что о причинахъ, побудившихъ его убить Акима Осиповича, она ничего не знаетъ.

— Кому посылали вы за день до убійства вашего мужа письмо?—спросилъ слѣдователь. — Мнѣ извѣстно о посланномъ вами какомъ-то письмѣ, которое носилъ опускать въ ящикъ вашъ дворникъ?

— Я писала Гуршину.

— О чемъ именно?

Марина рассказала слѣдователю содержаніе своего письма, и это письмо было найдено въ домѣ Гуршина. Въ чемъ бы то ни было уличить Марину оно не могло. Гуршинъ былъ преданъ суду за убійство съ обдуманнѣмъ заранѣе намѣреніемъ, изъ мести. Какіе либо особые мотивы для этого убійства слѣдствіе открыть не могло.

Опустѣлъ домъ Лоскутниковыхъ. Вся купеческая знать была на пышныхъ похоронахъ Акима Осиповича, и то съ любопытствомъ, то съ чувствомъ вражды и злобы глядѣли всѣ на молодую вдову, а мать покойника подошла къ ней, указала на гробъ сына и сказала:

— Вотъ дѣло твоихъ рукъ. Ты уложила его въ гробъ!

Марина Григорьевна ничего не сказала и только поникла головою предъ убитой горемъ матерью.

Лукерья Федоровна на другой день послѣ похоронъ уѣхала на богомолье и все дѣло передала своему двоюродному брату, богатому фабриканту. Марина Григорьевна поселилась у отца

XXVI.

Марина Григорьевна, сдѣлавшись такъ неожиданно и трагически вдовою, зажила въ домѣ отца совершенной отшельницей, и если выходила куда, такъ только въ церковь. Она не то, чтобы боялась общества, которое вишило ее въ смерти мужа, а просто ей не хотѣлось, непріятно было бывать на нарѣдѣ.

Отецъ видимо жалѣлъ ее и, видя, что она ищетъ уединенія, не мѣшалъ ей, предоставлялъ ей полное право располагать собою и вести образъ жизни, какой она хочетъ.

Послѣ смерти Акима Осиповича онъ какъ-то вошелъ къ

Маринѣ въ комнату, сѣлъ на диванчикъ, помолчалъ, оглядывая стѣны уютной комнатки, и потомъ обратился къ дочери, которая оставила книгу и вопросительно глядѣла на отца:

— Маринушка,—сказалъ старикъ,—скажи-ка ты мнѣ всю правду, какъ отцу духовному будешь говорить: неповинна ты въ смерти Акима покойнаго?

— Нѣтъ, батюшка!—поспѣшно отвѣтила Марина.—Сохрани Богъ! Богъ видитъ, что я никогда, никогда не желала своему мужу зла. Я не любила его, мнѣ было тяжело сознавать, что онъ—мой мужъ. но я никогда, никогда не желала ему зла.

— За что же убилъ его этотъ Гуршинъ? Плохо вѣрится, чтобы онъ поднялъ на него руку за то только, что покойникъ когда-то обидѣлъ его чѣмъ-то.

Марина потупилась и помолчала.

— Я знаю, за что онъ убилъ его. Нѣтъ, вѣришь—не за что, а почему,—неправилась она.—Вѣдь Гуршинъ любилъ меня... онъ мнѣ говорилъ это...

— Ну?

Маринѣ неловко было говорить объ этомъ съ отцомъ, который еще такъ недавно былъ грознымъ, суровымъ деспотомъ и лишь въ послѣднее время сталъ настоящимъ отцомъ, который понималъ наконецъ, что такое любовь, у котораго зашевелилось сердце, все время запрятанное гдѣ-то далеко, можетъ быть, подъ тяжелымъ бумажникомъ.

— Ну?—повторилъ онъ. — Ты говори мнѣ всю правду, всю говори! Я—твой отецъ, и хотя не приучилъ тебя къ ласкѣ, суровъ былъ съ тобою, а люблю тебя! Ты мнѣ говори, все говори!

Марина подошла къ отцу и поцѣловала его руку, а онъ обнялъ ее, прижалъ къ груди и нѣжно-нѣжно, словно мать, погладилъ склоненную головку дѣвушки.

— Я все скажу вамъ, батюшка, все,—заговорила Марина, садясь рядомъ съ отцомъ.—Гуршинъ говорилъ мнѣ, что любитъ меня, когда я жила у него, скрываясь отъ васъ и отъ мужа. Я его не любила. Я любила другого.

— Кого же, дочка?

— Бусова... Назва Петровича Бусова, онъ служилъ у Лоскутниковыхъ. Когда я еще въ институтѣ училась, онъ ходилъ туда къ своей сестрѣ, и мы были знакомы, дружны были. Отыскивая меня и подозревая, что я спрятана гдѣ нибудь кормилицей, Иванъ Борисовичъ послалъ этого Бусова на развѣдки обо мнѣ, обѣщая ему за это награду. Бусовъ нашелъ меня, но конечно не для того, чтобы открыть мое присутствіе мужу, а напротивъ, чтобы предупредить меня. Онъ сталъ бывать у Гуршина, и я...

я полюбила его. Онъ любить меня и ранѣе того, съ самаго пансіона любить. Онъ тоже сказалъ мнѣ, что любить меня, но я отвѣтила ему на это признаніе прощаніемъ навсегда. Я сказала ему, что я—жена другого и что мнѣ не слѣдуетъ говорить о любви, что я не могу, не должна любить никого. Онъ ушелъ безъ ропота. Гуршинъ узналъ, что я люблю Бусова. Боже, Боже, какъ сильно долженъ любить человѣкъ, чтобы рѣшиться на такое самопожертвованіе! Гуршинъ хотѣлъ освободить меня отъ мужа и... и вотъ...

— Убилъ его?—спросилъ старикъ.

— Да!

Старикъ задумался, опустилъ голову.

— Да, бываютъ всякіе люди на свѣтѣ!—сказала онъ послѣ долгаго молчанія:—самъ, вишь ты, любить, а для другого человѣка...—Онъ не договорилъ и сталъ ходить по комнатѣ.--- Гдѣ же теперь Бусовъ этотъ?—спросилъ онъ затѣмъ.

— Не знаю, батюшка.

— Хорошій человѣкъ?

— Хорошій.

— Ахъ, дочка, дочка, что же ты раньше не сказала мнѣ про него? Почему ты не сказала мнѣ прямо и смѣло, что тебѣ Акимъ не любъ, что ты не пойдешь за него? Вѣдь если бы ты сказала это, ничего такого не было бы. И убійства не было бы. Да и то сказать, кто зналъ это? Боялась, молода еще, а отецъ-то больше на звѣря походилъ, чѣмъ на отца. Да, не виновата и ты. Я, я всему виной... и не я даже, а дикость наша, дурь. Закоснѣли въ грѣхахъ, на наживу падки пуще всего, а душу-то забыли.—Старикъ продолжалъ ходить, покачивая головою и что-то говоря самъ съ собою.—Такъ не знаешь ты, гдѣ Бусовъ этотъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не знаю.

— Надо узнать.

— Зачѣмъ, батюшка?

— Иди за него замужъ. Судьба къ тому ведетъ, чтобы быть тебѣ за нимъ; найдешь свое счастье.

Марина вся встрепелась, слушая отца.

— А мужъ?—спросила она.—Вѣдь черезъ его кровь я къ вѣнцу пойду, батюшка.

— Да вѣдь ты-то въ его крови неповинна? Не подговаривала убить его, даже не желала и въ помышленіяхъ погубить ему?

— Видитъ Богъ, не желала, но вѣдь все же изъ-за меня погибъ онъ. Не грѣхъ ли будетъ, батюшка, идти мнѣ замужъ, когда... когда мой первый мужъ погибъ такимъ образомъ?

— Не моего ума дѣло это,—отвѣтилъ старикъ подумавъ,— не съ моими грѣхами разрѣшать чужіе грѣхи. А вотъ что: есть у меня старецъ одинъ, священникъ, святой жизни человѣкъ и ума необъятнаго; къ нему съѣздимъ, его совѣта спросимъ. Я давно знаю его, только не бывалъ у него—злобу противъ него имѣлъ и обидѣлъ его. Да онъ зла не помнитъ, приметъ насъ. Вотъ завтра же поѣдемъ къ нему.

Старикъ успокоился на этомъ рѣшеніи и вышелъ отъ дочери значительно веселѣе, чѣмъ былъ весь этотъ день.

Марина послѣ его ухода глубоко задумалась, и Богъ вѣсть къ какимъ результатамъ привели бы ее эти думы, на что она рѣшилась бы послѣ тяжкаго раздумья, оставшись одна-одиношенька, если бы этимъ думамъ не былъ данъ другой оборотъ внезапно принесеннымъ письмомъ.

— Марина Григорьевна, вамъ письмо,—сказала старуха-служанка, внося небольшой конвертъ безъ марки.

— Отъ кого?—нѣсколько тревожно спросила Марина.

— Не знаю, матушка. Принесъ человѣкъ какой-то, посылъный, надо быть, вотъ что въ красныхъ-то шапкахъ ходять, и велѣлъ безпремѣнно вамъ отдать. Отвѣта онъ ждетъ.

Марина быстро разорвала конвертъ.

„Марина Григорьевна!—стояло въ письмѣ. — Простите меня за мою смѣлость, но я не въ силахъ больше терпѣть и хочу видѣть Васъ. Да, не въ силахъ, повторяю Вамъ; если еще не увижу Васъ день-два, я за себя не ручаюсь. Ради Бога, ради всего, что Вамъ дорого, позвольте мнѣ видѣть Васъ и говорить съ Вами! Когда, гдѣ—это зависитъ отъ Васъ, но Бога ради!.. Если Вы окончательно лишены возможности видѣть меня, то напишите о себѣ и позвольте писать мнѣ. Человѣкъ, который доставитъ Вамъ это письмо,—очень ловкій и умѣлый парень; онъ сумѣетъ доставить письмо умно, такъ что никто не узнаетъ этого, если только для Васъ неудобно получать мои письма открыто. Умоляю, жду и надѣюсь. Бусовъ“.

Точно голосъ дорогого человѣка прозвучалъ надъ ухомъ Марины, точно родные, милые звуки услыхала она. Вся покраснѣвши, улыбаясь счастливой улыбкой, взяла она листъ бумаги и написала:

„Я свободно могу принять Васъ теперь къ себѣ; меня никто не стѣсняетъ, и я свободна, какъ птица. Но пока я не могу еще знакомить Васъ съ моимъ отцомъ, который уже любитъ Васъ. Надо подождать. Приходите гулять на набережную около Чугуннаго моста часу въ пятомъ сегодня, я приду. Марина“.

Она сложила письмо, положила его въ конвертъ и отдала служанкѣ.

— Вотъ отдай посыльному. А это вотъ ему на чай. Нѣтъ, этого мало. Вотъ это, вотъ отдай!

Служанка поглядѣла на трехрублевую бумажку и улыбнулась:

— Стало быть, радостное письмо-то?—спросила она.

— Да, радостное.

— То-то, молъ. А ужъ и ловкій же парень принесъ.

— А что?

— Сперва это съ подходимъ, что да какъ. будто бы по другому дѣлу пришелъ, ну, а какъ рассказала я ему, что, молъ, барышня наша нонѣ съ родителемъ въ ладу и никакого стѣсненія ей нѣтъ, такъ сейчасъ же и отдалъ письмо-то.

— А почему же ты это знаешь, что я въ ладу съ папашей и никакого стѣсненія мнѣ нѣтъ?—спросила Марина.

— Господи, чай, по всему видно! Видимое дѣло, что Григорій Петровичъ покаялся. Перстъ Божій въ дѣлѣ этомъ. Мы всѣ и раньше говорили, что загубили Марину Григорьевну, потому самое-то Лоскутникову всѣ знаютъ—вѣдьма сущая! Теперь папаша-то самъ видитъ, что неправъ былъ. Вечоръ приходитъ на кухню да и говоритъ Андрею: „Съѣзди, Андрей, на Ситунъ, привези кормилицу, а то Маринушкѣ скучно безъ нея“. То-то, молъ, и есть, думаю я. А давно ли онъ кормилицу-то клаялъ да собирался погубить? „Она,—говоритъ,—укрывательница, ее подь судъ надо!“. Нѣтъ, другимъ человѣкомъ родитель твой сталъ; Господь-то, допустивъ такой конецъ зятю, показалъ ему, что неправъ онъ былъ...

Старушка ушла. Всѣ въ домѣ очень любили Марину и, слыша о ея побѣгѣ изъ дома мужа, глубоко сочувствовали ей; а затѣмъ въ трагической кончинѣ Акима Осиповича видѣли перстъ Божій. Въ убійствѣ его никто не думалъ подозрѣвать участія Марины. Даже враждебно настроенные противъ Марины люди перестали думать это, видя, что правосудіе никого не привлекаетъ къ отвѣтственности, кромѣ одного Гуршина. Газеты, сильно заняты въ свое время убійствомъ Лоскутникова, способствовали установленію мнѣнія о полной невинности Марины, такъ какъ всѣ очевидно повѣрили мотиву, приведенному Гуршинымъ, и думали, что Лоскутниковъ убитъ за оскорбленіе. Къ слову сказать, въ этомъ же смыслѣ былъ составленъ и обвинительный актъ.

И вдругъ Маринѣ захотѣлось жить. Точно разбудило ее письмо Бусова, точно трубнымъ звукомъ вызвало къ жизни, и, какъ волшебная палочка сказочнаго чародѣя вдругъ вызыва-

еть чудныя картины, такъ это письмо нарисовало ей въ ея воображеніи картины радости, счастья. Вдругъ стало такъ хорошо, такъ отрадно, что все приняло другой видъ, а мрачныхъ красокъ, которыми еще такъ недавно застилалось будущее, словно и не бывало.

Почему ей не жить? — думалось теперь. — Кому она сдѣлала сознательное зло? Она ушла изъ дома мужа, но вѣдь это было невольное движеніе, подѣ влияніемъ силы откуда-то извнѣ; она не сознавала, куда и зачѣмъ идетъ, что будетъ изъ этого. Она чужла какую-то бѣду и шла отъ этой бѣды, а думы о мести и злѣ кому нибудь у нея не было. Потомъ она сама вернулась, отдала себя на волю мужа и его родни, хотѣла все вытерпѣть, все перенести, а ее задумали оскорбить, задумали силой сдѣлать невѣрной мужу, чего она такъ не хотѣла и ради чего оттолкнула отъ себя любимаго человѣка. Потомъ смерть мужа. Развѣ она виновата хоть сколько нибудь въ этой безвременной смерти? Какъ ни чуждъ былъ ей мужъ, но, видѣть Богъ, она не хотѣла его смерти. О, напротивъ у нея всѣ помысленія были о томъ, чтобы сдѣлать его жизнь какъ можно счастливѣе, пріятнѣе, и она отдала бы себя для этого и добилась бы того, что дала бы мужу счастье. Его убили безъ ея вѣдома; его принесли ей въ жертву, но развѣ она хотѣла этихъ жертвъ? Развѣ она не отдала бы всего, чтобы спасти теперь Гуршина, который и себя принесъ ей въ жертву? Стало быть, она не виновата по самому строгому, даже по пристрастному суду. Почему же ей не жить? Вѣдь тотъ же Гуршинъ только того и добивался, чтобы она была счастлива, ради этого и погубилъ себя. Такъ зачѣмъ же она отвергнетъ его жертву?

Эти думы весь день не покидали Марины, и она не замѣтила, какъ пришелъ вечеръ и раннія зимнія сумерки спустились на землю. Она поспѣшно одѣлась и вышла изъ комнаты.

— Папаша дома?—спросила она у служанки.

— Нѣтъ, не пріѣзжали еще съ утра.

— У меня голова что-то разболѣлась, и я пройдусь; такъ, если папаша пріѣдетъ, скажи, что я скоро буду.

— Хорошо-съ. Да вы, Марина Григорьевна, приказали бы лошадь запречь да прокатились бы лучше,—посоветовала служанка.

— Нѣтъ, я лучше похожу, это полезнѣе и веселѣе, чѣмъ ѣхать. Я тутъ недалеко, около дома.

Марина одѣла шубку и быстро спустилась по лѣстницѣ, прошла дворомъ и торопливо пошла по плохо освѣщенной и пустынной Ордынкѣ.

Было уже совсѣмъ темно, падалъ снѣжокъ, свѣжій вѣтеръ

началь верхушки садовъ, которыхъ такъ много на Ордынкѣ. Маринѣ стало немного жутко на пустынной улицѣ. Она ускорила шаги. Вотъ домъ Лоскутниковыхъ. Мрачно глядѣлъ онъ на улицу рядомъ темныхъ оконъ и уныло гудѣлъ вокругъ него вѣтеръ, громыхая оторваннымъ гдѣ-то листомъ кровельнаго желѣза. Марина съ дрожью во всемъ тѣлѣ взглянула на этотъ пустынный, заброшенный теперь домъ. Нѣтъ его хозяевъ. Еще недавно горѣлъ онъ огнями, гремѣла въ немъ музыка, пировали свадьбу, а теперь онъ одинокъ и молчаливъ. Молодой хозяинъ его лежитъ въ холодной могилѣ, а виновница его смерти идетъ мимо осиротѣвшаго дома на любовное свиданіе.

Марина почти побѣжала по улицѣ, скользя и чуть не пала на обледенѣломъ троттуарѣ. Ужасъ охватилъ ее, и ей казалось, что кто-то гонится за нею и хочетъ схватить, увлечь въ пустынные комнаты этого дома, гдѣ недавно стоялъ гробъ съ окровавленнымъ трупомъ. Вѣдь она—жена этого трупа, вѣдь она—хозяйка этого покинутаго дома.

Закрывъ лицо платкомъ, придерживая полы раздуваемой вѣтромъ шубки, почти бѣжала Марина, сгорая нетерпѣніемъ миновать эту улицу и выбѣжать на набережную. Уже недалеко, уже видны огни на той сторонѣ Канавы, сейчасъ набережная, Чугунный мостъ, а тамъ онъ... съ нимъ не страшно. Скорѣй бы! Боже, скорѣй бы!

— Да успѣешь, красавица, успѣешь, не бѣги! — раздался сзади насмѣшливый голосъ.—Теперь мужа-то нѣтъ, некому вернуть! Погоди малость!

Марина вздрогнула, слабо вскрикнула и прислонилась къ забору, чуть держась на ногахъ.

Къ ней подошелъ человѣкъ высокаго роста въ мѣховомъ пальто и шапкѣ.

— Устать изволили? — спросилъ онъ, открывая закрытое платкомъ лицо. — Ха-ха-ха! Видно, спѣшное дѣло-то? Ну, ничего, успѣется. Раньше отъ мужа бѣгала, ну, а теперь отъ кого? Или родитель хвостъ пришилъ? Ишь, онъ какой неласковый, погулять вдовушкѣ не даетъ! Ха-ха-ха! Ну, да шутъ съ нимъ! Однако поздороваемся. Наше вамъ почтеніе, Марина Григорьевна, какъ изволите жить-поживать? Хе! А вѣдь по-вдовьему-то положенію, чай, и поцѣловаться можно? Вдова—покрытая голова—ничего! Можно, что ли?

— Пустите, пустите меня! Кто вы? Что вамъ надо? — въ ужасѣ прошептала Марина.—Боже мой!

— Не узнали развѣ? Гусарчиковъ, къ вашимъ услугамъ, бывшій служащій бывшаго вашего мужа, Андрей Ивановичъ Гусарчиковъ. Я, по милости господина Бусова, много претер-

пѣлъ, да пожалуй изъ-за него да изъ-за васъ мѣста лишился. Ну, да я не золь, ничего; такой красоткѣ можно простить, была бы она только ласкова! Хе-хе-хе! Вотъ господину Бусову я не спущу, нѣтъ! Вѣдь онъ уже много мнѣ зла сдѣлалъ, пора бы и бросить, такъ нѣтъ: хорошаго дохода меня лишилъ, господина Джемса Бейта противъ меня настроилъ, оскорбилъ меня. Вотъ я и ловлю его. Дѣлать-то мнѣ нечего, безъ мѣста я, ну, вотъ за господиномъ Бусовымъ и слѣжу.—Гусарчиковъ захохоталъ и близко наклонился къ помертвѣвшей отъ ужаса Маринѣ. Отъ него пахло какими-то очень сильными духами и водкой.—Да, и слѣжу. Ха-ха! Вижу, что онъ посыльнаго куда-то снаряжаетъ, это, думаю, къ Мариночкѣ! Такъ и есть. Я на извозчика да за посыльнымъ, ну, и прослѣдилъ. Это, думаю, онъ на свиданіе зоветъ. Ну, вотъ я около дома съ четырехъ часовъ и дежурилъ. Поймалъ-таки! Что, прекрасная магометанка, не умирающая на гробѣ своего супруга, попалась? А вѣдь неладно на свиданіе-то ходить такъ скоро послѣ смерти мужа! Какъ это въ театрѣ-то Гамлетъ говоритъ: не успѣла башмаковъ износить, въ которыхъ за гробомъ шла, и уже того!.. Стыдно, стыдно! Ну, да вѣдь стыдъ — не дымъ, глазъ не ѣсть. Погулять желательно? Хе-хе-хе! Ну, что же, погуляемъ. Со мной желаете, госпожа Лоскутникова? Желаете, что ли?

Марина дрожала всѣмъ тѣломъ и всхлипывала, закрывши лицо руками.

— Да говори же, полно плакать-то!—дернулъ ее Гусарчиковъ за рукавъ.—Вѣдь ужъ безъ выкупа не пушу,—либо поцѣлуй, либо... прибью!.. Вотъ какъ зло свое вымещу, страхъ!.. Ну, что же? Вонъ со мною извозчикъ есть, лихачъ, съ шикомъ прокатить! Вотъ онъ подѣхалъ... Сашка, ты?

— Я, Андрей Ивановичъ, подаю!—отозвался подѣхавшій шагомъ извозчикъ.—Поймали-съ?

— Поймать - то поймалъ, да вотъ упирается... Ну, аллонъ маршъ, а то силой посажу!.. Н-ну!..

Гусарчиковъ схватилъ Марину и потащилъ къ санямъ.

Она крикнула и упала на снѣгъ.

— Шалишь, голубушка, не уйдешь!—злобно проговорилъ Гусарчиковъ.—Сашка, подѣзжай ближе!

Марина рванулась изъ рукъ Гусарчикова, хотѣла крикнуть, но онъ быстро закрылъ ей ротъ ея же платкомъ и поднялъ съ троттуара.

Отъ дома на противоположной сторонѣ подошелъ дворникъ.

— Что тутъ у васъ такое? — спросилъ онъ строгимъ было голосомъ, но, увидавъ, что дѣло имѣетъ съ бариномъ въ нарядѣ—

ломъ пальто и въ модной шапкѣ, перемѣнилъ тощ.— Или захмѣла господа-то, баринъ?

— То-то, что захмѣла!—отвѣтилъ Гусарчиковъ, приподнявъ Марину.— Гуляли вотъ съ подружкой, а она лишнюю и переложила... Ишь, на ногахъ не стоитъ!

— Поди-жъ ты!.. Ну, бабья нація не плоше нашего брата, мужика, гуляетъ... погоди, сударь, я помогу.

— Помоги, другъ!.. Сашка, подавай!

Гусарчиковъ съ дворникомъ взяли Марину и хотѣли положить въ сани, но лошадь извозчика, давно боязливо косившаяся на темную группу возившихся людей, бросилась въ сторону и санями сшибла съ ногъ Гусарчикова и дворника.

— Держи, чертъ!—яростно крикнулъ Гусарчиковъ. и вскопчилъ на ноги.

Освобожденная на минуту Марина собрала послѣднія силы и крикнула отчаяннымъ, за душу хватающимъ голосомъ.

Отъ угла улицы, спотыкаясь и падая, подбѣжалъ человѣкъ. Онъ давно ходилъ въ концѣ Ордынки, то выходя на эту улицу, то удаляясь къ берегу Канавы. Быть можетъ, онъ слышалъ разговоръ Гусарчикова съ дворникомъ, но не обратилъ на него вниманія, и лишь тогда бросился бѣжать, когда Гусарчиковъ крикнулъ на извозчика, и уже не бѣжалъ, а летѣлъ, когда раздался отчаянный вопль Марины.

— Стой!—вырвалось у него изъ груди, и онъ схватилъ Гусарчикова за пальто.— Боже!.. Господи!.. Она... Стой!..

— И тутъ поспѣлъ, проклятый!—прохрипѣлъ Гусарчиковъ и, вырвавшись изъ рукъ Павла Петровича, прыгнулъ въ сани.— Пошелъ!—крикнулъ онъ извозчику.— Ладно, Бусовъ, встрѣтимся еще!—раздался его голосъ издали, и все смолкло, только далеко-далеко визжали полозья саней по мерзлomu снѣгу.

Бусовъ наклонился къ лишившейся чувствъ Маринѣ и поднялъ ее на руки.

— Голубка, и тутъ тебѣ грозила бѣда!—нѣжно проговорилъ онъ, относя Марину съ дороги.

Дворникъ изумленными глазами глядѣлъ на все это.

— Такъ, стало быть, вралъ баринъ - то?.. Гляди, ограбить хотѣлъ... Подать, что ли, свистокъ?—подошелъ онъ къ Бусову.

— Нѣтъ, не надо. Сбѣгай за извозчикомъ!.. Вотъ тутъ, на углу у трактира... Живѣй, Бога ради, живѣй!..

Дворникъ побѣждалъ. Бусовъ, поставивъ ногу на тумбу, держалъ Марину и цѣловалъ ее въ похолодѣвшія щеки и губы. Она очнулась.

— Это—ты, Павелъ?—прошептала она.— Господи, что со мною?

— У меня ты, моя радость. у меня. не вырвуть теперь. У

ногъ твоихъ лягу, какъ собака, буду беречь тебя. Я виновать, я... Боже, вѣдь тебѣ грозила, можетъ, смерть! Но теперь ты моя, со мною... навѣки моя... да, да? навѣки?

— Навѣки!—прошептала Марина, обвивая руками вокругъ шеи Бусова.

Онъ усадилъ ее въ сани приведеннаго дворникомъ извозчика и велѣлъ ѣхать по Ордынкѣ.

— Я тебя отвезу къ отцу и сегодня же попрошу, чтобы онъ отдалъ тебя мнѣ,—сказалъ онъ Маринѣ.—Хочешь?.. Будешь моею?

— Да... Я твоя, твоя!..

Марина скрыла лицо на груди Бусова и заплакала. Быть можетъ, эти обильныя слезы спасли ее отъ горячки, которой могла кончиться роковая встрѣча съ Гусарчиковымъ.

XXVII.

Григорій Петровичъ вернулся изъ города часу въ седьмомъ вечера и приказалъ подать самоваръ.

— Позови сюда Марину Григорьевну, пусть хозяйничаетъ, меня чаемъ напоить,—сказалъ онъ горничной.

— Ихъ нѣтъ, Григорій Петровичъ, онѣ гулять ушли,—отвѣтила та.—„Голова,—говорять,—разболѣлась, пойду пройтись“

— Одна ушла?

— Однѣ-съ.

Старикъ покачалъ головой и сѣлъ за самоваръ.

— Когда придетъ, пошли ее ко мнѣ!—приказалъ онъ.

— Слушаю-съ!

Прошло еще съ полчаса, и старикъ услышалъ, что кто-то вошелъ въ парадное крыльцо, а затѣмъ по комнатамъ раздались спѣшныя шаги, и въ столовую вошла Марина. Старикъ хотѣлъ было обратиться къ ней съ выговоромъ за позднюю прогулку, но видъ дочери поразилъ его и онъ съ изумленіемъ спросилъ:

— Что съ тобою? Откуда ты?

Лицо Марины выражало сильное волненіе, глаза лихорадочно блестѣли, волосы были спутаны и падали на лобъ. Она взяла руку отца, поцѣловала ее и, склонивъ голову къ колѣнамъ старика, присѣла у его ногъ.

— Ахъ, папа, что со мною было!—проговорила она.—Чуть было не постигло новое несчастье... страшное несчастье! Я расскажу вамъ, все расскажу... Простите меня!

Она призналась отцу въ томъ, какъ получила письмо отъ Бусова и пошла повидать его, не рѣшаясь прямо пригласить его въ домъ, и какъ на нее напалъ Гусариковъ, какъ за-

тѣмъ Бусовъ во-время подоспѣлъ и спасъ ее отъ большой бѣды. Она то плакала, то смѣялась и нѣжно ласкалась къ отцу.

Старикъ прижалъ ее къ себѣ, поцѣловалъ и погладилъ по головѣ.

— Ишь, дочурка, какія на тебя напасти да искушенія Господь посылаетъ!—сказалъ онъ.—Быть можетъ, это за мои грѣхи. Пора, пора образумиться... пора жить по-человѣчески. Такъ привела, говоришь, съ собою этого... Бусова-то этого?

— Привела, папа.

— Веди его сюда, познакомь меня съ нимъ!

— Можно, папа?

— Да какъ же это не можно, когда въ мужья хочешь его брать! Погляжу, узнаю, что за человѣкъ выбрала.

Бусовъ вошелъ робкой походкой и остановился было въ дверяхъ, но потомъ быстро подошелъ къ старику и пожалъ протянутую руку. Онъ хотѣлъ что-то сказать, приготовилъ даже рѣчь, которой предполагалъ начать знакомство, но теперь молчалъ и потупилъ глаза подъ пристальнымъ, испытующимъ взглядомъ Ладыжникова, которымъ тотъ хотѣлъ проникнуть въ самые тайники его души.

Старику понравилось смущеніе Павла Петровича.

— Садитесь, молодой человѣкъ, гостемъ будете, — пригласилъ онъ.

Бусовъ сѣлъ.

Наступило не совсѣмъ ловкое для него молчаніе. Старикъ, кажется, умышленно не начиналъ разговора, ожидая, что изъ этого будетъ, но Бусовъ молчалъ, положительно-таки не зная, съ чего начать разговоръ.

— Слышалъ я, что вы дочку мою отъ бѣды спасли, отъ нападенія какого-то негодяя избавили,—заговорилъ наконецъ Ладыжниковъ,—такъ вотъ пригласилъ васъ сюда, чтобы поблагодарить. Спасибо вамъ! А только напрасно вы старались...

— Какъ напрасно?—съ изумленіемъ поднялъ голову Бусовъ.

— А такъ! Пусть бы ее проучили хорошенько, чтобы не гуляла ночью одна-одиношенька...

— О, это наказаніе было бы черезчуръ строго сравнительно съ виною.

— Ой ли? То-то, что не просто гулять она ходила, а на свиданіе... Вамъ извѣстно ли это?

— Да, я знаю. Простите меня, Григорій Петровичъ, — началъ Бусовъ, вдругъ вспомнивъ приготовленную рѣчь,—что я осмѣлился пригласить на это таинственное свиданіе вашу дочь, но я не могъ, не имѣлъ возможности поступить иначе, а видѣть ее мнѣ было необходимо.

— Почему?—перебилъ его старикъ.

Бусовъ потупился.

— Я люблю вашу дочь и хотѣлъ... хотѣлъ спросить, чѣмъ она рѣшитъ мою судьбу. Я никогда не осмѣлился бы на это, если бы она была замужемъ, но теперь она—вдова, она свободна.

— Свободу-то чужой кровью купили... Очень ужъ дорога цѣна этой свободы!

— Да, но вѣдь ни я, ни ваша дочь не хотѣли такую цѣной покупать свободу.

— Такъ, такъ! Ну, а за что же ты полюбилъ такъ мою дочь? Что въ ней такого хорошаго-то, особеннаго, что ее такъ полюбить можно? Вотъ и ты, и Гуршинъ этотъ... Чѣмъ такъ хороша она?

— И вы спрашиваете объ этомъ? Ужели же вы не знаете ея? Какая душа! Какое сердце!.. Она создана для того, чтобы любить ее. Ея невозможно не любить!

Старикъ задумался.

— Стало быть, ты желаешь взять ее замужъ?—спросилъ онъ.

— О, если бы когда нибудь выпало мнѣ на долю такое счастье!

— Гм... Ты имѣешь средства?

— Нѣтъ, Григорій Петровичъ.

— Такъ чѣмъ же жить будете? Ты, быть можетъ, думаешь, что я за нею денегъ дамъ? Такъ это ты напрасно—я дать ничего не могу... Я не только не дамъ денегъ, а ничего дать не могу, потому что уже разъ снарядилъ ее, выдалъ—и кончено дѣло!

— Боже мой, да смѣлъ ли я когда либо думать о чемъ нибудь подобномъ? Я считаю низостью смѣшивать эти два понятія: истинную любовь и деньги! Я бѣденъ, у меня есть только кое какіе гроши, сбереженные мною отъ моихъ трудовъ, но я могу работать. Я даже предложилъ бы Маринѣ Григорьевнѣ подождать свадьбой до тѣхъ поръ, пока я устрою свои дѣла. встану на твердую дорогу.

— Такъ, такъ!.. Ты, быть можетъ, думаешь: „Старикъ проживетъ не ахти сколько, а тамъ его добро намъ останется“? Такъ ты ошибаешься: я все отказалъ на церковь и уже духовное завѣщаніе сдѣлалъ сейчасъ же послѣ выдачи дочери замужъ. Я не пугаю тебя, не подумай этого, а лишь правду тебѣ говорю.

— И я вполне вѣрю и радуюсь: отсутствіе надежды на случайное богатство только усилитъ мою энергію и заставитъ

меня работать съ удвоенною силою, а въ трудѣ для себя, для жены, для семьи я вижу большое наслажденіе.

— Такъ, такъ!—одобрительно проговорилъ старикъ, начиная уже любовно глядѣть на Бусова.—Ну, если такъ, то съ Богомъ!.. Благослови васъ Господь, а я... я благословляю.

Павель Петровичъ всталъ и взялъ руки старика.

— Вы... вы позволяете? Вы отдаете ее мнѣ?—съ сіяющими глазами проговорилъ онъ.

— Бери, бери! Судьба, знать, такая.

— Батюшка, благодарю васъ!—воскликнулъ Бусовъ и обнялъ старика.

На угрюмомъ, суровомъ лицѣ Григорія Петровича, словно заря на темномъ небѣ, блеснулъ лучъ счастья, радости, проблескъ чего-то новаго, неиспытаннаго доселѣ.

— Поди, позови сюда Маришку, — сказалъ онъ, — да надо по-христіански—попа позвать, благословить какъ слѣдуетъ...

Въ это время Гусарчиковъ сидѣлъ въ развеселомъ трактирѣ съ извозчикомъ-лихачемъ и пилъ водку.

— Эхъ, сорвалось маленько, а то бы важная штука вышла!—говорилъ онъ, хлопнувъ кулакомъ по столу.

— Да, помѣшалъ этотъ хлыщъ, а то вотъ какъ шло дѣло-то ловко!—согласился извозчикъ, наливая рюмки.

— Ну, да ничего, я имъ новую механику подведу!

— Какую же, Андрей Ивановичъ?

— Ужъ я знаю. Будутъ помнить Гусарчикова! Эй, рубаха, заведи-ка машину! Гуляю, Сашка, и буду гулять, потому меня обидѣли, вотъ какъ обидѣли! Я, быть можетъ, богачемъ былъ бы, мнѣ счастье въ руки шло, ползло. Если бы я еще годикъ при Иванѣ Борисовичѣ побылъ, то на всю жизнь счастливъ былъ бы! А какъ выписали покойнаго Акима Осиповича, такъ все и пошло прахомъ. А изъ-за кого выписали? Изъ-за Маришки! Она всю мою жизнь, можно сказать, разбила. Потомъ опять съ циркомъ дѣло. Развѣ бы я не нажилъ тутъ? Старуха-то десяти тысячъ не пожалѣла бы, чтобы пантомиму снять. И тутъ помѣшали! Вотъ, не будь я Гусарчиковъ, если я не насою имъ! Во какъ насою, страхъ!—Гусарчиковъ выпилъ.—А знаешь, что я сдѣлаю, Сашка?—спросилъ онъ.

— Что, Андрей Ивановичъ?

— А вотъ что! Новое правленіе по дѣламъ Лоскутниковыхъ сократило дѣло наполовину, и теперь рабочіе безъ дѣла остались. Вотъ я заберусь къ нимъ, да и натравлю ихъ на Маришку да на Бусова. „Вотъ,—скажу,—любезные, кто виновать, что мы всѣ безъ мѣста остались“. Разожгу ихъ, во какъ,

подлюю кое кого, ну, они и озлобятся на Маришку. Хе-хе-хе! Такъ?

— Чего лучше! Только бы не замѣшали васъ потомъ.

— Пустое! Я вѣдь просто скажу, что вотъ, молъ, кто виновать, что васъ уволили, а ужъ если тамъ мятку зададутъ Маришкѣ да Бусову, такъ это—не моя вина. Бабы-то и тѣ на нее зубы почать. „Это,—говорить,—всѣ бѣды изъ-за молодой пошли!“—такъ что имъ только указать на нее надо да подвести, а ужъ онѣ себя покажутъ. Веселая штука выйдетъ, Саша, любопытная картина! Выпьемъ, Саша, а потомъ покататься поѣдемъ.

Родственникъ Лукерьи Федоровны, которому она передала дѣло, дѣйствительно значительно сократилъ его, согласно ея желанію, и оставилъ лишь небольшую часть этого, еще такъ недавно громаднаго дѣла, и то лишь для того, чтобы постепенно придти къ полной ликвидаціи. Уволенный изъ заведенія народъ остался безъ дѣла и, побродивъ по Москвѣ и окрестностямъ, отыскивая работы, сгруппировался около Серпуховской заставы у своего же брата рабочаго, пропивая и проѣдая полученный расчетъ. Этотъ народъ собирался каждый вечеръ въ чернорабочемъ трактирѣ пить чай и потолковать о своихъ дѣлишкахъ. Въ этотъ трактиръ и пріѣхалъ Гусарчиковъ со своимъ извозчикомъ.

— Пожалте въ чистую горницу!—подобострастно обратился къ необычному посѣтителю буфетчикъ, видя въ немъ кутилу-купчика, пріѣхавшаго „попутаться“ ради разнообразія въ простонародный трактиръ.

— Не надо, потому что я въ общемъ залѣ гулять желаю!—отвѣтилъ Гусарчиковъ, входя въ залъ, а потомъ, замѣтивъ фабричныхъ, жившихъ у Лоскутниковыхъ, подошелъ и сѣлъ не-подалеку отъ нихъ за столикъ.—Водки мнѣ и чаю!—крикнулъ онъ.—Да не скупись, а прямо полдюжины бутылокъ неси, потому я желаю гулять во-всю и почтенную публику угощать буду. Ба, да народъ-то, кажись, знакомый! Вы, почтенные, жили у Лоскутниковыхъ?

— Жили, Андрей Ивановичъ, жили. Наше почтеніе, Андрей Ивановичъ, мы тоже узнали вашу милость!—заговорили мужики и бабы.

— Здорово, милые! Что, безъ дѣла теперь?

— Безъ дѣла, Андрей Ивановичъ, какъ есть безъ дѣла!

— И я, ребята, не у дѣлы! Васъ рассчитали, а меня прогнали! Ха-ха-ха! Выпьемъ, ребята, съ горя!—Гусарчиковъ велѣлъ подать водки рабочимъ и бросилъ имъ на столъ десяти-

рублевую бумажку.— Гуляй, ребята, во-всю! — съ напускным молодечествомъ крикнулъ онъ.— Вы теперь горюны, да и я тоже.

— Вѣрно, Андрей Ивановичъ, точно что... Благодаримъ васъ, Андрей Ивановичъ! — загсворили фабричные, весело и охотно принимаясь за даровое угощеніе.

— А кто виновать, что мы на мели-то остались? — спросилъ Гусарчиковъ.

— Судьба, знать, наша такая. ничего не подѣлаешь.

— Нѣтъ, не судьба, а виновата во всемъ жена покойнаго Акима Осиповича.

— Это которая убѣжала-то? Марина Григорьевна-то?

— Да! Какъ ее взяли въ домъ, такъ и пошли смуты да непріятности; изъ-за нея и мужъ погибъ, изъ-за нея и дѣло сократили да насъ попрогоняли всѣхъ.

— Это точно, это вѣрно! — сказало нѣсколько голосовъ.

— Такъ она, чай, не знала этого, — замѣтилъ одинъ рабочій. — Не для того, чай, отъ мужа убѣжала, чтобы дѣло закрыли да насъ расчитали!

— Все она знала, все на зло дѣлала, — снова заговорилъ Гусарчиковъ. — Самая зловредная бабенка.

— Не то, что зловредная, а очень даже хорошая, — сказалъ молодой еще, но степенный рабочій, сидѣвшій за чаемъ у отдѣльнаго столика и не принимавшій участія въ попойкѣ.

— Какъ это такъ? — обратился къ нему Гусарчиковъ.

— А такъ! Мой братъ у ея родителя въ работникахъ жилъ, такъ сказывалъ, что она — даже очень добродѣтельная барышня. Сколько это къ ней разнаго бѣднаго люда ходить, страхъ! И каждому она помогаетъ, каждого успокоить. У брата-то хозяйка гостила, жена, стало быть, и захворала она — простудилась, что ли, — такъ эта Марина Григорьевна ухаживала за нею, какъ за родной!

— Разсказывай сказки! — перебилъ его Гусарчиковъ со смѣхомъ.

— Ничего не сказки, а вѣрно говорю, отъ брата слышалъ и отъ жены его.

— Добрая душа, что говорить! — дѣланно засмѣялся Гусарчиковъ. — Вонъ сколько изъ-за нея народа безъ мѣста осталось!

— Много народа, батюшка, много, — подтвердила одна изъ женщинъ. — Теперь, куда хочешь, туда и ступай, а если бы не она, окалина, ничего этого не было бы, жили бы да жили бы. Такое у меня зло на нее, что, попадись она мнѣ, такъ-таки и вцѣплюсь въ нее когтями!

— Чѣмъ она виновата-то? Что зря болтаешь? — обратился къ

ней рабочій, заступившійся за Марину.—Можетъ, ей тяжелѣе твоего. Сама-то Лоскутникова, Лукерья Федоровна, чай, знаешь, какая ехидная, всякій отъ нея бѣжитъ. Человѣка зря винить не рука; обидѣтъ-то понапрасну недолго!

— Это, ребята,—адвокатъ!—захохоталъ Гусарчиковъ.—Господинъ присяжный повѣренный! Ха-ха-ха! Ему, видно, попало отъ Марины-то на чайшко, вотъ онъ ее и защищаетъ. А, по мнѣ, она всему виной, да! Какъ бы то ни было, а изъ-за нея все это вышло, изъ-за нея дѣло-то приковано. Вѣрно ли я говорю?

— Вѣрно, Андрей Ивановичъ, вѣрно! Что правда, то правда.—раздались голоса рабочихъ, доканчивавшихъ поданную водку.

— То-то и есть. И надо вамъ, ребята, проучить ее.

— Хе-хе-хе! Какъ же ее проучишь-то?

— А очень просто! Пойти вотъ къ дому, вызвать ее, да и проучить!

— Пойдемъ, молодцы! — встала какая-то баба. — Во какъ уважу ей, первый сортъ! „Ты,—скажу,—милая, чего ради отъ мужа ушла, всю нашу музыку нарушила?“—и сейчасъ это ее такимъ вотъ манеромъ за косы!

— Ха-ха!—засмѣялись рабочіе, требуя еще водки.—Наша тетка Матреша—герой. А что, ребята, не пойти ли и впрямь? Скука такъ-то, а такъ хоть разгуляемся.

— Пойдемъ, ребята! Маршъ! — закричало нѣсколько голосовъ.—Давай намъ, Андрей Ивановичъ, еще синенькую, выпьемъ за твое здоровье!

— Идетъ, ребята. Вотъ вамъ, пей, сколько хочешь!—крикнулъ Гусарчиковъ, бросая деньги.

Рабочіе, подъ вліяніемъ выпитаго вина, готовы были дѣйствительно съ кулаками броситься на каждого человѣка.

— Эхъ, вы, дураки, дураки!—вдругъ заговорилъ защитникъ Марины, вставая и ударяя по столу кулакомъ. — Бараны вы, вотъ что! Пришелъ къ вамъ какой-то проходимецъ и сорокъ человѣкъ васъ за десять цѣлковыхъ купилъ! Куда вы хотите идти? На какое дѣло? Васъ, словно ребятъ малыхъ, какой-то проходимецъ глупыми рѣчами мутитъ, а вы и повѣрили, и рады безобразію дѣлать!

— Какъ проходимецъ? Кто—проходимецъ? — угрожающе поднялся Гусарчиковъ.

— Ты—проходимецъ! — бросилъ ему рабочій въ лицо.—Боюсь, что ли, я тебя? Попробуй, тронь! У тебя тамъ счета какіе-то съ хозяевами, такъ ты самъ боишься за себя вступить, да и пришелъ сюда, хочешь за десятокъ рублей два,

три десятка народа погубить, благо тебя слушаютъ, благо винище твое пьютъ! Тебя надо проводить отсюда, вотъ что. Если бы народъ-то поумнѣе да потрезвѣе былъ, не такъ бы тебя встрѣтили, не такъ бы проводили. Ты зачѣмъ сюда пришелъ? Ты выбросилъ двѣ бумажки да и думаешь, что за нихъ Богъ вѣсть что сдѣлать можно? Ошибаешься, братъ! Есть тоже и среди нашей братіи, которыхъ и сотнями не купишь. На буйство подговаривать пришелъ? А вотъ взять тебя за шиворотъ, руки скрутить, да въ участокъ и предоставить. Хочешь, я тебя сволоку лучшимъ манеромъ?

Гусарчиковъ, измѣнившись въ лицѣ, торопливо одѣлъ пальто и всталъ, отдавъ слугѣ деньги.

— Я вижу, что... что... съ вами пива не сварить. Я думалъ, что вы... того,—заговорилъ онъ, дѣлая знакъ извозчику слѣдовать за собою.

— То-то „думалъ“!—насмѣшливо сказалъ рабочій.—Иди-ка по-добру, по-здорову, пока цѣлы! Мы тоже знаемъ, что вы въ хозяйскомъ-то сундукѣ грабниловку устроили, а такъ какъ вамъ не удалось, то на людяхъ зло сорвать хотите!

Гусарчиковъ уже болѣе не возражалъ и пошелъ, бормоча что-то себѣ подъ носъ. Ни одинъ изъ угощаемыхъ имъ рабочихъ не заступился за него, и всѣ сидѣли молча, сконфуженно потупившись; когда же онъ скрылся, нѣкоторые робко взглянули на своего трезваго, благоразумнаго товарища, а нѣкоторые засмѣялись и принялись острить насчетъ угощавшаго ихъ Гусарчикова:

— Ловко подѣхалъ, жидъ его заѣшь!

— Замыселъ-то у него самый хитрый былъ. Не вступишь Дмитрій, пожалуй наши ребята и пошли бы за нимъ сдуру-то.

— Ловко его Дмитрій умыл!

— То-то и есть, ребята,—обратился къ нимъ Дмитрій.—Теперь вотъ сами видите, что нехорошо вышло бы, а, не удержи васъ во-время, вы пожалуй и бѣды натворили бы! А все вино, все оно. Эхъ, много нашему брату зелено вино зла приносить! Дмитрій расплатился за чай и вышелъ изъ трактира.

XXVIII.

Прошло около мѣсяца.

Въ корридорахъ зданія окружнаго суда толпилась густая масса народа, чуть не приступомъ бравшая мѣста въ залѣ засѣданія, который съ трудомъ охраняли отъ вторженія лишней публики пристава и курьеры. Особенно много было дамъ, и особенно горевали тѣ изъ нихъ, которымъ не удалось попасть на

засѣданіе. Нѣкоторыя чуть не плакали, ходя по корридорамъ и отыскивая протекцію.

— Ахъ, какая досада, ахъ, какая досада! — чуть не со слезами говорила нарядная барыня, потерявшая всякую возможность попасть въ залъ.—Такое дѣло, романическое, можно сказать, дѣло, трагическое, и я не попала! Это—ужасъ что такое, ужасъ!

— И я не попала, вообразите себѣ!—вторила ей другая.— У меня тутъ знакомство, протекція: присяжный повѣренный Изступленковъ—другъ моего мужа и хотѣлъ непременно провести, но ничего не могъ сдѣлать, рѣшительно ничего!

— А какое дѣло сегодня, сударыня, позвольте спросить?— обратился къ дамѣ какой-то господинъ, пришедшій въ судъ за справкой и пораженный большимъ стеченіемъ публики.

— Ахъ, ужасно интересное дѣло: дѣло Гуршина, который изъ револьвера убилъ купца Лоскутникова. Романъ. чистѣйшій романъ!

Въ залѣ было дѣйствительно такъ много публики, что становилось душно. Точно опера съ какой нибудь замѣчательной дивой шла тутъ—такъ много было народа, особенно дамъ, которыя, блистая туалетами, заняли переднія скамьи и съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣли на дверь, откуда долженъ былъ выйти подсудимый.

Въ публикѣ шли толки до начала засѣданія.

— Не знаете, будетъ свидѣтельницей вдова убитаго Лоскутникова?—спрашивала одна дама у другой.

— Да, непременно, непременно. Намъ сказывали, что ее тоже потомъ судить будутъ.

— Скажите! Говорятъ, она—красавица?

— Удивительная! Но немного отталкивающая красота: дикое что-то въ ней есть, звѣрское этакое.

Сидѣвшій рядомъ господинъ засмѣялся. Дама, описывавшая красоту Марины, оглянулась на него.

— Вы надѣ чѣмъ же это смѣетесь, смѣю спросить? — сказала она.

— Да такъ-съ. Удивляетъ меня, откуда это барыни слухи эти черпаютъ? Во-первыхъ, никакихъ свидѣтелей въ дѣлѣ нѣтъ, за исключеніемъ дворника, очевидца преступленія, а, во-вторыхъ, кто это вамъ описывалъ Лоскутникову?

— Мы слышали...

— Гм... Ничего въ ней ни ужаснаго, ни звѣрскаго нѣтъ, а такъ обыкновенная смертная; хорошенькая—это правда, очень хорошенькая, но и только.

— А вы ее знаете?—спросили уже обѣ дамы.

— Видать много разъ; она—сосѣдка мнѣ.

— Ахъ, это очень интересно!

Обѣ дамы подвинулись ближе и начали допросъ.

Въ другомъ мѣсто говорили о предстоявшей свадьбѣ Марины, прибавляя массу различныхъ неправдоподобныхъ вымысловъ, а какая-то дама утѣряла своихъ сосѣдокъ, что видѣла Гуршина въ острогѣ и была поражена его видомъ.

— Какой же онъ, душечка?—замирая спрашивали сосѣдки.

— Вообразите себѣ мужчину громаднаго роста съ длинными черными волосами, блѣднаго, худощаваго и съ такими огромными, жгучими черными глазами, что его взгляда не выносить самый смѣлый мужчина! Когда я видѣла его въ острогѣ, попавъ туда съ большимъ трудомъ, черезъ посредство прокурора, я чуть въ обморокъ не упала! Глаза сверкаютъ мрачнымъ огнемъ, цѣпи звенятъ.

— Ахъ, онъ въ цѣпяхъ?

— Конечно! Его вели на прогулку четверо конвойныхъ.

— Ахъ, это—ужасъ, что такое! А вдругъ онъ бросится на судей, а потомъ на публику?

— О. нѣтъ! Вѣдь онъ скованъ и подъ сильнѣйшимъ конвоемъ.

Итакъ, во всемъ залѣ шли самые разнообразныя толки; прекратились они лишь съ появленіемъ судебного пристава, вошедшаго въ залъ и громко провозгласившаго:

— Судъ идетъ!

Судьи вошли и заняли свои мѣста. Заняли мѣста и присяжные сасѣдатели. Публика, глухо волнуясь, усѣлась.

— Дѣло московскаго мѣщанина Семена Максимова Гуршина, обвиняемаго въ убійствѣ!—объявилъ предсѣдатель.—Господинъ судебный приставъ, распорядитесь ввести подсудимаго!

Тысячи глазъ обратились на роковую дверь, переступаемую только преступниками да вооруженнымъ конвоемъ. Вотъ эта страшная дверь отворилась. Вошелъ жандармъ съ шашкою наголо и сталъ по одну сторону скамьи. Слѣдомъ за нимъ вошелъ Гуршинъ. Блѣдный, съ опущенной головой, точно склонившійся подъ тяжестью невыносимой ноши. Семейъ Максимовичъ производилъ далеко не страшное впечатлѣніе въ своемъ сѣромъ халатѣ, сидѣвшемъ на его сильно исхудаломъ тѣлѣ какимъ-то мѣшкомъ. Два жандарма съ обнаженными саблями казались тутъ лишними, ненужными. Этотъ подсудимый съ красивымъ, блѣднымъ лицомъ, съ опущенными глазами не походилъ на преступника.

Предсѣдатель предложилъ обычные вопросы подсудимому, спросивъ его:

— Вы обвиняетесь въ убійствѣ, съ обдуманнѣмъ заранѣе намѣреніемъ, купца первой гильдіи Акіма Осиповича Лоскутника; признаете ли себя виновнымъ?

— Да, признаю,—тихо, но внятно, отвѣтилъ Гуршинъ.

Ввиду признанія подсудимаго свидѣтелей не допрашивали, и председатель предложилъ Гуршину рассказать, какъ было дѣло.

— Покойный Лоскутниковъ оскорбилъ меня, и я убилъ его; вотъ все, что я могу сказать.

— Стороны не желаютъ ничѣмъ дополнить данныя, добытыя предварительнымъ слѣдствіемъ? — спросилъ председатель.—Господинъ прокуроръ, ваше слово.

Прокуроръ неторопливо занялъ мѣсто за своей трибуной и обвелъ умными, строгими глазами сперва публику, а потомъ присяжныхъ, помолчалъ секунду, откашлялся и началъ свою рѣчь.

— Господа присяжные засѣдатели! Сегодня вамъ выпало на долю сказать свое рѣшающее слово о настоящемъ подсудимомъ; его преступленіе рѣзко отличается отъ тѣхъ, съ которыми вы имѣли дѣло вчера, третьяго дня и такъ далѣе въ эту сессію. Это—не кража, не поджогъ съ корыстною цѣлью, не нападеніе съ цѣлью грабежа. Это—убійство! Преступленіе, называемое убійствомъ,—очень тяжкое преступленіе и законами карается очень строго, а обществомъ ставится на степень наибольшаго злодѣйства. Но убійство, господа присяжные, бываетъ разныхъ родовъ и вытекаетъ изъ различныхъ причинъ, которыми руководится человѣкъ, совершающій убійство. Всего болѣе человѣческое чувство возмущается убійствомъ съ корыстною цѣлью, когда одинъ человѣкъ лишаетъ жизни другого изъ-за желанія воспользоваться тѣмъ или другимъ имуществомъ этого другого. Если же убійство совершено изъ-за побужденій, не имѣющихъ корыстныхъ цѣлей, общество болѣе снисходительно смотритъ на убійцу и какъ бы извиняетъ ему его преступленіе. Вы, господа присяжные, — члены общества и вамъ не чужды его симпатіи и антипатіи, его взгляды и чувства, а потому весьма вѣроятно, что вы смотрите на подсудимаго Гуршина, какъ на человѣка, хотя и совершившаго преступленіе, но какъ бы невиновнаго; вѣдь преступленіемъ здѣсь руководило чувство мести, столь свойственное человѣческой натурѣ и всегда находящее оправданіе. Человѣку нанесено тяжкое оскорбленіе, обида—и онъ столь сильно возмущенъ этимъ, что не можетъ побороть въ себѣ чувство мести, жаждетъ смыть пятно обиды и, возмущенный, подымаетъ на оскорбителя руку; въ силу этого онъ заслуживаетъ снисхожденія, и, хотя фактъ

преступленія налицо, нравственная личность подсудимаго остается чистою. Вотъ какъ обыкновенно разсуждаютъ въ подобныхъ случаяхъ. Но это не такъ, и этотъ взглядъ совершенно невѣренъ и съ духомъ закона, выработанаго вѣками, несогласенъ. Какіе бы мотивы ни руководили мною, въ силу какихъ бы причинъ я не совершилъ преступленіе—я виновенъ, и на вопросъ о моей виновности, по здравому смыслу, непремѣнно слѣдуетъ отвѣтить утвердительно. Гуршинъ убилъ человѣка и сознается здѣсь въ своемъ преступленіи. Мы не имѣемъ основанія не вѣрить ему, что онъ убилъ Лоскутникова за оскорбленіе, и готовы менѣе строго взглянуть на это убійство, чѣмъ на убійство съ корыстною цѣлью; но ни законъ, ни вы, судьи общественной совѣсти, не должны отрицать виновность въ фактѣ убійства. Убійство есть преступленіе, убійца долженъ понести кару и быть исключеннымъ изъ среды общества, законы котораго онъ нарушилъ. Я высказалъ вамъ, господа присяжные, взглядъ закона на убійство, а нравственное значеніе убійства вы знаете сами. Здѣсь одинъ человѣкъ по собственному произволу поднялъ руку на своего ближняго и отнялъ у жены—мужа, у матери—сына; несомнѣнно онъ виновенъ, и вы должны на вопросъ о его виновности отвѣтить утвердительно. Вотъ какъ мнѣ представляется это дѣло, господа присяжные, и смѣю думать, что вы согласитесь со мною.

Прокуроръ сошелъ съ трибуны.

Послѣ краткаго резюме председателя присяжные удалились въ совѣщательную комнату. Защитника Гуршинъ не имѣлъ—онъ категорически отказался даже отъ назначаемаго судомъ, равно какъ отказался и отъ послѣдняго слова.

Публика, по удаленіи присяжныхъ засѣдателей, не ушла изъ зала, чтобы не потерять мѣста, и только записные курильщики побѣждали покурить.

Среди публики пошли споры и толки.

— Оправдаютъ, непремѣнно оправдаютъ!—увѣренно говорила бойкаго вида дама.

— Почему же оправдаютъ?—спрашивали ее.

— Ахъ, Боже мой, такое романическое преступленіе!

— Мало ли что! А убивать все-таки не слѣдуетъ!

— Но вѣдь онъ благородно убилъ, геройски!

— Какъ тамъ онъ убилъ, а убилъ. Прокуроръ-то совершенно вѣрно сказалъ, что убійство все-таки есть тяжкое преступленіе, и это вѣрно-съ! Я вамъ паступилъ на ногу, толкнулъ, обругалъ даже, допустимъ, а вы меня сейчасъ убивать! Гдѣ же тутъ право?

— Ахъ, напрасно этотъ Гуршинъ не имѣлъ защитника!—

говорила другая дама.—Какую бы блестящую рѣчь можно сказать!..

Во многихъ кружкахъ высказывали симпатію Гуршину и жалѣли его, особенно тѣ, кто хотя по наслышкѣ знали его.

На заднихъ скамейкахъ сидѣло нѣсколько мужиковъ, сосѣдей Гуршина по имѣнію. Эти угрюмо вздыхали и прислушивались къ толкамъ чистой публики.

Въ одномъ мѣстѣ дамы и мужчины обступили адвоката и спрашивали его мнѣнія.

— Обвинить, но дадутъ снисхожденіе,—увѣрялъ адвокатъ.

— А какому наказанію подлежитъ человѣкъ за убійство?

— За убійство съ обдуманнѣмъ заранѣе намѣреніемъ безъ особо смягчающихъ вину обстоятельствъ слѣдуетъ лишеніе всѣхъ правъ и каторжныя работы въ рудникахъ отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ. Но Гуршинъ имѣетъ смягчающія обстоятельства—нанесеніе обиды, и потому ему дадутъ снисхожденіе, такъ что наказаніе будетъ значительно менѣе.

— То есть?

— Года на три, на четыре въ каторжную работу, а потомъ поселеніе въ Сибирь.

Но вотъ раздался звонокъ, извѣщающій, что присяжные готовы, и публика, занявъ мѣста, затихла. Снова вошелъ судъ и занялъ свои мѣста. Вышли и присяжные засѣдатели. Старшина ихъ взшелъ на возвышеніе, занимаемое судомъ, показавъ листъ предсѣдателю и потомъ громко и внятно прочитавъ среди гробовой тишины:

— Виновенъ ли московскій мѣшанинъ Семень Максимовъ Гуршинъ въ убійствѣ съ обдуманнѣмъ заранѣе намѣреніемъ московскаго купца Акима Осиповича Лоскутникова? Да, виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія.

Старшина передалъ листъ предсѣдателю и сошелъ съ возвышенія, опустивъ голову и стараясь не глядѣть на подсудимаго.

Приговоромъ суда Гуршинъ былъ лишенъ всѣхъ правъ состоянія и подвергнутъ ссылкѣ въ каторжныя работы на шесть лѣтъ, съ поселеніемъ послѣ этого срока въ Сибирь.

Публика разошлась, толкуя о дѣлѣ, а подсудимаго увезли въ острогъ, изъ подслѣдственнаго переименовавъ въ рѣшеннаго.

XXIX.

Быль сѣрый, теплый денекъ; снѣгъ на московскихъ улицахъ особенно разрыхлѣлъ и потемнѣлъ, а надъ городомъ висѣлъ гостой пологъ сѣраго тумана. По ухабистой мостовой отда-

ленныхъ улицъ Москвы въ такой день ѣхали сани, запряженные красивой вороной лошадыо. Въ саняхъ сидѣли Марина и Бусовъ, уже объявленные женихомъ и невѣстой.

— Какое тяжелое свиданіе предстоитъ намъ!—сказала Марина, вглядываясь въ видѣвшійся въ концѣ улицы острогъ.

— Да,—сумрачно согласился Бусовъ.—И знаешь, моя дорогая, не столько будетъ тяжело намъ, сколько ему!

— Да, это—правда,—тихо прошептала Марина.—Насъ ожидаютъ счастье, жизнь, а его... Боже, Боже, какъ мнѣ жаль его! Зачѣмъ, зачѣмъ онъ сдѣ...

Она остановилась, не договоривъ своей мысли.

— Если бы онъ не сдѣлалъ этого, мы не могли бы быть съ тобою!—договорилъ за нее Бусовъ.—Да, наше счастье куплено цѣною несчастья этого хорошаго человѣка.

— Почему такъ?—съ тоскою воскликнула Марина.—Почему не могло быть это счастье безъ такихъ страшныхъ жертвъ?

Бусовъ только плечами пожалъ и снова вздохнулъ.

Сани подъѣхали къ острогу, и кучеръ осадилъ лошадь.

Это былъ пріемный день, и въ комнатѣ для свиданій съ арестантами было довольно много народа. Тамъ и самъ у рѣшетки, отдѣляющей заключенныхъ отъ публики, стояли пары: по одну сторону пасмурная, сѣрая фигура арестанта, по другую—его гость, то мужичекъ, угрюмо понурившій голову и толковавшій о близкихъ дѣлахъ или молчаливо глядѣвшій на полъ, то женщина, припавшая къ рѣшеткѣ и впившаяся глазами въ дорогое лицо сына, мужа, брата, отца. Тяжело было находиться въ этой мрачной комнатѣ, хотѣлось воздуха, свѣта, но посѣтители ея не уходили до тѣхъ поръ, пока ихъ не приглашали сдѣлать это.

Къ пріѣхавшимъ Маринѣ и Бусову вызвали Гуршина. Они остановились у рѣшетки, глядѣли вглубь отдѣленной ею половины комнаты и ждали. Въ полутемной дали входили и выходили арестанты. Одинъ изъ нихъ вышелъ впередъ, оглянулъ посѣтителей и быстрыми шагами направился къ Маринѣ.

— Пришли. Спасибо, спасибо вамъ!—проговорилъ онъ.

Марина вздрогнула вся, узнавъ знакомый голосъ, и даже отшатнулась отъ рѣшетки, отъ этого подошедшаго къ ней незнакомаго человѣка со знакомымъ голосомъ. Она не узнала Гуршина, не узнала въ этомъ худомъ, блѣдномъ человѣкѣ того полнаго жизни, веселаго, подвижнаго, энергичнаго Гуршина, котораго она знала еще такъ недавно. А костюмъ! Сѣрый халатъ, какія-то туфли, голова бритая. Боже, а это что? что это набрякиваетъ у него на ногахъ? Цѣпи, кандалы! Но это—онъ, Гуршинъ, этотъ блѣдный человѣкъ съ цѣпями на ногахъ. Ма-

рина схватила за переpletъ рѣшетки, припала къ нему головой и зарыдала.

— Что вы?—подошелъ къ ней Гуршинъ.—Э, полноте! Это страшно только для перваго взгляда, а потомъ ничего. Успокойтесь, Марина Григорьевна, полно! Здравствуйте, Бусовъ! Спасибо, что пріѣхали.

— И вы благодарите!—со слезами въ голосѣ сказалъ Павелъ Петровичъ, пожимая черезъ рѣшетку руку Гуршина.—Вѣдь... вы ради насъ тутъ, ради Марины...

— Кто вамъ сказалъ?—спросилъ Гуршинъ, смѣясь одними глазами и смѣясь насмѣшливо.—Э, нѣтъ, мой милый, это вы напрасно! Я здѣсь по своей характерности, какъ говорилъ у насъ одинъ арестантъ про себя. Да, я по своей характерности. Но не въ этомъ дѣло, а вотъ она...—Онъ сдѣлалъ шагъ къ рыдающей Маринѣ.—Марина Григорьевна, перестаньте, прошу васъ. Если что мнѣ тяжело, такъ это ваши слезы.

Марина сейчасъ же подавила рыданія и отерла лицо платкомъ.

— Да какъ же... какъ же?.. вѣдь вы... вы вонъ какой!—черезъ силу сдерживая рыданія, сказала она.

— Это—все пустое, не смотрите вы на это. Вѣдь главное то, что въ душѣ человѣка дѣлается, внутри его, а у меня внутри хорошо. Шестъ лѣтъ этой работы я отбуду скорехонько, и вовсе она не такая ужъ страшная, какъ привыкли думать. У насъ тутъ есть одинъ мужикъ, онъ былъ на работѣ-то на этой, семь лѣтъ оттяпалъ и вотъ опять идетъ. „Ничего,—говорить,—много легче нашей работы во время страды“. Да-съ! Такъ отбуду я свой срокъ и сяду на новую землю, на сибирскую. Хорошая, говорятъ, земля, и край хорошій. Заживу, за работу примусь, женюсь тамъ, можетъ, на сибирячкѣ и буду жить... Дорогая! Вѣдь я знаю, что вы будете счастливы, свободны, такъ могу ли я быть несчастнымъ? О, какъ мнѣ хорошо сознавать это, это счастье, свободу вашу!

— Вы... вы—герой, вы—ангелъ! — восторженно проговорила Марина, готовая цѣловать худыя, блѣдныя руки Гуршина.

— Э, какой тамъ герой! Я просто сдѣлалъ то, что мнѣ нравилось сдѣлать, и совсѣмъ-таки безъ тягости несу свое наказаніе, безъ страха гляжу впередъ. Вы будете счастливы, вы, этого мнѣ совершенно достаточно! Видите ли, въ чемъ дѣло, Марина...—Гуршинъ поглядѣлъ въ сторону, гдѣ стоялъ Бусовъ, оставленный ими и чувствовавшій себя не совсѣмъ ловко.—Ему неловко здѣсь, — сказалъ Гуршинъ,—онъ хочетъ дать намъ поговорить однимъ и догадывается, что мнѣ не особенно сладко глядѣть на него.

— Вы его не любите?—спросила Марина.

— Нѣтъ, напротивъ. Онъ—очень хорошій человѣкъ, съ душою и съ сердцемъ, но... но не легко смотрѣть на человѣка, который обладаетъ тѣмъ, за обладаніе чего съ охотой отдалъ бы все, все! — Гуршинъ оглянулся на Бусова и позвалъ его. Тотъ подошелъ.—Что вы удаляетесь отъ насъ? У насъ секретовъ съ вашей невѣстой нѣтъ. Поздравляю васъ и безъ обыкновеннаго пожеланія счастья.

— Почему?

— Гм... Потому, что вотъ она—ваше счастье.

Гуршинъ кивнулъ головой на Марину.

— Тяжело, что вамъ приходится въ такой обстановкѣ поздравлять насъ,—проговорилъ Бусовъ.

— При другой обстановкѣ насъ и нельзя было бы поздравить,—тихо-тихо выговорила Марина.

— Да, такъ я хотѣлъ высказать вамъ свой взглядъ на все это,—поспѣшно заговорилъ Гуршинъ, не давая словамъ Марины произвести впечатлѣніе. — Видите, въ чемъ дѣло. Такъ поступить, какъ сдѣлалъ я, было неизбежно. Я любилъ васъ и видѣлъ, что ваша жизнь невыносимо тяжела, а вѣдь любовь бесплодна—это что же такое? пустой звукъ. Я хотѣлъ чѣмъ нибудь не то что доказать свою любовь, а ознаменовать, выразить ее, ну, и избавилъ васъ отъ связывавшаго васъ мужа. Я, быть можетъ, не имѣлъ права поднимать на него руку, но вѣдь мало ли что дѣлается безъ права? Притомъ и его жизнь не могла быть сладка. Вообще-то говоря, я не разсуждалъ много, а просто сдѣлалъ то, что мнѣ казалось лучшимъ. Ну, а вотъ это, вотъ это,—онъ тронулъ себя за платье и тряхнулъ кандалами,—это, ей Богу, не столь страшно для меня, бездомнаго, одинокаго. Въ своемъ ли имѣньицѣ, въ Москвѣ ли, въ Костромѣ ли—мнѣ все равно было бы невыносимо жить безъ васъ, а тутъ хоть перемѣна мѣстъ, хоть я этой... каторгой заглушу въ себѣ ту муку. Да вообще будетъ объ этомъ. Помните одно: я несу съ собой сладостное чувство отъ того, что принесъ дорогому, дорогому мнѣ человѣку счастье.

— Намъ тяжело оно, — промолвила Марина,—намъ тяжела эта жертва.

— А вы знайте, что мнѣ хорошо, пріятно, и вамъ не будетъ тяжело. Да будетъ, будетъ объ этомъ! Вотъ старухи, тетки моей не оставьте! Знаете что, Бусовъ? Переселяйтесь-ка вы въ мой хуторокъ! Хороша жизнь въ деревнѣ, ей Богу хороша. Этотъ хуторокъ я подарилъ формальнымъ порядкомъ теткѣ, она вамъ продастъ его, а вы ступайте туда жить. Хорошо?

— Я поговорю объ этомъ съ Мариной, и, если она будетъ не противъ этого, съ охотой послѣдую вашему совѣту; городъ мнѣ ничего дать не можетъ.

Гуршинъ долго говорилъ о жизни въ деревнѣ, о наслажденіи, которое даетъ трудъ земледѣльца, о тишинѣ и безмятежности деревенской жизни.

Надзиратель напомнилъ, что пора кончать свиданіе.

— Ахъ, да, да! — спохватился Гуршинъ и поблѣднѣлъ. Онъ стиснулъ зубы, собралъ всѣ силы и совладалъ съ собою настолько, что почти спокойно проговорилъ: — ну, прощайте! Я потомъ извѣщу васъ, какъ и куда писать мнѣ. Прощайте! Э, Марина Григорьевна, плакать нельзя! Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста безъ слезъ!

— Да вѣдь... вѣдь на... навѣки! — захлебываясь слезами, еле выговорила Марина.

— Да, навѣки! Но этому такъ суждено было быть, и мы должны покориться. Прощайте!

— Пора, пора, господа, не задерживайте! — заторопилъ надзиратель. — Гуршинъ, пора!

— Прощайте! — еще разъ сказалъ Семень Максимовичъ и поцѣловалъ руку Марины, причемъ его губы были сухи, горячи и дрожали.

Бусовъ взялъ Марину подъ-руку, кивнулъ головой Гуршину, тоже заливаясь слезами, и пошелъ къ выходу.

Когда за ними захлопнулась тяжелая дверь, завизжавъ блокомъ, Семень Максимовичъ схватился руками за то мѣсто рѣшетки, гдѣ стояла Марина, припалъ къ нему головою, и глухія рыданія огласили мрачную, опустѣвшую комнату. Черезъ пять минутъ его отнесли въ тюремный лазаретъ, а къ вечеру съ нимъ сдѣлалась сильнѣйшая горячка, но онъ вынесъ ее и былъ сосланъ на каторгу.

XXX.

Лукерья Федоровна вернулась съ богомолья и поселилась, какъ она объявила роднѣ, на житье въ своемъ домѣ, но не въ главномъ, большемъ, а во флигелѣ, гдѣ ранѣе было отдѣленіе конторы. Дѣло она ликвидировала окончательно, домъ сдала разбогатѣвшимъ родственникамъ, а капиталъ положила въ государственный банкъ. Она значительно перемѣнилась въ этотъ небольшой промежутокъ времени — похудѣла, осунулась; ея и безъ того сжатые губы теперь сжались еще болѣе, точно срослись одна съ другой, а пронзительные, со стальнымъ блескомъ глаза ушли вглубь и мрачно сверкали изъ-подъ сдвинутыхъ бровей. Одѣваться она стала гораздо проще и не выхо-

дѣла изъ шерстяного чернаго платья, одѣвая поверхъ его суконную черную шубку, а голову прикрывала чернымъ же шелковымъ платкомъ.

Богъ вѣсть, что изсушило, состарило и повергло въ мрачное состояніе эту женщину, но только врядъ ли горе о сынѣ. Лукерья Федоровна врядъ ли могла сильно любить и потомъ скорбѣть о потерѣ любимаго человѣка. Она была мать, ей тяжело было видѣть сына въ гробу, но далеко не настолько тяжело, чтобы пасть подъ этимъ горемъ, подъ этой тяжестью. Не снѣдалъ какой-то другой недугъ и другое чувство кипѣло въ этомъ неотзывчивомъ на любовь сердцѣ. Этимъ чувствомъ было чувство мести.

Поученія различныхъ старцевъ и старицъ, съ которыми всегда водила компанію Лукерья Федоровна, говорили, что надо все предать забвенію, простить, молиться о врагахъ и любить ихъ; то же говорили и тому же поучали и священныя книги, читаемыя старухой во время поѣздокъ на богомолье, но сердце говорило другое. Оно жаждало мести и кипѣло злобой къ человѣку, принесшему столь много горя, оскорбленія, зла. Этотъ человѣкъ былъ Марина; она была въ глазахъ старухи причиной гибели сына, съ которымъ упало и дѣло, такъ льстившее самолюбивой старухѣ; она была виновницей, какъ думала Лукерья Федоровна, постановки убившей ее пантомимы, она сдѣлала изъ дома Лоскутниковыхъ басню, повторяемую въ городѣ на всѣ лады.

Старуха не разорилась отъ ликвидаціи дѣла, но это дѣло позволяло ей гордо держать голову среди московскихъ промышленниковъ и коммерсантовъ, считать себя за одну изъ крупныхъ представительницъ тѣхъ и другихъ, и теперь этого дѣла не было. И вотъ она, всѣми забытая, всѣми осмѣиваемая, какъ опять-таки думала она, живетъ сиротою, а эта гордая, насмѣявшаяся надъ ними красавица поставила-таки на своемъ, стала свободна, живетъ у отца и снова выходитъ замужъ. И—увы!—теперь уже старуха не имѣетъ надъ нею власти!.. Еще когда она была свекровью Марины, она была, такъ сказать, сыта сознаниемъ, что можетъ сдѣлать съ нею многое, что невѣстка въ ея власти, а теперь этого уже не было. Теперь эта красавица живетъ, веселится, одерживаетъ побѣды и знать не хочетъ осиротѣлой, обиженной, опозоренной старухи.

Эта мысль грызла Лукерью Федоровну, не давала ей покоя и сушила, какъ злой недугъ. Она хотѣла послѣдовать ради спасенія души совѣтамъ старухъ-богомолокъ, но сознавала, что не можетъ сдѣлать это, и въ ней боролись двѣ силы. Она старалась забыть о существованіи Марины, но невольно каждую

минуту послѣдняя шла ей на умъ и вызывала противъ себя цѣлую бурю злобы, а потребность отмстить, сорвать зло, все росла и росла.

Приближенная къ старухѣ новая фаворитка, какая-то заштатная чиновница, какъ она называла себя, Маргарита Карловна, понимала чувства честолюбивой, обиженной и озлобленной старухи и подогрѣвала въ ней эти чувства, справедливо полагая, что ничѣмъ она такъ не угодить Лоскутниковой, какъ солидарностью взглядовъ на тайно питаемое желаніе отмстить.

— Ужъ я и надивиться не могу, благодѣтельница вы моя, на кротость да на ангельское терпѣніе ваше!—говорила Маргарита.—Эта грѣховодница, невѣстушка ваша, столь много горя вамъ причинила, а вы ее въ полномъ забвеніи оставили!.. Ее бы, благодѣтельница, пιάть надо, всю жизнь пιάть, покоя бы ей не давать, всѣми бы силами донимать!..

— А грѣхъ-то?—сурово возражала Лоскутникова.—Что памъ старецъ Августинъ въ скиту-то говорилъ?

— Ахъ, благодѣтельница! Старецъ Августинъ—святой челоувѣкъ, ему все житейское чуждо, онъ свою душу великими подвигами умиротворилъ, а мы—мірскіе люди, насъ волненіе волнуется. Можетъ, старецъ Августинъ въ міру и больше нашего еще грѣшилъ, а теперь замаливаетъ свои грѣхи. Замолишь-то ихъ никогда не поздно... Мы въ мірѣ живемъ, насъ мірское и волнуетъ!..

Какъ бы то ни было, а слова хитрой Маргариты попадали въ цѣль и заставляли Лукерью Федоровну думать, что въ міру неизбежно жить по-мірски.

„Старецъ Августинъ или старипа Манефа говорили справедливо: вѣрно, что мечь—грѣхъ, что надо прощать врагамъ, но вѣдь они отрѣшились отъ міра, они, можетъ быть, святые, а я—мірской челоувѣкъ, и помыслы у меня мірскіе, и жить я хочу по-мірски“,—думала Лукерья Федоровна и на этомъ успокоилась, оправдывая въ себѣ жажду мести и лишь задумываясь на способъ отмщенія.

Какъ-то къ ней вошла Маргарита и сообщила, что пришелъ нѣкто Гусарчиковъ, Андрей Ивановичъ, который желаетъ видѣть Лукерью Федоровну и говорить съ нею по очень важному дѣлу.

— Что за Гусарчиковъ такой? Фамилія что-то знакомая... Не на бѣдность ли пришелъ просить?—спросила старуха.

— Нѣтъ, благодѣтельница, а по важному дѣлу по какому-то. Онъ служилъ у васъ въ конторѣ... Пріятный такой мужчина, деликатный.

— Ну, пусть войдетъ, увидимъ, что за дѣло такое.

Гусарчиковъ, потерпѣвъ фіаско у рабочихъ, еще болѣе озлобился на Марину и Бусова и поклялся не оставлять ихъ въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока не устроитъ имъ какой нибудь пакости, какъ онъ выражался. Узнавъ, что Лоскутникова пріѣхала въ Москву, онъ задумалъ закинуть тутъ удочку и предложить свои услуги, полагая, что та давно не прочь насолить своей невѣсткѣ. Познакомиться съ богатой старухой и заслужить ея расположеніе Гусарчикову было выгодно, тѣмъ болѣе что его дѣла становились плохими: пріобрѣтенныя при управленіи Ивана Борисовича денежки поистратились, а впереди ничего не предстояло, такъ что надо было придумать какой нибудь источникъ для безбѣднаго и веселаго существованія, къ которому достаточно привыкъ Гусарчиковъ въ послѣднее время. Онъ для сближенія съ Лукерьей Федоровной повелъ дѣло умно и, узнавъ что она близка съ Маргаритой, сталъ дѣйствовать черезъ эту даму, прямо заявивъ ей, что онъ желаетъ нажить, а если наживетъ, то заплатитъ хорошій процентъ ей. Маргарита съ охотой вызвалась помогать ему въ ожиданіи „великихъ и богатыхъ милостей“. Теперь первая цѣль союзниковъ была достигнута—Лукерья Федоровна приняла Гусарчикова.

Андрей Ивановичъ вошелъ къ старухѣ съ почтительной улыбкой на лицѣ.

— Простите, высокоуважаемая Лукерья Федоровна, что я осмѣлился васъ побеспокоить, но дѣло мое весьма важное, такъ что я рѣшился-сь,—проговорилъ онъ, не отходя отъ двери.

Старуха окинула его пытливымъ взглядомъ, и видимо онъ произвелъ на нее хорошее впечатлѣніе.

— Что за дѣло такое у васъ?—спросила она, не приглашая гостя садиться.—Лицо-то ваше знакомо мнѣ.

— Я имѣлъ честь служить у васъ въ конторѣ и былъ по оклеветаніи врагами и завистниками уволенъ, послѣ того какъ обнаружили незаконные поступки Ивана Борисовича.

— А, это вы и есть! Это вы за бухгалтера у моего дверька любезнаго были?

— Я-съ... Но, клянусь вамъ, я не виноватъ! Лукерья Федоровна, я былъ лицо подчиненное, Иванъ Борисовичъ были моимъ полнымъ хозяиномъ, такъ могъ ли я послушаться ихъ? Что они приказывали, то я и дѣлалъ-сь. И притомъ неопытность моя. Я вѣдь былъ простымъ конторщикомъ, писцомъ-сь, а на меня возложили обязанности бухгалтера—очевидно, что я ничего не понималъ, въ книгахъ, какъ въ лѣсу, былъ и только радовался, что такъ возвышенъ хозяиномъ, не предполагая того, что это возвышеніе могло довести меня до суда. Впрочемъ моя виновность была столь незначительна, что вашъ покойный сынъ

Акимъ Осиповичъ оставили меня въ покоѣ, только отъ мѣста отставили въ примѣръ другимъ-сь.

— Ну, хорошо. Какое же дѣло у васъ до меня?

Гусарчиковъ оправился и переступилъ съ ноги на ногу.

— Желаю быть благодарнымъ за вашу хлѣбъ-соль, и, будучи самъ жестоко обиженъ вапшей невѣсткой Мариной Григорьевной и ея тёперешнимъ женихомъ, хотѣлъ бы предупредить васъ о новомъ злѣ, которое они противъ васъ замышляютъ,—сказалъ онъ.

— Какъ, опять?—мрачно спросила старуха.—Гм... Присядьте! А какое же вы зло имѣете противъ Маришки?

— Помилуйте-сь!.. Вѣдь я изъ-за нея погибаю-сь. Надо вамъ сказать, что она, связавшись съ этимъ Бусовымъ, всѣмъ его недругамъ насолала черезъ посредство Ивана Борисовича, а я съ Бусовымъ всегда въ контрахъ былъ, ну, она и подвела меня. На-дняхъ было опять въ бѣду попалъ изъ-за нея-сь: она идетъ по Ордынкѣ, а я ей навстрѣчу попадаюся; вдругъ хватаетъ она меня за пальто и начинаетъ кричать; обѣгается народъ, является представитель полиціи, и она объявляетъ, что я имѣлъ намѣреніе оскорбить ее. Положимъ, что ничего, можетъ быть, не вышло бы изъ этого, такъ какъ не было никакихъ свидѣтелей, но вѣдь огласка, скандалъ-сь!.. Я — чело-вѣкъ молодой, желаю служить, и меня скомпрометтировать не-долго-сь. Дѣлать нечего, покорился я ей, попросилъ прощенія, а ей моего униженія только и нужно было: пошла, да и смѣется.

— Экая зловредная, ехидная бабенка!—злбно замѣтила Лукерья Федоровна.—Что же она противъ меня замышляетъ?

— Новыя козни-сь! Она свела знакомство съ однимъ писателемъ, а тотъ сочинилъ ей пьесу для представленія на театрѣ-сь и въ этой пьесѣ вы и вся ваша семья выведены въ весьма некрасивомъ и для васъ обидномъ видѣ. Особенно вы очень ужасно даже оскорблены.

Лукерья Федоровна охотно и безъ малѣйшаго сомнѣнія повѣрила ловко придуманной лжи Гусарчикова и поблѣднѣла.

— Злодѣйка!—прошентала она, стискивая въ кулакѣ платокъ.

— Да-сь, точно, что злодѣйка. Вы выведены въсѣма даже уродливо-сь... Какая-то дружба ваша съ адвокатомъ придумана...

Тутъ старуха даже затряслась вся. Это было ея большое мѣсто. Еще при жизни мужа, а потомъ уже вдовою, она благоволила къ одному адвокату, горячо любила его, много давала ему денегъ и воображала, какъ это всегда бываетъ, что никто не знаетъ и не догадывается о ея исторіи съ этимъ адвокатомъ, хотя исторія была извѣстна всему городу.

— Да вѣдь это что же? вѣдь это... это—разбой!—проговорила она.—Маргарита, ступай, оставь насъ однихъ переговорить, по-секрету переговорить надо.

Маргарита, бывшая до сихъ поръ въ комнатѣ, покорно ушла.

— Что же теперь дѣлать-то?—обратилась старуха къ Гусарчикову.—Къ начальнику ѣхать? жаловаться?

— Не поможетъ-съ!

— Не поможетъ-съ? Такъ неужели же можно такъ порочить людей?

— Вѣдь всѣ будутъ подъ вымышленными фамиліями, только факты такъ сгруппируются, что вамъ будетъ понятно, про кого составлено, да господа артисты заграницей живутъ живыми личностями, то есть вами, Акимомъ Осиповичемъ, адвокатомъ этимъ и прочими.

— Ты видѣлъ, что ли, это сочиненіе-то?

— Читалъ-съ! Составлено злобно. Я было говорилъ сочинителю: „Бросьте, оставьте!“—а онъ отвѣчаетъ на это: „Что я за дуракъ, что брошу? Мнѣ за это двѣ тысячи заплатятъ, я подаркомъ тружусь“. Оно и вѣрно - съ: человѣкъ хотя и образованный, благородный, но бѣдный, двѣ тысячи—для него деньги-съ.

— А если ему три дать?—спросила, помолчавъ немного, Лукерья Федоровна.

У Гусарчикова по душѣ точно масломъ провелъ кто.

— Не... не знаю-съ... Полагаю, что возьметъ и писать не станетъ,—сказалъ онъ.

— Уладь мнѣ это дѣло, я тебя награжу. Ты вотъ что: приведи-ка мнѣ этого сочинителя-то.

„А я полагалъ, что она мнѣ деньги дастъ!“—немного разочарованно подумалъ Гусарчиковъ, но скоро утѣшился и весело сказалъ:

— Хорошо-съ, приведу-съ. Когда прикажете?

— Когда хочешь... Завтра приведи!—Старуха встала, прошла по комнатѣ и остановилась предъ Гусарчиковымъ; лицо ея было блѣдно, глаза сверкали, тонкія, блѣдныя губы тряслись.—Изведи мнѣ ее, изведи!.. Озолочу тебя, на всю жизнь счастливымъ сдѣлаю!—тихо проговорила она, наклоняясь къ самому лицу Гусарчикова.—Не могу я выпести... тошно мнѣ, что она живетъ... Покой я не знаю изъ-за нея!.. Изведи, уничтожь ее!

Гусарчикову даже страшно стало. Онъ робко поправился на стулѣ и потупилъ глаза.

— Да вѣдь какъ ее изведешь?—проговорилъ онъ.

— Какъ знаешь... придумай какойнибудь способъ... Ничего не пожалѣю для тебя!

Гусарчиковъ мялъ свою шапку, не поднимая глазъ.

„Сдѣлаю ли я чтонибудь или нѣтъ, для этой старухи, но тутъ мнѣ перепадеть!“—думалъ онъ и, пообѣщавъ подумать, а завтра пока привести сочинителя, ушелъ.

У Гусарчикова былъ трактирный знакомый, сочинитель Засидкинъ, Эразмъ Эразмовичъ. Этотъ Засидкинъ когда-то въ какой-то захудалой газетѣ писалъ замѣтки въ дневникъ происшествій и съ тѣхъ поръ считалъ себя и заставлялъ другихъ считать его сочинителемъ. Изъ газеты его выгнали за различные темныя продѣлки, и онъ трепался по Москвѣ, живя, какъ птица небесная, ни сѣя, ни собирая въ житницу, но бывая и сытъ, и пьянъ. Онъ то обыгрывалъ какогонибудь гуляку на биллиардѣ, то срывалъ съ когонибудь халтуру, то строчилъ прошенія и жалобы, а иногда вѣроятно и воровалъ. Бывалъ онъ часто бить, ночевалъ во всѣхъ участкахъ и то являлся прилично и даже франтовски одѣтымъ, то ходилъ въ рубищѣ, и тогда ютился гдѣнибудь по трактирчикамъ самаго низкаго разбора и ночевалъ, гдѣ Богъ приведетъ, а потомъ ловилъ какогонибудь простака, обдѣлывалъ его и снова появлялся въ модной визиткѣ, съ бронзовой цѣпочкой, въ пестромъ галстухѣ и съ сигарой въ зубахъ.

Засидкинъ былъ въ періодѣ благополучія, когда его отыскалъ Гусарчиковъ. Онъ имѣлъ довольно порядочное пальто, пару платья, шляпу, перемены три бѣлья и жилъ въ меблированныхъ комнатахъ, но денегъ за квартиру уже не платилъ и былъ обреченъ хозяиномъ на изгнаніе. Гусарчиковъ пригласилъ его въ трактиръ, угостилъ и рассказалъ суть дѣла.

— Что же, это можно,—вызвался сочинитель, откидываясь на спинку стула и засовывая руки въ карманы. — Я, стало быть, пишу пьесу, читаю этой бабѣ твоей и получаю деньги. Это можно...

— То-то можно!—сурово замѣтилъ Гусарчиковъ, досадуя, что принужденъ дать этому ненавистному для него человѣку кушъ.— Знаю, что можно, да вотъ сколько тебѣ за это надо-то?

— Мнѣ-то? Я, знаешь, великодушень: тебѣ предложено три тысячи—я готовъ раздѣлить эту сумму пополамъ.

— Вотъ этого не хочешь ли? — злобно показалъ Гусарчиковъ шишъ.—По-моему, двѣсти рублей тебѣ за глаза... Въдь ни за что получишь, въ одну ночь получишь за какуюнибудь ерунду...

— Эге! Нѣтъ, голубчикъ, такъ не выйдетъ. Хочешь—пополамъ пойдемъ, а то не нужно, я теперь не нуждаюсь.

— „Не нуждаюсь“? Не нуждается, а хозяинъ самовара не даетъ и номеръ топить не велитъ!

Засидкинъ, точно не слыша, насвистывалъ и безпечно глядѣлъ въ потолокъ. Какъ ни торговался Гусарчиковъ, какъ ни горячился—сочинитель стоялъ на своемъ и лишь послѣ еще потребованной бутылки мадеры согласился работать за тысячу рублей.

Писать какое либо условіе въ такомъ дѣлѣ было неудобно и пришлось вѣрить Засидкину на слово, такъ какъ онъ долженъ былъ получить деньги съ Лоскутниковой и конечно имѣлъ полнѣйшую возможность ничего не давать Гусарчикову. Все-таки послѣдній на всякій случай взялъ съ него расписку въ двѣ тысячи рублей.

— Завтра утромъ заѣзжай, и пьеса будетъ готова,—сказалъ Засидкинъ, получая въ задатокъ пять рублей.—Напишу злостно и бабу твою такъ напугаю, что прибавитъ еще... Хе-хе-хе!.. Адю пока, монъ шеръ, о ревуаръ *)!..

На другой день, въ скромной, точно монашеская келья, гостиной Лукерьи Федоровны сидѣли Гусарчиковъ и Засидкинъ. Старуха исподлбья поглядывала на сочинителя, видимо робѣла, конфузилась и не знала, какъ поставить себя и гостя. Засидкинъ, въ пестромъ жакетѣ, въ яркомъ галстухѣ, очень важно сидѣлъ въ креслѣ, принявъ свободную позу, игралъ бронзовой цѣпочкой, прикрѣпленной въ жилетномъ карманѣ булавкой, такъ какъ часовъ у сочинителя не имѣлось. Подъ мышкой онъ держалъ портфель.

— Вотъ они принесли извѣстное вамъ сочиненіе, Лукерья Федоровна,—послѣ нѣкотораго молчанія сказалъ Гусарчиковъ.

— Принесли? Ну, такъ что же... Я... того, я готова... Вы чая не хотите ли? или водки, можетъ быть?—вовсе непохожая на самое себя, спросила Лукерья Федоровна.

— Водки?—прищурился сочинитель.—Нѣтъ, я по утрамъ кофе пью и коньякъ. Да вотъ икры у васъ нѣтъ ли хорошей? Я и икру люблю.

— Вы послѣ, Эразмъ Эразмовичъ, —почтительно обратился къ нему Гусарчиковъ.—Сперва бы кончили, а потомъ бы и кушать.

— Ну, что же, я согласенъ!.. Кха! Вотъ-съ, я принесъ. Вамъ передавалъ, сударыня, Гусарчиковъ, что я получилъ отъ госпожи отъ этой!..

— Отъ Марины Григорьевны Лоскутниковой,—пояснилъ Гусарчиковъ.

— Да, отъ Лоскутниковой, получилъ заказъ на драму и на-

*) До свиданья, мой дорогой!

писаль-сь. Вотъ она со мною... Я слышалъ, что вамъ не угодно, чтобы эта драма шла на театрѣ?

— Да! Кому же угодны могутъ быть пасквили?

— Н-да... Ну, такъ вотъ онъ. Гусарчиковъ, говорилъ, что вы... того... готовы купить у меня мою драму?

— Да мнѣ зачѣмъ же она? Я желаю только, чтобы не было такихъ мерзостей.

— Н-да... Впрочемъ долженъ вамъ сказать, что моя драма— не мерзость, она одобрена многими.

— Да надо прямо къ дѣлу приступить,—перебилъ его Гусарчиковъ.—Лукерья Федоровна знаетъ, что вамъ даютъ за вашу пьесу двѣ тысячи, и предлагаетъ вамъ три, чтобы она не шла и чтобы вы уничтожили ее. Вотъ и все-сь!

— Да, я вотъ такъ и говорила. Я согласна,—довольная поворотомъ дѣла, сказала Лоскутникова.

— Согласны?—прищурился Засидкинъ.—Три тысячи даете?

— Да.

— Гм... А ежели четыре?—сочинитель откинулся на спинку стула, скрестилъ руки и сбоку взглянулъ на Гусарчикова, который крикнулъ и повернулся въ своемъ креслѣ.

— Что же, я и четыре дамъ... Я не желаю такого позора,—проговорила Лукерья Федоровна, не глядя на сочинителя.

— Мерси, мадамъ! Вы — великодушная дама... Ба, вы, можете, желаете, чтобы я прочелъ?

— Что же, прочтите. Это интересно.

— Н-да-сь, вещь талантливая. Я многимъ писателямъ читалъ свою пьесу—одобряли... Да, то есть не эту, а другую, другую драму... „Горе отъ ума“...—Засидкинъ глянулъ на Гусарчикова и сталъ доставать изъ портфеля рукопись.—Вотъ-сь... Кха... „Змѣя купеческаго званія, или тигрица на Ордынкѣ“, драма въ трехъ дѣйствіяхъ.

Сочинитель сталъ читать. Это было нечто невообразимо дикое, но Лукерья Федоровна, Акимъ Осиповичъ, вся родня Лоскутниковыхъ, извѣстный адвокатъ—все подъ прозрачными псевдонимами были изображены чудовищами, все было взято прямо изъ жизни дома Лоскутниковыхъ, какъ эту жизнь передалъ Гусарчиковъ сочинителю, и Лукерья Федоровна ужаснулась.

— Будетъ, достаточно!—не дослушавъ и перваго дѣйствія, воскликнула она.—Вотъ вамъ деньги... Что же вы расписку мнѣ дадите?

— Какого содержанія-сь?

— Ужъ я не знаю... Какъ же это такъ-то? Я вамъ деньги отдамъ, а вы снова напишете..

— Ахъ, да, это... Хорошо-съ, я дамъ расписку... Пермето муа *), бумаги и чернилъ.

Засидкинъ бойко написалъ расписку, что онъ обязуется никогда и ни на какихъ театрахъ своихъ пьесъ не ставить, а право на свою пьесу „Змѣя купеческаго званія“ передаетъ купчихѣ Лукѣрьѣ Федоровнѣ Лоскутниковой.

— Вотъ-съ,—сказалъ онъ, съ улыбкой передавая расписку, поклонился, шаркнулъ ножкой и, получивъ четыре тысячи, вышелъ, сказавъ, что кофе будетъ пить въ ресторанѣ.

Слѣдомъ за нимъ вышелъ и Гусарчиковъ.

— Хе-хе-хе!—весело засмѣялся Засидкинъ, выходя на улицу съ Гусарчиковымъ и похлопывая себя по боковому карману.— Что, братъ, ловко тыщенку-то лишнюю нажилъ?.. Хе-хе-хе! Ну, теперь, Засидкинъ, заживетъ... То есть вотъ какъ, душечка, поживу—малина!

— А какъ съ этою лишней тысячею быть?—спросилъ Гусарчиковъ.—Сколько мнѣ изъ нея положишь?

— Чего-съ? То есть какъ это вамъ?.. Н-нѣтъ-съ, пардонъ!

— Животное!.. Стало быть, двѣ тысячи себѣ возьмешь?

— То есть какъ это двѣ?.. Четыре, а не двѣ.

Гусарчиковъ поблѣднѣлъ.

— Однако ты вотъ что, ты не шути!—съ дѣланной улыбкой сказалъ онъ.—Возьмемъ извозчика да поѣдемъ дѣлать... Въ трактиръ куда нибудь поѣдемъ.

— Въ трактиръ мы, душечка, поѣдемъ, я тебя угощу, а дѣлать мы ничего не будемъ, и на томъ простомъ основаніи, что дѣлать намъ нечего: все у насъ, душечка, раздѣлено.

Гусарчиковъ остановился и взялъ сочинителя за рукавъ.

— Да ты шутишь, я тебя спрашиваю, что ли?

— Нисколько не шучу, голубчикъ. Ты самъ посуди: ну, за что я тебѣ тысячу цѣлковыхъ отдамъ? Правда, ты свелъ меня, смастерилъ мнѣ дѣло, и я обязанъ вознаградить тебя. И я вознагражу: радужный билетъ дамъ, ну, а тысячу... Нѣтъ, милый, это вы, ахъ, оставьте!..

— Негодай!—съ бѣшенствомъ крикнулъ Гусарчиковъ, до крови прикусывая губы.

— Какъ-съ?—прищурился на него Засидкинъ.—Вы однако, господинъ, безъ лишнихъ словъ, а то вѣдь я гордъ и амбиціоненъ, такъ что могу вамъ засвѣтить, что называется, по уху! Вы обижены? Вамъ мало ста рѣблей? Извольте, я—великодушенъ: я дамъ вамъ не сто, а двѣсти, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы

*) Позвольте.

вы ругаться не смѣли, а если вы еще употребите неделикатное выраженіе, я вамъ ничего не дамъ. Понимаете?

— Но у меня есть твоя расписка. Я въ судъ подамъ!—воскликнулъ Гусарчиковъ.

— Не совѣтую: получить вы съ меня ничего не можете, ибо недвижимаго я не имѣю, а все движимое на мнѣ.

— Разбойникъ, мошенникъ!..

— Не ругайтесь, душечка, ей Богу, не ругайтесь, а то вѣдь ни гроша не получите!..

— Я... я къ Лоскутниковой пойду, я ей скажу всю правду, и тебя подъ судъ отдадутъ!

— Хе-хе-хе! За что? Кого могутъ отдать подъ судъ, такъ это тебя, за мошенничество, а я продалъ лично мнѣ принадлежащее сочиненіе и ни по какимъ законамъ ответственности не подлежу. Полно, милый, не горячись, простынь, и поѣдемъ въ трактиръ, закусимъ, выпьемъ, и я тебѣ отдамъ двѣсти рублей. Много денегъ двѣсти рублей, ей Богу, много, особенно, если они получены даромъ, ни за что, ни про что, да еще на годные зубы.

— Убирайся ты къ бѣсу со своими деньгами, не нужно мнѣ ничего, — вспыхнулъ Гусарчиковъ, — а я тебя подведу, я тебѣ удружу за это.

— Можешь. Такъ ты, Андрей Ивановичъ, не желаешь получить двѣсти рублей?

— Не нужно!

— Спасибо за это! Въ такомъ случаѣ прощай, я поѣду. О рэвуаръ, монъ шеръ!

Засидкинъ приподнялъ шляпу и пошелъ на другую сторону улицы.

Гусарчиковъ постоялъ, поглядѣлъ вслѣдъ пріятелю и пошелъ догонять.

— Ладно, поѣдемъ въ трактиръ, поговоримъ тамъ, — сказалъ онъ.

— Вотъ это умно!—похвалилъ Засидкинъ.—Я послѣ хорошей выпивки и закуски становлюсь очень великодушенъ и добръ, такъ что могу прикинуть тебѣ десятокъ - другой рублишекъ, особливо, ежели ты будешь кротокъ, деликатенъ и внимателенъ. Поѣдемъ, душенька. Эй, извозчикъ, въ „Большой Московскій“!

Друзья сѣли въ сани и отправились, причемъ Засидкинъ весело насвистывалъ и былъ веселъ, а Гусарчиковъ мрачно опустилъ голову и кусалъ свои красивые, напомаженные усы. Въ трактиръ Засидкинъ прибавилъ еще сто рублей Гусарчикову и

угостилъ его на-славу, но простились они врагами и Гусарчиковъ поклялся всѣми святыми, что отмститъ сочинителю и подведетъ его.

Засидкинъ только посмѣивался и видимо не придавалъ никакого значенія угрозамъ.

XXXI.

Гусарчиковъ рвалъ и металъ, что называется, весь этотъ день и даже не могъ уснуть ночь, лишившись законно заработанныхъ денегъ, которыя ему теперь особенно были нужны, такъ какъ его финансы подошли къ концу. Но утромъ на другой день Андрей Ивановичъ успокоился и рѣшилъ, что во что бы то ни стало онъ свое наверстаетъ и получить отъ старухи Лоскутниковой гешефтъ, который не только вознаградитъ его потерю у Засидкина, а дастъ еще много больше. Главный, первый шагъ былъ сдѣланъ — знакомство съ Лоскутниковой сведено, она была не прочь избрать его, Гусарчикова, орудіемъ мести, а на этомъ поприщѣ можно было поработать хорошо и прибыльно. Надо было только умненько придумать планъ будущихъ дѣйствій.

Этимъ и занялся Андрей Ивановичъ, вставъ отъ сна и усѣвшись за чай. Попивая чай и покуривая презентованную вчера въ трактиръ Засидкинымъ сигару, Гусарчиковъ надумалъ отправиться къ Лукерѣ Федоровнѣ и предложить ей свои услуги для отплаты невѣсткѣ, мотивируя это тѣмъ, что, во-первыхъ, онъ самъ кровно обиженъ Мариной, а, во-вторыхъ, своей признательностью къ Лукерѣ Федоровнѣ и ея покойному сыну, хлѣбъ котораго онъ ѣлъ долго и могъ бы жить имъ до конца дней своихъ, если бы не преступная дѣятельность Марины. Легковѣрность старухи, въ которой убѣдился вчера Андрей Ивановичъ, давала ему поводъ надѣяться, что и впредь онъ будетъ имѣть успѣхъ, да и какъ бы то ни было, а заслужить расположеніе богачки-старухи было очень и очень выгодно. Явиться второй разъ къ ней можно было вообще безъ особеннаго риска возбудить подозрѣніе въ алчности и желаніи сорвать; помимо чувства признательности, какъ къ прежней хозяйкѣ, можно было выбрать еще какой нибудь предлогъ, напримѣръ просьбу о мѣстѣ у новыхъ владѣльцевъ лоскутиковского дѣла. Такъ Андрей Ивановичъ и рѣшилъ.

Выждавъ для приличія два дня, на третій отъ отправился къ Маргаритѣ, захвативъ ей довольно цѣнный подарокъ, и обратился къ ней съ просьбою еще разъ допустить его до Лукерьи Федоровны.

Онъ былъ принятъ. Видимо красивая наружность ловкаго,

рѣчистаго и почтительнаго конторщика произвела на старуху хорошее впечатлѣніе и, быть можетъ, заставило даже шевельнуться забытое чувство.

Еще болѣе скромно и почтительно, чѣмъ въ первый разъ, вошелъ Гусарчиковъ въ комнату старухи. Она встрѣтила его привѣтливой улыбкой.

— А, господинъ маклеръ!—улыбнулась она.—Наказалъ ты меня!

— Хе-хе-хе!—тихо засмѣялся Гусарчиковъ.—Ничего-съ, зато можете теперь покойны быть, что никакого пасквиля не увидите, потому что господинъ сочинитель Засидкинъ дали вамъ расписку, а другого такого не пайти имъ.

— Я знаю, я вѣдь шучу. Я тебѣ очень благодарна за твою услугу. Спасибо тебѣ!

— Не стоитъ благодарности, а если вы точно считаете это за услугу съ моей стороны, то позвольте васъ побеспокоить просьбою.

— Что такое?—нѣсколько строго спросила Лукерья Федоровна.

Она была очень скупенька и просьбъ о деньгахъ не любила. Выдавъ Засидкину сравнительно крупную сумму, она не жалѣла этихъ денегъ: онѣ отдавались за дѣло, какъ бы за что-то необходимое, неизбѣжное, а купцы на необходимое, на неизбѣжное денегъ не жалѣютъ; зато они весьма неохотно даютъ ссуды, вспомошествованія и просьбъ о деньгахъ не любятъ.

Лукерья Федоровна была чистокровный продуктъ купеческаго воспитанія. Она сорила громадныя деньги на своего адвоката, что было опять-таки по-купчески, потому что въ этомъ быту какъ мужчины, такъ и женщины, въ минуты загула или увлеченія тратить не жалѣя; но, бросая тысячи сегодня, они завтра торгуются съ извозчикомъ изъ-за пятакъ и поднимаютъ цѣлую бурю въ трактирѣ за приписанный половымъ гриппенникъ. Это вытекаетъ изъ того, что никому такъ неизвѣстно, какъ купцамъ, правило о копеечкѣ, стерегущей рубли, и никто такъ хорошо не знаетъ, что копеечка къ копеечкѣ—рубль, а рубль къ рублю—капиталъ! Тѣмъ болѣе, стало быть, было пріятно Лукерьѣ Федоровнѣ, что просьба услужившаго и поправившаго ей Гусарчикова была не о деньгахъ.

— Хочу васъ просить, многоуважаемая Лукерья Федоровна, оказать мнѣ вашу протекцію. Такъ какъ я нахожусь въ настоящее время безъ должности, то просилъ бы васъ замолвить за меня кому нибудь словечко. Ваше слово много значитъ-съ. Средствъ я не имѣю-съ, жить очень даже трудно.

— Толкуй тутъ! Чай, съ братцемъ-то, съ Иваномъ Борисовичемъ, набили карманы!

— Я-съ?—Гусарчиковъ сдѣлалъ невинно-гаупый видъ.—Да не то, что приобрѣлъ что нибудь, а свое прожилъ-съ! Какъ разразилась эта гроза, какъ явились покойный Акимъ Осиповичъ съ присяжнымъ повѣреннымъ книги провѣрять, да какъ узналъ я, что Ивана Борисовича хотятъ подѣ судъ отдать, такъ у меня душа въ пятки ушла! Человѣкъ я, думаю, маленький, подведутъ меня и унекутъ! Ну, и пошелъ я по адвокатамъ - съ, а это вѣдь извѣстно какой народъ—ему, гдѣ хочешь возьми, а подай! Много своихъ кровныхъ денежекъ потратилъ-съ! А послушаться Ивана Борисовича я не смѣлъ-съ. Дѣлай, говорили, какъ приказываютъ, а то вонъ! Я полагаю, что они—всему голова, и даже мысли не могъ имѣть о какомъ нибудь преступленіи. Я вамъ скажу, Лукерья Федоровна, что они и выбрали меня за простоту за мою: „опъ-де не посмѣетъ мнѣ противорѣчить и притомъ же будетъ молчать“. У насъ въ конторѣ много было народа, было изъ кого выбрать, дѣльцы были, а они вотъ меня именно выбрали-съ.

До сихъ поръ Гусарчиковъ разговаривалъ съ Лукерьей Федоровной стоя, но видимо почтительная, простодушная рѣчь молодого, красиваго конторщика понравилась старухѣ, и она пригласила его сѣсть. Гусарчиковъ осторожно помѣстился на кончикѣ стула.

— Не хочешь ли стаканчикъ чая?—спросила старуха.—Чай я хочу пить.

— Покорно благодарю-съ. Если позволите, Лукерья Федоровна, стаканчикъ выпью.

Чай приготовляла Маргарита, и она же осталась разливать его по приказанію хозяйки.

— Такъ мѣсто какое нибудь хочешь получить?—спросила Лукерья Федоровна, удобно располагаясь за столикомъ у самовара.

— Да-съ, весьма бы желалъ. Осчастливьте-съ, заставьте всю жизнь признательнымъ быть!—благодарно произнесъ Гусарчиковъ.

— Ужъ не знаю, право, какъ тебѣ сказать. Просить-то я больно не люблю, обязываться. Развѣ вотъ что?—Лукерья Федоровна задумалась на минуту.—Надо мнѣ свои дѣла въ извѣстность привести, насчетъ тамъ капиталовъ, домовъ,—продолжала она,—такъ развѣ вотъ это тебѣ поручить?

Маргарита бросила изъ-за самовара выразительный взглядъ на Гусарчикова.

— Что же-съ, я это могу,—отвѣтилъ тотъ, замирая отъ пред-

чувствія грядущаго счастья.— Я и простую бухгалтерію знаю-съ; и двойную.

— Только вѣдь я большое жалованье дать не могу,—встала старуха.

— На какое угодно пойду-съ! Первое дѣло—совсѣмъ безъ занятій я теперь, а второе дѣло—отъ васъ можно въ самую лучшую фирму попасть. За счастье почту-съ!

— Напримѣръ рублей сорокъ въ мѣсяцъ.

— Совершенно достаточно-съ!

— Вотъ, Маргоша, и конторщика себѣ нашла!—обратилась Лукерья Федоровна къ приживалкѣ.

— Что же, благодѣтельница, разлюбезное дѣло — это-съ! Родня дѣло-то съ вами имѣетъ, и очень даже просто, что по добротѣ вашей руку запустятъ. Ваше дѣло женское, опять же вы довѣрчивы очень, да и мысли-то ваши не столь о житейскомъ, сколько о божественномъ, а тутъ опытный человѣкъ за дѣлами будетъ слѣдить, его не надуешь.

— Такъ-то вотъ и я думаю,—согласилась Лукерья Федоровна, весьма довольная взглядомъ своей наперсницы.

Она ожидала отъ Маргариты полнѣйшаго неодобренія и хотя тайнаго, но осужденія и порицанія; она и ловила было послѣднее въ отвѣтъ, но этотъ отвѣтъ былъ вполне основательнъ, логиченъ и искрененъ, какъ казалось по крайней мѣрѣ старухѣ.

Она развеселилась отъ столь удачно окончившагося дѣла съ приобрѣтеніемъ себѣ фаворита, безъ котораго ей становилось уже и скучновато въ послѣднее время.

— Ну, что же,—заговорила она,—надо вспрыски сдѣлать. Выпьешь, что ли, водки?—спросила она Гусарчикова.

— Водки не употребляю-съ, а портвейнъ или мадеру пью-съ,—отвѣтилъ тотъ.

— Маргоша, поди, милая, прикажи тамъ подать закусить да вина какого нибудь, а мнѣ моего элексира. Элексиръ пью отъ груди и отъ кашля,—пояснила она Гусарчикову и съ ласковой, веселой улыбкой уставилась на него.—А не осудятъ меня люди, что я себѣ такого конторщика завела? Не будутъ сплетни разводить?

Гусарчиковъ скромно потупился.

— Нечего разводить-то,—сказалъ онъ,—а вмѣстѣ съ тѣмъ и то надо сказать, что отъ людскихъ разговоровъ не убережешься, какъ ни живи. Да вамъ, осмѣлюсь доложить, и нечего бояться: при вашемъ капиталѣ, при вашей самостоятельности никто слова въ глаза вамъ пикнуть не смѣетъ, а за глаза всякаго ругаютъ-съ.

— Это-то точно, что...

Маргарита принесла вина и закуски для Гусарчикова, а своей патронессѣ—элексиръ, который былъ не что иное, какъ крѣпчайшій спиртъ, настоенный на какихъ-то цѣлебныхъ травахъ и кореньяхъ. Пока Лукерья Федоровна пила первую и вторую рюмки, Маргоша была въ комнатѣ, но, лишь хозяйка взялась за третью, начиная немного хмелѣть, хитрая фаворитка ушла, предоставивъ свободу дѣйствій стѣснявшейся ея присутствія старухѣ.

— Пей вино-то! Что сидишь да глядишь?—улыбаясь обратилась Лукерья Федоровна къ Гусарчикову.—Ишь, барышня какая: выпилъ двѣ рюмки, да и думаетъ, что будетъ! Наливай-ка, чокнемся давай!

— Достаточно, Лукерья Федоровна-сѣ.

— Ладно, ладно, будетъ толковать-то!—Она налила рюмки и подошла къ гостю. — Пей! Я веселыхъ люблю, скучные-то мнѣ надоели. Веселыхъ да молодыхъ люблю. Хе-хе-хе! А ты, чай, тоже любишь молоденькихъ да веселенькихъ?

Лукерья Федоровна залилась какимъ-то гадливо-похотливымъ смѣшкомъ и подмигнула Андрею Ивановичу.

— Куда намъ, бѣднымъ людямъ, разбирать-сѣ!—воскликнулъ Гусарчиковъ скорбнымъ голосомъ.—Я полюбилъ бы того, кто меня полюбить, да любить-то такого сироту бездомнаго никто не станетъ, никому я не нуженъ-сѣ.

— Ой-ли?—спросила старуха, посоловьѣвшими глазами глядя на Гусарчикова. Она была уже достаточно подъ хмелькомъ послѣ трехъ большихъ рюмокъ крѣпчайшаго спирта.—Такъ-таки ты никому и не нуженъ?

— Извѣстно, никому-сѣ. Много такой дряни по улицамъ валяется.

— Ишь ты! А вотъ я взяла же да еще сорокъ рублей платить тебѣ хочу, стало быть, ты—вовсе не дрянъ.

— Что же-сѣ, это—одно только благодареніе ваше-сѣ. Вы, Лукерья Федоровна, больше мнѣ не наливайте-сѣ, я не могу-сѣ; даже я теперь началъ хмелѣть,—сказалъ Гусарчиковъ, закрывая рукою рюмку, въ которую старуха снова хотѣла наливать вино.

— Ну, полно - полно! А ты пей, коли угощаютъ, — сказала она.

— Не могу-сѣ, пьянъ буду. А пьяному мнѣ мало ли какая фантазія можетъ придти.

— Какая же фантазія?

— Да вотъ вы благодареніе мнѣ сдѣлали, а я спяна-то

расчувствуюсь, да... да и поцѣлую вашу ручку. Нѣтъ, вы меня больше не пойте-съ!

Старуха пристально посмотрѣла въ лицо Гусарчикова, который, очень удачно притворяясь, съ блаженной улыбкой глядѣлъ на нее ласково-дѣтскимъ взглядомъ.

— Такъ вотъ тебѣ моя рука—цѣлуй!—сказала она, протягивая руку.—Ты руку поцѣлуй, а я тебя въ голову поцѣлую!—Она наклонилась и поцѣловала напомаженный капюль Гусарчикова.—Люблю я тихихъ да ласковыхъ, люблю, а ты... ты меня полюби!—тихо-тихо проговорила она.

„Наша взяла!“—хотѣлось крикнуть Гусарчикову.

— А я-то, я-то какъ васъ люблю!—проговорилъ онъ.

— За деньги? За богатство мое?—заглянула ему въ глаза старуха.

— За ласку! Что мнѣ деньги? Мнѣ на кусокъ хлѣба хватить, я—одинокій, да и не завистливый. Мнѣ ласка, участіе дороги. Я ни отъ кого еще ласки не видалъ!—сказалъ Гусарчиковъ, а въ то же время думалъ:

„И какую я себѣ шубу соболью сошью! какіе часы съ репетиціей куплю! какую пару платья сдѣлаю!“.

— Вышьемъ еще по рюмкѣ,—предложила старуха.—Я тебѣ тутъ во флигелѣ и квартиру отведу, контора это будетъ. Осудятъ люди, заговорятъ? Да пусть ихъ! Захочу, такъ въ Крымъ уѣду, за границу, есть на что! У меня, голубчикъ мой, наличныхъ больше миллиончика, такъ духъ-то у меня свободенъ. Такъ? Ха-ха-ха! Больше миллиончика... недурно? А тебѣ дать на гостинцы, подарить?

— Я-съ... мнѣ-съ... денегъ не надо, я не ради... Вотъ развѣ... Да нѣтъ-съ, не надо...

Гусарчиковъ даже заикаться началъ отъ прилива счастья. Слово „миллионъ“ лучезарными буквами было написано предъ нимъ на яркомъ фонѣ открывавшейся блестящей перспективы будущаго.

— Дурачекъ!—ласково упрекнула его старуха.—А ты бери, коли даютъ!—Она отвернулась къ комоду, достала оттуда какой-то свертокъ и сунула въ карманъ Гусарчикову.—На вотъ, бери. Два десятка серій тутъ, а потомъ еще дамъ.—Она выпила еще рюмку водки, сѣла за столъ и устремила на Гусарчикова нѣжный взглядъ, но вдругъ ея брови сдвинулись, губы плотно сжались, глаза засверкали злобой. — А-а Маришка? — хрипло спросила она.

— Что такое?—удивился Гусарчиковъ.

— Какъ про нее рѣшимъ? Теперь ты мой, другъ мой и помогай мнѣ. Я Маришку изведу. Слышишь? До тѣхъ поръ я по-

коя имѣть не буду, пока я ей не отплатчу. Научи, помоги. Такъ безъ этого тебя я люблю, а коли поможешь—озолочу! Она—змѣя, змѣя, она мнѣ сердце выклевала!

Старуха склонила голову и заплакала злыми, ѣдкими слезами.

Гусарчиковъ долго смотрѣлъ на плачущую старуху и молчалъ. Ему даже жутко стало при видѣ этихъ жгучихъ, злыхъ слезъ.

— Что вы, успокойтесь, Лукерья Федоровна, не стоитъ себя такъ разстраивать,—наконецъ робко выговорилъ Андрей Ивановичъ.

— Не успокоюсь, до тѣхъ поръ не успокоюсь, пока моей лютой злодѣйкѣ не отплатчу!—отвѣтила старуха.—Если ты имѣешь ко мнѣ какое нибудь чувство, помоги мнѣ. Говорю тебѣ, что озолочу, ежели поможешь извести ее.

— Да вѣдь какъ же сдѣлать это? Надо сперва придумать это-съ!

Старуха подняла голову и уставилась на собесѣдника сверкающими какой-то звѣрской злобой глазами.

— Добудь мнѣ ее сюда, ко мнѣ добудь! Вотъ натѣшусь-то! Живой не выпущу! За все, за все отплатчу!—тихимъ, зловѣщимъ голосомъ проговорила она.

— Трудно это, да и опасно-съ. Вѣдь за это, храни Богъ, въ Сибирь, на каторгу.

— Ничего, въ Сибири тоже люди живутъ. Съ деньгами вездѣ хорошо! Денегъ у меня, что ли, нѣтъ? Изъ всего свѣта самаго что ни на есть лучшаго адвоката найду, ну, и оправдать меня, обѣлять. Ты то пойми, что, кромѣ горя, позора, которые я видѣла отъ нея, злодѣйки, вѣдь я еще и сына изъ-за нея лишилась. Такъ неужели мнѣ этого въ счетъ не поставятъ? Бухнусь въ ноги суду-то и буду пощады просить—помилуютъ!

Гусарчиковъ согласился съ этимъ доводомъ хмельной, но все-таки еще не потерявшей способности довольно здраво разсуждать старухи.

„Да, дѣйствительно могутъ оправдать или дать списхожденіе,—думалъ онъ.—Ну, а мнѣ? Меня тоже помилуютъ? Я тутъ изъ-за денегъ хлопочу. Да вѣдь можно дѣло-то тонко вести, сухимъ выдти, то есть, моя хата съ краю, я ничего не знаю. А хорошо бы это Мариночку въ когти этой тетенькѣ отдать, она бы ее проучила! Онять же вотъ какъ въ этомъ дѣлѣ нажить можно, страхъ!“

— Я, Лукерья Федоровна, насчетъ этого подумаю-съ,—ска-

заль онъ. — Я для васъ, за благодаренія ваши, готовъ что угодно сдѣлать.

— Спасибо, спасибо, я тебя не оставлю. Что же ты сдѣлать думаешь?

— Пока еще не знаю-съ, а соображу.

— Сообрази, голубчикъ, сообрази! Успокой ты мое сердце, а то, вѣришь ли, покоя я не знаю. Лягу спать, а Маринка предо мной словно живая стоитъ и дразнить меня. „Что,—говорить,—потѣшилась я надъ тобою, надругалась? Что, взяла?“. Такъ я и вскочу съ постели, да и зальюсь слезами! Опять лягу, опять усну, и опять она предо мною!

Старуха налила себѣ своего элексира и выпила, а потомъ еще и еще, и черезъ полчаса Гусарчиковъ осторожно вышелъ изъ комнаты, оставивъ свою новую благодѣтельница, заснувшую около стола.

Въ сосѣдней комнатѣ его встрѣтила Маргоша.

— Ну, что, кавалеръ, какъ дѣла?—весело спросила она, пріятельски подмигивая Гусарчикову.

— Ничего,—протинулъ тотъ.—Очень вамъ благодаренъ за рекомендацію и за все. Если будетъ польза, я вамъ подарокъ сдѣлаю.

— Гм...—усмѣхнулась наперсница. — Не сули журавля въ небѣ, а давай синицу въ руки. Тамъ, что будетъ, то будетъ, а ты вотъ сегодня-то подѣлись. Я вѣдь видѣла, голубчикъ, какъ она тебѣ изъ комода пачку-то доставала. Хе-хе-хе! Сколько?

„Ишь, проклятая, подглядѣла!“ — подумалъ Гусарчиковъ и вдругъ вспомнилъ фортель, который съ нимъ выкинулъ Засидкинъ, и захотѣлъ сдѣлать то же.

— А вы подглядывали?—иронически спросилъ онъ у Маргариты, прищуривая на нее глаза.

— А то какъ же! Вы, парни-то, проворные, живо надуть можете!

— То есть какъ это надуть?

— Такъ: возьмете да ничего и не дадите.

— То есть чего же это ничего?

— Да что ты, батъка, дурачкомъ-то прикидываешься?—воскликнула Маргоша. — Ну, про халтуру я говорю. Понимаешь, чай, что надо мнѣ за знакомство, за добрыя рѣчи про тебя, за помогу награду дать.

— А, вы вотъ про что! Это вы, тетенька, напрасно. Ежели я захочу изъ уваженія къ вамъ чайку вамъ фунтикъ презентовать или платочекъ, такъ то такъ-съ, а то и ничего могу не дать.

— Что-о?

— То-о! Я теперь всталъ съ Лукерьей Федоровной въ дружескія, можно сказать, отношенія, и не только могу никакихъ субсидій вамъ не давать, а даже васъ отсюда, изъ сего дома честного, на-вынось! Скажу Лукерьѣ Федоровнѣ словечко — и васъ фить!

— Что-о? Ахъ, ты, шаромыжникъ этакій, шушера безсапожная! — закипѣла Маргоша. — Выжига безпардонная, стрикулисть ты противный...

— Что-съ? Какъ это стрикулисть? — вдругъ опѣшилъ Гусарчиковъ.

— Да такъ стрикулисть, жуликъ! Ха-ха-ха! Скажите пожалуйста. А знаешь ли ты, что, если я захочу, такъ завтра же твоего духа здѣсь не будетъ? Старуха пуще всего на свѣтѣ пересудовъ боится, и зайкнись я ей, что вотъ-де жить у васъ не буду, а за то да за это про васъ звонить по Москвѣ буду, что вы-де молодчика около себя приютили, такъ она тебя не то что въ домъ, а на дворъ не пуститъ! Она меня пуще огня боится, а ужъ вѣрить-то какъ въ идола какого. Въ рукахъ она у меня! А ты вотъ какъ! Ну, погоди же, погоди у меня, голубчикъ!

Гусарчиковъ струсилъ и ласково улынулся.

— Хе-хе-хе! Раскипятилась какъ! Да вѣдь я пошутилъ, Маргаритушка. Хе-хе-хе! Я — вашъ другъ, вѣчный слуга вашъ, а не то что...

— То-то! А я и впрямь думала, что ты на - дыбы всталъ. Ну, сколько презенту-то получилъ?

— Подарила пяточекъ серій.

— Ишь ты. Ну, давай мнѣ хоть одну, а тамъ видно будетъ.

Гусарчиковъ, не вынимая всей пачки, досталъ одну серію и подалъ Маргошѣ.

— Извольте, извольте, весьма радъ васъ отблагодарить, — сказалъ онъ, отдавая серію и пожимая руку наперсницѣ своей новой хозяйки.

Наконецъ Гусарчиковъ очутился на улицѣ и могъ свободно предаться впечатлѣніямъ только что пережитаго имъ и мысленному начертанію плана будущихъ дѣйствій.

„Нѣтъ, тутъ ничего не выйдетъ, — думалъ онъ, выходя на улицу. — Баба умная и на старуху имѣетъ вліяніе. Ну, шутъ съ нею, куда нп шла — одна серія, а послѣ я ее отважу какъ нибудь. Надо и то сказать, что безъ нея я бы ничего не сдѣлалъ. Дѣла мои въ гору пошли. Что будетъ дальше, Богъ

вѣсть, а пока одна малина съ патокой. Теперь вотъ насчетъ Мариночки надо сообразить. А я ее тово, словлю! Два раза срывалась съ крючка, на третій поймаю! Мы дѣло какъ нибудь такъ устроимъ, чтобы она попала къ ней въ руки, а тамъ, что хотятъ, то и дѣлаютъ, хоть грызутся, хоть цѣлуются. А только надо потянуть сперва, карманчикъ себѣ набить, а то сведи ихъ теперь, старуха ей горло перерветъ, да и шабашъ! Ее упрячуть. бабенку мою добренькую, а я снова при пиковомъ интересѣ! Нѣтъ, мы сперва канитель будемъ тянуть, дружбу со старушкой вести, а тамъ что будетъ. Самое-то лучшее надо какъ нибудь умненько Маринкѣ и Бусову насолить, безъ кровопролитія, безъ уголовищины этой. Оно какъ бы то ни было, а это ужъ слишкомъ, да и грѣхъ тоже, потомъ еще ночью мерещиться будетъ. А вотъ умненько насолить, тонко, осторожно, это—другое дѣло! Вотъ такъ напримѣръ: заставить старуху-то переломить на денекъ себя и невѣстуху бывшую къ себѣ въ домъ принять, будто бы ради вѣчнаго мира, ради примиренія, хотя напримѣръ послѣ вѣнца. Угостить ихъ, самой подвыпить и показать видъ, что сильно-де захмелѣла; пусть этотъ хмель и Маргоша, и прислуга видятъ; даже можно, гостей оставивши, посидѣть, чая тамъ или заказного обѣда подождать, а когда они уйдутъ—заявленіе о пропажѣ денегъ и драгоценныхъ вещей сдѣлать. Хе-хе-хе! Ну, сотня, тамъ-другая денегъ-де пропала, кольца тамъ, брошки, а ранѣе того прислугу бусовскую за двѣ четвертныхъ, за сотню наконецъ, подкупить, вещи-то и денежки у Мариночки въ спальнѣ спрятать, у Бусова въ платѣ, подъ постелью. Номера серій записать. Хе-хе-хе! А славную я штуку придумалъ, ей Богу, славную! Гости это уѣхали, сутки молчатъ, а потомъ тревога—обокрали! То, сѣ, пятое, десятое украдено, караулъ! „На кого подозрѣніе?“ — сейчасъ это полиція спросить. „Не знаю! Прислуга у меня испытанная, чужихъ никого не было. Гости вотъ были, вдова покойнаго сына“,—да за голову и хватиться, да и завопить:—„Они это обокрали, они! Я спала, выпивши была, они одни оставались“. Ну, натурально обыскъ и вещи у нихъ. Сейчасъ это „молодыхъ“ на казенную квартиру, а тамъ въ судъ, а тамъ... Да больше ничего даже и не надо, и этимъ сыты будутъ! Мариночка—воровка, Бусовъ—воръ, чудо! То есть вотъ какую штучковину придумалъ, что старуха у меня запрыгаетъ отъ радости. Но я вамъ пока, старушка Божья, не скажу, нѣтъ-сѣ! За эту выдумку съ васъ надо потянуть, да и потянуть, да-сѣ. Планъ-то наполеоновскій!“.

Гусарчиковъ былъ очень доволенъ и, весело и счастливо улыбаясь, шелъ по улицамъ, дѣлая моціонъ, чтобы потомъ хо-

рошенько поѣсть, пріятно выпить и затѣмъ весело провести время, тряхнувъ карманомъ, въ которомъ уютно лежали девятнадцать серій.

XXXII.

Бусовъ и Марина были такъ счастливы, какъ бываетъ счастливъ человѣкъ только одинъ разъ въ жизни. Это счастье испытывалось во всемъ: и въ мечтахъ о будущей жизни, и во взглядѣ любящаго человѣка, и въ увѣренности, что наступило именно то, что давно-давно желалось, и въ сознаніи достоинствъ любимаго человѣка. Шла та блаженная, не поддающаяся описанію жизнь жениха съ невѣстой, взаимно влюбленныхъ, взаимно вѣрящихъ, взаимно уважающихъ. Къ этому еще прибавлялось у Марины счастье отъ переменъ, происшедшей съ ея отцомъ. Изъ нелюдимаго, черстваго, знающаго только одну наживу, старикъ вдругъ сталъ ласковъ, задушевенъ и видимо позналъ любовь, чувство до сихъ поръ чуждое ему. Онъ любилъ дочь, нареченнаго зятя и людей вообще, которыхъ всегда или презиралъ, или ненавидѣлъ, или боялся. Такія метаморфозы бываютъ въ жизни и бываютъ нерѣдко и вовсе неудивительны. Ихъ только не часто приходится замѣчать, почему они и кажутся неестественными, странными. Марина нарадоваться не могла, глядя на своего, еще такъ недавно угрюмаго, суроваго отца. Онъ и теперь не сдѣлался общительнѣе съ другими, все такъ же держался одиноко, какъ-то вдали отъ людей, но съ дочерью и Бусовымъ это былъ другой человѣкъ; другимъ человѣкомъ сталъ онъ и въ своихъ поступкахъ, во взглядахъ. Въ этомъ отживающемъ уже жизни человѣкѣ происходила какая-то внутренняя борьба, и онъ на глазахъ дочери и Бусова перерождался и перерождался.

Объ этой переменѣ любила говорить Марина съ женихомъ въ долгіе зимніе вечера, которые онъ проводилъ съ нею. Бусовъ жилъ на своей прежней квартирѣ и ежедневно приходилъ къ невѣстѣ то обѣдать и оставался до вечера, то вечеромъ. У него это вошло въ привычку, радовало его и доставляло громадное блаженство. Работать день, не видать Марины, но знать, что она ждетъ его, кончить потомъ всѣ дѣла и идти къ ней на весь вечеръ—доставляло много наслажденій Бусову; ему даже было какъ-то страшно ожидать еще большаго счастья—счастья быть мужемъ, быть съ Мариной всегда, вездѣ, на всю жизнь.

Марина обыкновенно начинала ждать жениха часовъ съ четырехъ и разъ по десяти въ часъ подбѣгала къ окну. Когда онъ не приходилъ къ обѣду—надо было ждать вечеромъ, съ

огнемъ же и глядѣть въ окно было нельзя, но зато было можно прислушиваться къ звонку.

Вотъ наконецъ раздавался и желанный звонокъ. Марина съ сіяющимъ лицомъ шла въ переднюю, конфузливо поглядывая на отца, который, задумчиво улыбаясь, взглядывалъ на нее, отрываясь отъ книги.

— Куда, куда побѣжала?—насмѣшливо-ласково спрашивалъ бывало старикъ Марину, когда она, заслышавъ звонокъ Бусова, спѣшила въ переднюю.

— Кто-то звонить.

— Кто-то? Ахъ, ты, баловница, баловница!—ласково кивалъ ей головою отецъ.

Но Марина была уже въ передней и встрѣчала жениха. Раскраснѣвшись отъ волненія, радостная и счастливая, она начинала упрекать его за поздній приходъ. Бусовъ оправдывался смѣясь и обѣщался быть исправнѣе. Они шли въ комнату Марины. И тутъ начинался тотъ разговоръ влюбленныхъ, который не только трудно передать, а пожалуй трудно и понять постороннему слушателю. Это—разговоръ изъ полусловъ, намековъ и недосказанныхъ фразъ, это—разговоръ, перескакивающий съ одного предмета на другой, но взаимно понимаемый женихомъ и невѣстой и доставляющій неизъяснимое блаженство разговаривающимъ. Тутъ все понятно для нихъ, все пріятно, и за такимъ разговоромъ незамѣтно летѣли бы дни и цѣлыя недѣли, какъ летѣли часы.

Часовъ въ восемь шли пить чай. Марина хозяйничала, а Бусовъ бесѣдовалъ со старикомъ. Молодой человекъ все болѣе и болѣе располагалъ къ себѣ своего будущаго тестя, и видимо старикъ испытывалъ долю того счастья, которымъ жила его дочь. Онъ радовался, глядя на нее, и увѣренность въ прочности и несомнѣнности ея счастья съ Бусовымъ доставляла ему много отрады.

Молодые люди, чтобы сдѣлать уступку обществу, рѣшили свадьбу отложить до тѣхъ поръ, пока со дня кончины Акима Осиповича минетъ годъ.

— Это ничего, что мы подождемъ, — сказала Марина, — и знаешь почему? Мы совсѣмъ хорошо узнаемъ другъ друга въ теченіе этого года, и ко дню своей свадьбы исправимъ тѣ недостатки, которые замѣтимъ другъ въ другѣ.

— Въ тебѣ нѣтъ никакихъ недостатковъ, дорогая моя, ты—совершенство, Марина! — съ глубокимъ убѣжденіемъ замѣтилъ Бусовъ.

Но Марина горячо принялась оспаривать его, пересказывала

множество своихъ несовершенствъ и находила въ себѣ различные недостатки.

Такъ время и шло. Годъ пролетѣлъ незамѣтно, и вотъ наступилъ день свадьбы. Бусовъ и Марина хотѣли было отпраздновать ее совсѣмъ тихо, скромно, но старикъ настоялъ на торжественномъ вѣнчаніи съ неизбѣжнымъ баломъ.

— Единственную дочку отдаю, да не пошировать какъ слѣдуетъ?—произнесъ онъ.—Не нами это заведено, не нами и кончится! А, по-моему, все-таки слѣдуетъ отпраздновать такой знаменательный день.

И вотъ начались обычные вечера въ домѣ невѣсты. Снова Марина увидала въ нарядно убранныхъ комнатахъ своего дома подругъ въ бальныхъ платьяхъ, кавалеровъ изъ молодыхъ людей, многочисленныхъ родственниковъ. Снова потянулись дни веселыхъ праздниковъ, но другою чувствовала себя невѣста: она была счастлива. Память о покойномъ мужѣ не смущала ея—она не была повинна въ его смерти, не по ея винѣ погибъ онъ и никогда она не желала его гибели. Одинъ разъ ей пришлось сильно смутиться, быть огорченной, убитой, и долго и много потомъ уговаривали ее отецъ и женихъ, прежде чѣмъ она успокоилась.

Какъ-то во время вечера Марина, послѣ продолжительныхъ танцевъ, которые утомили ее, сѣла въ угловой, слабо освѣщенной комнаткѣ на диванъ отдохнуть. Бусовъ въ это время занимался съ гостями. Рядомъ съ угловой комнаткой играли въ карты гости изъ среднихъ. Сперва шелъ разговоръ только относительно картъ и слышались восклицанія: „пасъ!“, „мой ремизъ!“, „моя сдача была“, „теперь вамъ сдавать“ и т. д.

Но вотъ игрокамъ подали чай, и они оставили на время карты.

— Съ шикомъ дѣлаетъ старикъ свадьбу-то, офиціанты и на дѣвишникѣ служить, да и угощеніе богатое,—сказалъ одинъ изъ нихъ.

— Да, свадьба парадная.

— Я даже, господа, удивляюсь на старика! сперва такой скряга былъ, нелюдимъ, а теперь словно переродился: и угощеніе дѣлаетъ, и ласковый такой.

— Да, это—правда.

— Просто околдовали старика, ей Богу, околдовали,—заговорилъ женскій голосъ.

Марина узнала этотъ голосъ. Онъ принадлежалъ одной дальней родственницѣ ея отца, извѣстной силетницѣ и схидной бабенкѣ, которую терпѣли только ради родственныхъ узъ.

— Вы ужъ скажете!—засмѣялся одинъ изъ игроковъ.

— Вѣрно вамъ говорю! Развѣ не бываетъ такого? Всего бываетъ на свѣтѣ-то, всякаго зла,—почтенная дама понизила голосъ.—Ужъ ежели теперь Марина эта рѣшилась на такой грѣхъ, что мужа убила, такъ и на все рѣшится. Она хоть и родственница мнѣ, а я безъ стѣсненія говорю, потому что изъ правды слова не выкинешь.

— Такъ вѣдь не она убила, а этотъ... какъ его?

— Гуршинъ. Такъ что же изъ этого? Гуршина-то она подкупила, двадцать тысячъ ему заплатила, а онъ съ двадцатью тысячами и въ Сибири проживетъ или убѣжитъ оттуда.

— Полно вамъ, Василиса Васильевна, выдумывать!—вступился кто-то.—Вѣдь всѣмъ извѣстно, что Гуршинъ убилъ Лоскутникова за какую-то обиду.

— Ахъ, Боже мой,—заволновалась Василиса Васильевна,—ежели я говорю, такъ, стало быть, знаю!

— Не вѣрится что-то! Откуда напримѣръ Марина Григорьевна могла взять такія деньги? Двадцать тысячъ — денегъ немало!

— А Иванъ-то Борисовичъ Лоскутниковъ. Вѣдь она съ нимъ въ дружбѣ состояла, и онъ на нее денегъ потратилъ прорву цѣлую! Она съ нимъ и рѣшила мужа укокошить, а ужъ послѣ того съ Бусовымъ сошлась.

— Все можетъ быть!.. чужая душа — потемки, — сказалъ кто-то.

— Вѣрно говорю!—удостоверила Василиса Васильевна.

— Откуда вы все знаете-то это?—спросилъ другой.

— Откуда знаю? А Гусарчиковъ сказывалъ, тотъ, что служилъ у Лоскутниковыхъ конторщикомъ и по-сейчасъ живетъ у старухи, дѣлами ея завѣдуетъ. Онъ вхожъ къ Костоѣдовымъ, а я тамъ—свой человѣкъ; тамъ онъ при всѣхъ и рассказывалъ. Ужъ ему-то какъ этого не знать? свой человѣкъ былъ! Вѣдь и къ нему—онъ красивый этакій, видный—Марина наша вѣшалась, да онъ пренебрегъ.

Марина слухала все это невольно, и ей страшно стало отъ этихъ возмутительныхъ сплетенъ. Она закрыла лицо руками и заплакала.

Въ такомъ положеніи нашелъ ее Бусовъ.

— Что съ тобою? Мариночка, что съ тобою?.. О чемъ ты плачешь?—испуганно спросилъ онъ.

Марина едва успокоилась, едва пришла въ себя и удалась въ свою комнату, попросивъ Бусова придти туда немного погодя.

Когда онъ пришелъ, Марина рассказала ему содержаніе невольно подслушаннаго разговора. Бусовъ былъ впечатлителенъ

не менѣе невѣсты и поблѣднѣлъ. выслушавъ чудовищную сылетню затрясся весь, но совладалъ съ собою и, притворно засмѣявшись, спросилъ:

— И ты придаешь этому какое нибудь значеніе, моя дорогая?

— Придаю!.. Да, да, придаю!.. За что, за что такъ страшно клеветаютъ на меня? Развѣ мнѣ не больно это? Развѣ мнѣ не больно жить среди людей, которые считаютъ меня способною на такую низость?

Бусовъ принялся было уговаривать Марину, но слова утѣшенія плохо шли ему на языкъ; и самому ему было больно, досадно, и самого его душила безсильная злоба. Безсильная злоба особенно ужасна, а у Бусова она была именно безсильна: что онъ могъ сдѣлать противъ всего этого? Какими средствами могъ заставить замолчать стоустую молву? Онъ зналъ, что виновникъ всему—Гусарчиковъ, но и по отношенію къ нему чувствовалъ себя безсильнымъ. Что могъ сдѣлать онъ съ этимъ Гусарчиковымъ? Убить его, раздавить? Но вѣдь это разбило бы его собственное счастье и счастье Марины, а могъ ли онъ хотя сколько нибудь рисковать ея счастьемъ? Ему страстно захотѣлось пойти къ этому ненавистному человѣку и избить его, отмстить ему за все, что онъ дѣлалъ дурного ему и Маринѣ, но онъ сейчасъ же отказался отъ этой дикой мысли. Такая мѣра, помимо своей первобытной дикости, была неудобна и тѣмъ еще, что тоже могла кончиться преступленіемъ: Бусовъ не былъ такъ силенъ, чтобы взять Гусарчикова, какъ щенка, и избить палкой; тотъ могъ защищаться, ударить его, а Бусовъ чувствовалъ, что тогда онъ убилъ бы его. Совершить преступленіе, причинить горе Маринѣ, быть отъ нея оторваннымъ—это было такъ страшно, такъ ужасно въ глазахъ Бусова, что онъ и помыслить объ этомъ боялся. И вотъ вдругъ, точно по напѣти, онъ понялъ, что это все—вздоръ, что это все—мелочь, что все это такъ низко стоитъ по отношенію къ его собственному счастью, что стыдно, грѣхъ обращать вниманіе на это.

И онъ съ жаромъ принялся говорить Маринѣ въ такомъ именно смыслѣ, но не тутъ, не на вечерѣ, а послѣ, когда всѣ разѣхались и они остались вдвоемъ. Старикъ-отецъ вполне раздѣлялъ взглядъ зятя и улыбался посовѣтовалъ даже махнуть на все рукой.

— Эхъ, дочка, дочка,—сказалъ онъ,—если всѣ-то людскія рѣчи слышать да къ сердцу ихъ принимать—лучше не жить! А ты сама за собою слѣди, свою совѣсть надъ собою сторожею поставь. И вотъ, если тебѣ этотъ сторожъ скажетъ, что то или другое нехорошо—вѣрь ему, а то все пустое. Вотъ этотъ

сторожъ-то былъ бы покоенъ у тебя, онъ-то не осуждалъ бы тебя, а людямъ все равно никогда не угодишь!

Старику и Бусову удалось успокоить Марину совѣмъ, и возмущенное было этой душевной бурей счастье снова улеглось и снова ему только отдалась Марина и имъ однимъ лишь, этимъ счастьемъ, жила.

Впрочемъ старикъ рѣшился положить предѣлъ сплетнямъ и показать, что обижать его и его дочь не всегда возможно. Впервые, онъ на одномъ изъ послѣдующихъ вечеровъ за ужиномъ, когда гости выпили за здоровье жениха и невесты, а потомъ за его, налилъ бокалъ, всталъ и поклонился всѣмъ гостямъ и своимъ старческимъ, нѣсколько взволнованнымъ голосомъ заговорилъ среди наступившей тишины:

— Дозвольте, гости дорогіе, выпить и за ваше здоровье... Отъ души желаю вамъ здоровья добраго, счастья, богатства и радости, вотъ такой же, какую испытываю теперь я, старикъ. А пуще всего желаю вамъ избавиться отъ язвы, которая вкоренилась въ наши дома и грызетъ насъ всѣхъ, какъ ржа желѣзо. Язва эта, гости дорогіе,—сплетня-матушка. Вездѣ она пробирается, вездѣ она есть, а ужъ, кажется, всего больше въ нашемъ купеческомъ мірѣ. Влѣзаетъ она, проклятая, гостя непрошенная, въ семьи, ссорить мужа съ женой, сѣять раздоръ у отца съ сыномъ, брата на брата вооружаетъ и столько зла творить, что и конца нѣтъ! А мы ее чувствуемъ, знаемъ, кормимъ, въ передній уголъ, подъ образа, сажаемъ, уши предъ нею развѣшиваемъ! Есть у меня на примѣръ тетушка Василиса Васильевна...

Василиса Васильевна такъ и помертвѣла. Всѣ гости перевели взоры со старика на нее.

— Вотъ она!.. А я и не замѣтилъ! — продолжалъ старикъ улыбаясь.—Ну, дѣлать нечего, если началъ говорить, надо кончить. Такъ вотъ, есть у меня тетушка Василиса Васильевна... Знакомымъ своимъ она и счетъ потеряла—половина Москвы у нея знакомыхъ, ходитъ она изъ дома въ домъ да вѣсти переноситъ, да не просто переноситъ, а съ украшеніями, съ добавленіями!.. Получить вотъ такую вѣсточку, — старикъ показавъ руками на вершокъ отъ стола,—а принесетъ ее во-какую! — и онъ вытянулъ руку выше головы.

Гости засмѣялись. Многіе на своей шкурѣ выносили жало вѣстовицны и были теперь очень благодарны старику за отчитку.

— Это... это что же?... это...—заговорила было Василиса Васильевна зеленѣя, но старикъ перебилъ ее:

— Погоди, матушка, твоя рѣчь впереди, дай кончить. Ну, и принесетъ тетушка вотъ такую сплетню и начнетъ ее изъ дома въ домъ носить, а вѣсть все растеть да растеть. Ребятишки въ мартѣ мѣсяцѣ, когда снѣгъ сырой да рыхлый бываетъ, шары такъ-то скатываютъ: малюсенькій шарикъ скатаютъ изъ снѣга, да и катятъ его по улицѣ, а шаръ все растеть да растеть, ребятишкамъ не-подъ силу потомъ станеть... Такъ вотъ и сплетня; такіе же вотъ шары и Василиса Васильевна катаетъ, хоть и не махонькая она, несмотря на то, что ей за сорокъ перевалило!.. Вотъ и про мой домъ разноситъ она вѣсти. Бѣсть, пѣть у меня, денежки порой занимаетъ безъ отдачи, а вмѣсто спасибо — вѣсти пускаетъ. Старъ я, глухъ, слѣпъ, а подслушалъ ея рѣчи... въ прошлый разъ подслушалъ... Говорила она гостямъ моимъ, что моя дочка мужа своего убила, и еще многое говорила... Повѣрили ли гости ея рѣчамъ—не знаю, а мнѣ ея рѣчи горе большое принесли. Я - то знаю правду про свою дочь, и ужъ куда какъ отцовскому-то сердцу больно клевету слышать!.. Да не о томъ рѣчь... Пусть всякъ судить о моей дочкѣ, какъ знаетъ; она предъ Богомъ въ смерти своего мужа права и къ грѣху тому непричастна. Ушла она отъ мужа, это—правда и въ этомъ виновата не она, а я... Ради людской молвы, ради славы да богатства я силой, неволей выдалъ ее за нелюбимаго; и не перенесла она этого, ушла отъ мужа. Только въ томъ и была вина ея и за свою вину она поплатилась. А ужъ сплетня пошла на всѣ лады и росла, росла до той поры, что мою дочку убійцей сдѣлали!.. Умри теперь я—скажутъ, что и меня дочь убила. Сегодня про мою дочь скажутъ, завтра про сосѣдскую, потомъ про жену Ивана, послѣ про Петрову, и никакого удержу сплетнѣ нѣтъ. А вѣдь какъ подумать хорошенько, такъ и легче нѣтъ освободиться-то отъ нея, право такъ... Первое дѣло—гнать вѣстовщицу изъ каждаго дома, какъ болѣзнь лихую гонять, а второе дѣло—спуска не давать: какъ попалась вѣстовщица, какъ распустила языкъ, такъ его и прищемить! Вотъ я и теперь тетушки своей Василисы Васильевны на порогъ не пушчу, а чтобы не повадно ей было въ другой разъ небылицы составлять, честное имя въ грязь топтать, на судъ ее вызову. Знаю, кому она говорила рѣчи свои негодія, и попрошу того судѣ сказать, какъ и что она говорила. А судья сейчасъ ее на покаяніе за Калужскую заставу; потому есть такой законъ, по которому языки за лишнюю болтовню смиряютъ, науку имъ дѣлаютъ и повадки не даютъ. Вотъ и вся моя рѣчь, прошу не осудить, что высказалъ ее—ужъ очень на душѣ накипѣло... Ну, теперь, тетушка, твоя рѣчь, ты говори, а мы послушаемъ.

Но Василиса Васильевна только пробормотала что-то, заплакала и вышла изъ-за стола.

Ужинъ кончился послѣ неожиданной выходки старика очень шумно и весело; почти всѣ соглашались съ мнѣніемъ Ладыжникова, спѣшили высказать одобреніе, а Маринѣ—свое сочувствіе и увѣренность въ полномъ игнорированіи распускаемыхъ про нее сплетенъ и слуховъ.

Посмѣялись надъ положеніемъ Василисы Васильевны и наши, что это ей по-дѣломъ, но просили старика до мирового судьи дѣла не доводить.

— Я и не доведу,—усмѣхнулся старикъ.—Съ роду мировому не жаловался и никогда ни на кого жаловаться не пойду... Пугнулъ и только, пусть ночку-то потревожится, авось, умнѣе будетъ... Ну, а пускать эту сплетницу къ себѣ въ домъ не буду, нѣтъ!..

Этимъ старикъ не ограничился.

На другое утро онъ, никому не сказавшись, пошелъ на дворъ доскутниковскаго дома.

— Гдѣ тутъ у васъ проживаетъ Гусарчиковъ какой-то?—спросилъ онъ у дворника, узнавшаго его и съ недоумѣніемъ встрѣтившаго его, точно выходца съ того свѣта.

— Андрей Ивановичъ-то? А вотъ здѣсь онъ живетъ, въ конторѣ,—отвѣтилъ дворникъ.

— Дома онъ?

— Дома... Поди; почиваетъ еще...

— Ишь, ты!.. Онъ тутъ чѣмъ же у васъ?

— Да какъ сказать?.. Такъ при домѣ состоитъ, въ управляющихъ, стало быть.

— Ага, вотъ оно что!

Старикъ пошелъ въ указанное жилище Гусарчикова. Стуча по лѣстницѣ палкой, кряхтя и громко вздыхая, вошелъ онъ въ чистыя; парадныя сѣни и громко позвонилъ въ колокольчикъ. Дверь отперъ молодой малый, не то артельщикъ, не то лакей, но франтъ и даже надушенный какимъ-то амбре.

Ладыжниковъ спросилъ:

— Самъ дома?

— Дома, но они еще почиваютъ.

— Я разбужу.

Старикъ сбросилъ шубу и вошелъ въ сосѣдній съ щегольской передней залъ.

Малый поглядѣлъ вслѣдъ Григорію Петровичу и поспѣшилъ догнать его.

— Вы—родственникъ ихъ, что ли, будете?

— Вродѣ того... Гдѣ его опочивальня-то?

— Потрудитесь подождать, я доложу. а то какъ бы они не прогнѣвались.

— Ну, ладно, быть по-твоему! Доложи!..

— Какъ прикажете?

— Палкинъ, молъ, пришелъ.

— Палкинъ?

— Да, да, Палкинъ или Дубинкинъ, все равно.

Малый ушелъ, а Григорій Петровичъ оглядѣлъ залъ, передѣланный изъ конторы. Повсюду блестѣла позолота, мебель была дорогая и очень вычурная; у одного изъ оконъ стояла дорогая раззолоченная клѣтка и въ ней, цѣпляясь и вѣшаясь, лазалъ попугай, покрикивая и ясно выговаривая „дуракъ“.

— Кто—дуракъ?—обратился къ нему старикъ, нарочно громко, чтобы его слышали.—Хозяинъ, что ли, твой? Не больно, братъ, дуракъ—вонъ какъ обставился, а, поди, изъ какой нибудь избы Ярославской губерніи родомъ, батъка его небось и по-сейчасъ спину надъ сохой гнетъ да оброкъ добываетъ, пока его сынокъ почивать изволитъ. Не дуракъ, врешь!.. Шельма, а не дуракъ!..

Въ сосѣдней комнатѣ, въ которой очевидно была опочивальня хозяина, шелъ разговоръ шепотомъ:

— Да кто онъ такой?

— Не знаю-съ... Палкинъ, говоритъ, старикъ...

— Не изъ родни ли Лукерьи Федоровны?

— Не могу знать.

— Гм!.. Поди, скажи, что выйду сейчасъ.

— Сейчасъ выйдутъ-съ,—доложилъ лакей старику-гостю.

Минутъ черезъ пять Гусарчиковъ вышелъ. Онъ видимо былъ не умытъ, но одѣлся въ модную визитку и даже галстухъ подвязалъ причудливымъ бантомъ.

— Ахъ, это—вы!—удивился онъ при взглядѣ на Григорія Петровича, котораго онъ зналъ.

— Да, я, — проговорилъ старикъ, вставая и опираясь на свою здоровую, суковатую палку.

— Но мнѣ сказали, Палкинъ какой-то...

— Не Палкинъ, а съ палкой, вотъ она!—и старикъ поднялъ свою палку.

— Что же вамъ угодно, смѣю спросить? — тараща глаза, проговорилъ Гусарчиковъ.

— А угодно мнѣ сказать тебѣ, что я тебѣ палкой бока наломаю. Понялъ? Вотъ при твоёмъ лакеѣ тебѣ это говорю, при немъ же и водить тебя начну. Можетъ, тутъ у тебя еще дармоѣды есть и ты захочешь меня выпроводить, такъ добромъ я отъ тебя не уйду, меня волокомъ вытаскать, убьютъ, можетъ

быть, потому что мнѣ, старику, немного надо, а тебя я все-таки палкой обломаю и харю твою попорчу, а она тебѣ, чай, нужна—ты ею хлѣбъ зарабатываешь. Ну, а если ты будешь умень, толково разговоръ со мной поведешь, я тебя не трону. Садись-ка!

— Странно... Я полагаю... я думаю,—забормоталъ Гусарчиковъ, но сѣлъ, злобно поглядывая на старика.

— Ты зачѣмъ негожія рѣчи про мою дочь распускаешь? — грозно спросилъ тотъ.

— Я... я...

— Ты ее разъ обидѣлъ, тебѣ спустили, такъ ты думаешь, что ее можно и всегда обижать? Врешь! У нея есть отецъ, и тотъ отецъ ея въ обиду не дастъ! Вотъ палкой тебя отваялю да еще и въ судъ стащу! Знаешь ли ты, что за женскую честь такихъ негодяевъ, какъ ты, учать на всѣ лады, и если своимъ судомъ тебя отработать за это, такъ отвѣта не будетъ! У тебя чести нѣтъ, такъ ты и у другихъ хочешь отнять ее? Шалишь, ошибаешься! Вотъ тебѣ мой сказъ: ежели я еще разъ услышу что нибудь такое, тебѣ живому не быть. Понялъ?—Старикъ всталъ. — По глупости твоей я прощаю тебѣ на этотъ разъ, ну, а напредъ, того... смотри, берегись! Слышишь? Прощай пока!

Старикъ пошелъ къ выходу, постукивая палкой, одѣлся, отворилъ дверь и снова, крихтя и охая, спустился съ лѣстницы.

Гусарчиковъ очнулся тогда, когда шаги гостя замерли въ дали длинныхъ сѣней.

— Ты... ты зачѣмъ его пустил?—сжимая кулаки, подошелъ онъ къ своему слугѣ.

— Да помиуйте-съ! я даже и не предполагалъ... я...

— Разъ!—и Гусарчиковъ со всего размаха ударилъ слугу.

— За что же? Что вы деретесь?

— Два!

Малый убѣжалъ, закрывши лицо, а Гусарчиковъ постоялъ, подумалъ и съ бѣшенствомъ сорвалъ съ себя неповинный галстухъ.

XXXIII.

Наступилъ день свадьбы Марины. Когда она, одѣтая въ богатое платье, пріѣхала въ ярко освѣщенную, парадно убранную и наполненную нарядной толпой церковь и была встрѣчена концертомъ лучшихъ въ Москвѣ пѣвчихъ, она, до сихъ поръ не желавшая торжественнаго вѣнчанія, была благодарна отцу

за это торжество, и ей какъ-то отрадно, весело было чувствовать себя въ такой обстановкѣ.

— Да, онъ правъ, мой милый папа, что этотъ день надо отпраздновать особенно торжественно, — подумала она, причемъ чуть замѣтно, но счастливо, радостно улыбнулась встрѣтившему ее Бусову и легкой, поспѣшной походкой прошла на свое мѣсто.

Обрядъ прошелъ чинно и очень торжественно. Когда священникъ надѣлъ кольца, Марина почему-то вспомнила въ эту минуту Гуршина и съ мольбою о немъ подняла взоръ на образъ Богоматери. Этотъ образъ былъ давно знакомъ ей, съ самаго ранняго дѣтства (Марину вѣнчали въ ея приходѣ), и она часто-часто молилась предъ нимъ. Молилась она, призывая силу и терпѣніе, и тогда, когда была невѣстой Акима Осиповича Лоскутникова.

Теперь, вспомнивъ о Гуршинѣ, она невольно обратила свой взоръ къ этому же образу.

— Спаси и помилуй его! — молилась она теперь. — Подай ему силы, дай ему счастье и прости его! Гдѣ-то онъ теперь? — подумала она потомъ. — Знаетъ ли онъ, что я стою предъ аналоемъ съ вѣнцомъ на головѣ?

Ладыжниковъ встрѣтилъ „молодыхъ“ съ хлѣбомъ и солью и, поздравивъ ихъ, обратился къ Бусову:

— Ты, зятекъ, вступаешь въ свой собственный домъ, я дарю тебѣ его со всѣмъ, что тутъ есть, и вотъ ее, дочку мою, отдаю тебѣ. Береги жену и добро! Съ сегодня же ты и хозяинъ всему, а я — вашъ гость. Ребятушки, — обратился онъ къ собравшимся поздравить „молодыхъ“ приказчикамъ, — вотъ вашъ новый хозяинъ, онъ теперь вашъ и глава.

Приказчики почтительно поклонились и принесли поздравленіе, получивъ отъ новаго хозяина приглашеніе откушать хлѣба-соли.

До сего дня старикъ ничего не говорилъ Бусову о приданомъ дочери. Молчалъ конечно и Бусовъ, и только какъ-то недавно попросилъ у старика занятія, опредѣленія на должность приказчика на отчетъ, довѣреннаго или какъ онъ пожелаетъ. Старикъ отвѣтилъ ему на это, что дѣло ему найдется и что онъ безъ хлѣба не будетъ, если пожелаетъ работать. Въ день свадьбы старикъ послалъ къ Бусову своего главнаго приказчика, очень почтеннаго старика, съ порученіемъ вручить ему деньги, назначенныя Маринѣ въ приданое. Ихъ было семьдесятъ пять тысячъ рублей въ бумагахъ. Это превышало всѣ ожиданія не только Бусова, но и Марины, а подарокъ дома и всего дѣла повергнулъ гостей, слышавшихъ

разговоръ Григорія Петровича съ зятемъ, въ глубочайшее изумленіе.

„Ужъ впрямъ не околдовали ли они старика-то?“ — подумали нѣкоторые.

Если чѣмъ и околдовалъ Бусовъ тестя, то лишь своимъ простодушіемъ, откровенностью, трезвымъ, яснымъ взглядомъ на жизнь да добрымъ сердцемъ.

Когда кончился брачный пиръ и гости съѣзжали со двора, толкуя о небывалой и неожиданной щедрости старика, и о счастіи, которое выпало на долю Бусова, кто-то изъ гостей пошутилъ:

— А вдругъ и теперь „молодая“-то убѣжить, какъ въ первый разъ?

— Нѣтъ, не убѣжить! — засмѣялся другой.

Марина не убѣжала.

И потекла тихая, мирная жизнь, полная лучезарнаго счастья.

Между тѣмъ Андрей Ивановичъ Гусарчиковъ былъ страшно обиженъ и огорченъ старикомъ Ладыжниковымъ. Онъ рвалъ и металъ, что называется. У него же въ домѣ (Андрей Ивановичъ считалъ нынѣ домъ Лукерыи Федоровны своимъ) его такъ жестоко обидѣли! Его, имѣвшаго теперь около пятидесяти тысячъ на текущемъ счету въ Купеческомъ банкѣ, его, у котораго свой записанный на бѣгъ рысакъ, его, у котораго въ числѣ знакомыхъ есть пять-шесть человѣкъ, если не золотой, то во всякомъ случаѣ серебряной молодежи! Онъ хотѣлъ было начать судебное дѣло противъ Ладыжникова и вернулъ для этого прогнаннаго лакея, желая выставить его свидѣтелемъ, но адвокатъ, къ которому онъ обратился, тоже его пріятель, посоветовалъ ему дѣла не начинать, а „бросить эту ерунду“, какъ онъ выразился.

— Вѣдь не отколони́матилъ тебя старикъ палкой? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

— Вѣдь только хотѣлъ, обѣщалъ поколотить?

— Только хотѣлъ.

— Ну, и шутъ съ нимъ! А, заведи ты дѣло—огласка, скандалъ. Видишь, я тебѣ безкорыстный совѣтъ даю: вѣдь я бы могъ за дѣло-то сорвать съ тебя, Андрей Ивановичъ, ты долженъ это пѣнить.

— Да ужъ ладно, не безпокойся, не пропадетъ твое! Ну, а какъ онъ опять придетъ, да уже не ограничится угрозой, а и въ самомъ дѣлѣ отдуется? Онъ—старикъ ѣдкій, съ нимъ ничего не подѣлаешь, а начнешь защищаться да еще убьешь

пожалуй такого дряхлаго, того и гляди, дѣло на себя навихляешь уголовное.

— Не придетъ!—успокоилъ адвокатъ.

— А вдругъ придетъ?

— А ты не болтай языкомъ-то, держи его за зубами.

— Всегда правду буду говорить, всегда!—ударилъ себя въ грудь Гусарчиковъ.

— Ишь, рыцарь какой безъ страха, но съ упрекомъ!—посмѣялся адвокатъ.

— Рыцарь тамъ или нѣтъ, а правду скажу. Марина подговорила убить мужа...

-- Ладно, ладно, будетъ! Не убей этотъ сорванецъ Лоскутникова, тебѣ бы пожалуй, Андрей Ивановичъ, такъ не жить! Ха-ха-ха!

Адвокатъ потрепалъ Гусарчикова по начинающему округляться животу, попросилъ у него взаймы двѣсти рублей и въ благодарность за ссуду далъ ему совѣтъ держать пару здоровыхъ парней, которые служили бы ему тѣлохранителями и оберегали бы отъ вторженія мстителей. Гусарчиковъ этому совѣту внялъ и, прогнавъ лакея, свидѣтеля его позора, взялъ вмѣсто него двухъ драбантовъ—одного ввидѣ швейцара, а другого камердинеромъ. Послѣдній помимо силы отличался еще и тѣмъ, что былъ великой руки плутъ; онъ скоро расположилъ въ свою пользу хозяина и вкрался въ полное его довѣріе. Ему-то Андрей Ивановичъ и поручилъ планъ мести Маринѣ Григорьевнѣ и Бусову.

Гусарчиковъ теперь еще болѣе ненавидѣлъ ихъ и, удерживая ранѣ порывы злобы Лукерьи Федоровны, раздувалъ теперь эту злобу такъ, что старуха, все болѣе и болѣе пившая въ послѣднее время и дошедшая до состоянія близкаго къ помѣшательству, снова запылала неукротимой злобой къ Маринѣ и съ восторгомъ приняла планъ Гусарчикова, вполне согласившись помогать ему, т. е. сыграть роль примирившейся, все простившей и принять у себя Марину съ мужемъ.

— Пріѣдетъ она—я надъ нею и потѣшусь! Отлично, Андруша, отлично!—съ дикою радостью заговорила старуха, даже хлопая въ ладоши и сверкая глазами, красными отъ постоянного пьянства.

— То есть какъ натѣшитесь?—спросилъ Гусарчиковъ.

— Да какъ хочу! Въ моихъ рукахъ будетъ, въ моемъ домѣ, что хочу, то и сдѣлаю, свидѣтелей не будетъ.

-- Ахъ, нѣтъ-съ, вы не то-съ!

Гусарчиковъ все по-старому былъ почтителенъ съ „бабинь-

кой“, и эта почтительность много способствовала его благосостоянію.

— А что же?

— Такъ-съ. Такія мѣры употреблять невозможно-съ, потому себѣ непріятность какую ни на есть наживете. Я придумалъ нѣчто другое-съ.

И Гусарчиковъ разсказалъ свой планъ.

„Бабинька“ пришла въ восторгъ и наградила умнаго Андрюшу поцѣлуемъ за эту выдумку.

— Повертятся, будутъ помнить насъ!—со злобной радостью твердила она и заторопила Гусарчикова.

Андрей Ивановичъ немедленно занялся приведеніемъ своего блестящаго плана въ исполненіе, чувствуя, такъ сказать, почву подъ ногами и зная, что здѣсь онъ не проиграстъ. Что касается вопросовъ о низости такой мести и жестокости ея, то они нисколько не тревожили Гусарчикова и, если бы кто нибудь предложилъ ихъ ему, онъ очень удивился бы.

Онъ даже не самъ былъ творцомъ этой выходки, а лишь слѣдовалъ примѣру одного уважаемаго человѣка. Онъ зналъ такой случай: одинъ купецъ, очень богатый человѣкъ, человѣкъ въ лѣтахъ, съ солиднымъ положеніемъ, семьянинъ, такъ же отплатилъ гувернанткѣ своихъ дѣтей за то, что она отвергла его ласки. Онъ подкупилъ горничную положить въ сундукъ уѣзжающей гувернантки нѣсколько цѣнныхъ вещей, принадлежавшихъ его покойной женѣ, и потомъ заявилъ о пропажѣ этихъ вещей. У гувернантки, уже поселившейся на новосельѣ, сдѣлали обыскъ, нашли пропажу, и дѣвушка умерла въ тюрьмѣ, посаженная туда за кражу. Гусарчиковъ зналъ этотъ случай, равно какъ и его автора, предъ которымъ гнули спины сотни людей и знакомство съ которымъ считали за великую честь.

„Умно придумалъ“,—часто разсуждалъ Андрей Ивановичъ и теперь безъ малѣйшаго колебанія взялъ этотъ способъ для отмщенія.

Онъ какъ-то позвалъ своего новаго лакея и спросилъ, знаетъ ли тотъ домъ Бусова, бывший Ладыжникова.

— Какъ не знать? знаю-съ; это тутъ же на Ордынкѣ. Вѣдь Ладыжникова барышня и была за здѣшнимъ хозяиномъ, за покойникомъ.

— Вотъ-вотъ! Не знаешь ли ты кого либо изъ ихней прислуги? Вѣдь теперь вдова-то замужъ вышла и мужа въ домъ къ себѣ приняла.

— Знаю-съ! У нихъ прислуга самая простая; моднаго заведенія, то есть, чтобы лакей, швейцаръ и прочее, нѣтъ... Кучеръ, дворникъ, кухарка, горничная, а вмѣсто лакея парень

жить, по-русски даже одѣвается. Ходить онъ иногда въ трактиръ вотъ тутъ, такъ случилось мнѣ видѣть его. Хозяевъ хвалить, а только видно, что живутъ безъ понятій: то есть люди богатые, а обстановки надлежащей нѣтъ..

— Каковъ парень-то этотъ, про котораго говоришь?—спросилъ Гусарчиковъ.

— Такъ, обыкновенный... Отъ сохи взять или изъ малышейъ лавочныхъ.

— Водку пьеть?

— Не приводилось видать. Придетъ въ трактиръ—чай пьеть, на гармоникѣ играетъ, по своему мужицкому обыкновенію глупому. Вамъ, можетъ, человекъ нужно, Андрей Ивановичъ, такъ я найду-съ хорошаго-съ!

— Нѣтъ, не то.

Гусарчиковъ прошелся раза два по комнатѣ, остановился предъ камердинеромъ и предложилъ ему ради предстоящаго союза папиросу. Она была принята очень развязно. Андрей Ивановичъ въ своемъ новомъ положеніи вообще не умѣлъ взять тонъ, что называется, и то напускалъ на себя высокомерную спесь, то фальшивость.

— Вотъ что я хочу попросить у тебя, Петръ. Если дѣльце мнѣ обмастеришь, такъ я тебя награжу.

— Много доволенъ-съ... Извольте приказывать, Андрей Ивановичъ, сдѣлаемъ-съ.

— Да, ужъ я надѣюсь на тебя. Видишь ли: я хочу отплатить Маринѣ Ладыжниковой за ея каверзы; возьмемъ мы да въ квартиру ихъ, то есть „молодыхъ“-то, новобрачныхъ-то, вещи Лукерьи Федоровны и подкинемъ, кольцо тамъ брилліантовое, сережки, ложки, что ли, еще ну, и серій штукъ пять, шесть... Понялъ?

— Понялъ-съ. А какъ же вы покажете на нихъ, ежели они въ домъ-то Лукерьи Федоровны не бываютъ?

— А ты слушай. Лукерья Федоровна тоже сердита на Марину—вѣдь изъ-за нея Акима-то Осиповича убили; ну, вотъ она тоже желаетъ ей фокусъ устроить и заключить съ нею миръ, то есть, примѣрно конечно; въ гости ее съ муженькомъ позоветъ, а потомъ, когда гости дорогіе уйдутъ, заявленіе о пропажѣ и сдѣлаетъ и на нихъ укажетъ: больше-де некому... Понялъ?

— Понялъ теперь-съ.

— Ну, вотъ. Теперь твое дѣло это оборудовать! Тебѣ надо этого парня подговорить подкинуть имъ вещи въ ихъ отсутствіе, въ комоды тамъ, запрятать еще куда нибудь...

— Такъ-съ... Только вѣдь, Андрей Ивановичъ, онъ пустя-

ковъ за это дѣло не возьметъ. Глупъ, глупъ, а пойметъ, что дѣло-то такое смозговать надо и что оно рискованное.

— А какъ ты думаешь, сколько?

— Да пожалуй менѣе радужной не возьметъ.

— Что же, я дамъ.

— Ну, на угощенье ему соблаговолите синенькую, потому что сразу тоже къ такому дѣлу не подступишь.

— Это что, это—пустякъ!.. Вотъ тебѣ десять рублей, а награду получишь.

— Благодарю покорно-съ! Такъ я нонѣ же и приступаю къ дѣлу-то.

— Приступай! приступай!

Лакей ушелъ, а затѣмъ, дождавшись вечера, одѣлся и отправился въ трактиръ, куда частенько заходилъ парень Бусова попить чайку, проводивъ куданибудь хозяевъ въ гости или въ театръ. Этого парня не было, и лакей, спросивъ себѣ пива, усѣлся одинъ, приказавъ завести органъ.

Лакей чувствовалъ себя въ эти минуты прекрасно. Хозяинъ всегда съ шальными деньгами и даже видимо заискивалъ въ лакеѣ; дѣла мало, жалованье хорошее, и при этомъ еще представлялась возможность жить, а тутъ еще это порученіе, при благополучномъ исходѣ котораго онъ могъ ожидать великія и богатая милости.

И вотъ лакей сталъ раздумывать объ этомъ порученіи.

„Ловко тоже придумалъ! — рассуждалъ онъ. — Барынькѣ это во-какъ влетитъ, первый сортъ! Была въ гостяхъ, случилась тамъ пропажа, пропавшія вещи найдены у нея — натуральное дѣло, она украла!.. И возьмутъ, сердешную... А вѣдь она „молодая“, недавно замужъ вышла. Штука, хуже не надо... Мужу, мужу-то каково, отцу?“

Лакей выпилъ стаканъ пива и крикнулъ.

„Погибель имъ! — продолжалъ онъ мысленно рассуждать. — Ни за что пропадутъ!“

Онъ такъ усердно принялся крутить свой усъ, что даже больно стало.

„И черезъ меня они погибнутъ?.. Оно, положимъ, я не самъ это выдумалъ, а все же... Нѣтъ, это—грѣхъ... Тоже вѣдь умирать придется, а за такую штуку на томъ свѣтѣ такое мѣсто уготовишь, что ой-ой!.. Нѣтъ, ну ихъ! Поручи онъ мнѣ шею комунибудь наkostenять—сколько угодно-съ; ну, а это нѣтъ... И придумали тоже, черти! Это навѣрно все та, старуха-вѣдьма. Ишь, злющая баба!.. Потеряю тамъ рублей сто, а все же не возьмусь, ну ихъ! „Нѣтъ, — скажу, — воля ваша, а такую комиссію править не буду“... Стой, стой, стой!.. — лакей ударилъ

себя по лбу такъ, что сидѣвшая за сосѣднимъ столомъ компанія оглянулась на него. — Придумалъ штуковину!.. Пусть ихъ, не желай людямъ зла, ямы другому не рой. Я получу сто рублей для передачи парню да вещи получу, да три серіи, получу все это, да... хе-хе-хе!.. да и скажу Андрею Ивановичу: „Потерялъ я всѣ эти вещи!.. Выпили съ парнемъ и потерялъ... Ежели угодно, жалуйтесь на меня. Я отъ своихъ словъ не откажусь—потерялъ“. Хе-хе-хе! Не пойдетъ жаловаться, потому дѣло не такое!.. Вотъ это чисто, вотъ это я придумалъ!.. И грѣха нѣтъ, потому я отъ бѣды невинныхъ спасу. Да и куда имъ дѣвать богатство это? Все равно Гусарчиковъ спуститъ все, такъ пусть и на мою долю перепадетъ... Теперь рассчитаецъ сдѣлаемъ: сто рублей для передачи парню да три серіи—двѣсти пятьдесятъ, да хоть вещей на эту же сумму, итого пятьсотъ рублей!.. Петруха, дуракъ, да вѣдь на эти деньги вмѣстѣ съ тѣми, которыя про черный день припасены, портерную можно открыть... Будетъ чужіе сапоги-то чистить, шею гнуть!.. Баринъ поживемъ, хозяиномъ. Машенька тогда съ величайшимъ даже удовольствіемъ замужъ пойдетъ, и заживемъ... Шабашъ, конечно дѣло, такъ и сдѣлаю!“.

Лакей ударилъ по столу кулакомъ и велѣлъ подать еще пива.

На другое утро онъ доложилъ, что парня бусовскаго видѣлъ, нашелъ возможнымъ переговорить съ нимъ съ перваго же раза и все уладилъ; вещи будутъ подкинута въ комнату Марины, когда угодно.

— Вотъ молодецъ! Вотъ люблю!—похвалилъ Гусарчиковъ и далъ Петру двадцатипятирублевую бумажку.—Вотъ тебѣ, Петя, пока, а если дѣльце сладится—получишь еще столько же... Сейчасъ же я тебѣ и вещи доставлю.

Андрей Ивановичъ пошелъ къ старухѣ, сообщилъ объ удачномъ началѣ ихъ замысла и получилъ три брилліантовыхъ кольца, такую же брошь, пару цѣнныхъ браслетовъ и три серіи, номера которыхъ старуха записала. Всѣ эти вещи Гусарчиковъ передалъ Петру.

— Вотъ тебѣ, Петръ, вещи, а ты мнѣ расписочку дай, что будто бы ты получилъ отъ меня эти вещи для отдачи въ починку или на сбереженіе.

Петръ смутился. Онъ не ожидалъ этого, но живо совладалъ съ собою и засмѣялся.

— Нѣтъ-съ, это зачѣмъ же!—сказалъ онъ.

— Такъ, на всякій случай... Тутъ вѣдь, братъ, вещей-то тысячи на двѣ...

„А я думалъ, рублей на двѣсти!“—подумалъ Петръ.

— Нѣтъ, это — не рука-съ, — сказалъ онъ. — Я вѣдь распиской-то въ руки вамъ долженъ отдаться! Какъ же это я вамъ расписку дамъ, а вещи чужому человѣку на домъ подкинуть? Что вы-съ! А ну онѣ пропадутъ?

— Зачѣмъ же? Ихъ найдутъ по обыску-то.

— Да вѣдь могутъ и не найти... Теперь я, стало быть, и съ парня этого долженъ брать записку?

— Да, правда, это неудобно... Хорошо, бери, я на тебя надѣюсь. Но вотъ что: на парня-то этого можно будетъ надѣяться?

— Помилуйте-съ!.. Парень — деревня, простота. Да и куда ему такія вещи дѣвать?

— Конечно! Ну, такъ вотъ... Да, тебѣ еще сто рублей для парня; вотъ получи... Ну, Марина Григорьевна, станетъ намъ затѣя въ двѣ сотни безъ малаго, да ужъ зато будете вы довольны!.. Вѣрно, Петя?

— Чего вѣрнѣе!

— Ха-ха-ха! Онъ когда подкинуть думаетъ?

— Сегодняя и подкинетъ, потому хозяева въ театръ собрались ѣхать.

— Отлично!.. А завтра Лукерья Федоровна письмецо напишетъ... хе-хе-хе... примирительное! Я васъ теперь!.. Я вамъ покажу, какъ Гусарчикова затрагивать!

Андрей Ивановичъ, очень довольный и немного взволнованный предстоящимъ событіемъ, одѣлся, надушился, забѣжалъ проститься съ Лукерьей Федоровной и отправился пробовать недавно купленнаго рысака.

Старуха, проводивъ его, сѣла за составленіе своего лицемернаго, предательскаго письма Маринѣ, которую она собиралась такъ жестоко погубить.

Письмо къ вечеру было готово и отправлено съ нарочнымъ къ Маринѣ. Оно заключало въ себѣ нѣсколько текстовъ Священнаго Писанія о всепрощеніи, о грѣхѣ зла и ненависти и высказывало забвеніе всего прошлаго и искреннее желаніе примириться.

„Мнѣ жить недолго, — заключала злая старуха свое предательское письмо, — и я хочу все забыть, все простить и примириться съ тобою, а потому умоляю тебя пріѣхать ко мнѣ съ мужемъ и съ родителемъ. Пріѣхала бы къ тебѣ первая, но болѣзнь не выпускаетъ меня. Забудь все и утѣшь старуху, хотя за тѣ горести, которыя я перенесла“.

Посланный вернулся и принесть отвѣтъ. Марина Григорьевна кланяются, благодарятъ и завтра будутъ съ супругомъ. Прі-

ѣхалъ бы и Григорій Петровичъ, но не совсѣмъ здоровъ и будетъ послѣ.

Злобно усмѣхнулась старуха, выслушавъ отвѣтъ, и на секунду испугалась. Не своего страшнаго замысла испугалась она, не грѣха, а своей неспособности затаить злобу и выдержать роль примирившейся и все простившей.

„Совладаю какъ нибудь съ собою, затаю на часикъ все, что имѣю, ради того, чтобы послѣ порадоваться на ея горе!“—рѣшила она и послала позвать къ себѣ Андрея Ивановича.

Но Андрею Ивановичу было не до того. Блѣдный, покрытый красными пятнами, съ лицомъ, искаженнымъ отъ бѣшенства, стоялъ онъ въ безсильной ярости предъ явившимся къ нему Петромъ, который сообщилъ, что вещи, а равно и серіи онъ, относя для передачи бусовскому парню, потерялъ, шель, задумался и, должно быть, обронилъ, а быть можетъ, ихъ вытащили у него.

— Врешь!.. Врешь, негодяй, укралъ!.. Укралъ ихъ!—хрипло крикнулъ Гусарчиковъ.

— Нѣтъ-съ, напрасно-съ,—хладнокровно возразилъ лакей.— Потерялъ-съ, воля ваша-съ...

— Убью!.. Подъ судъ тебя отдамъ!.. Въ острогѣ, негодяй, сгніешь!

— Убить невозможно-съ, потому этого въ законахъ нѣтъ-съ, а подъ судъ точно что можете отдать... Что-жъ, воля ваша!.. „Взялъ,—скажу,—господа судьи, вещи доставить для такой-то надобности и, видно, за худое дѣло это Богъ попуталъ—я ихъ потерялъ!“ Пусть судятъ.

Гусарчиковъ задыхался отъ бѣшенства. Дѣлать было нечего; не жаловаться же было на Петра, которому давалось такое порученіе.

— А, мошенникъ, знаешь, что жаловаться не пойду!—прохрипѣлъ онъ, потрясая въ воздухъ кулаками.—Знаешь? Воръ, грабитель! За... за мои благодѣянія!.. Убью!.. Исковеркаю негодяя!..

Онъ было шагнулъ къ Петру съ поднятыми кулаками, но верзила-лакей спокойно отвелъ его руки и молодецки тряхнулъ головой.

— Вотъ что, сударь!—сказалъ онъ.—Вы, коли хотите, за полиціей посылайте, а трогать меня не смѣйте, потому я... сдачи дамъ!

— А, разбойникъ! Ограбилъ, обокралъ... Вонъ! Вонъ изъ моего дома, чтобы и духа твоего не было!

— А какъ же протоколъ-то? Развѣ простить думаете? Не

будете дѣло заводить? Что же, я не отпираюсь, я отвѣчать могу, и парень этотъ мои слова подтвердить.

— Вонъ!..

— Прощаете, стало быть?

— Вонъ!..

— Слушаю-сь, покорно благодарю. Позвольте паспортъ, коли такъ.

— Вонъ! Ничего тебѣ нѣтъ, вору, грабителю.

— Никакъ нѣтъ-сь, такъ невозможно-сь! Паспортъ вы удерживать не имѣете права. Если не отдадите, я самъ въ полицію заявлю; вотъ, скажу, такъ и такъ, самоуправство. Я вѣдь не отпираюсь—потерялъ и потерялъ. Такъ вы или по формѣ поступайте, по суду, или паспортъ позвольте.

Гусарчиковъ выдвинулъ ящикъ бюро такъ, что тотъ затрепалъ, выкидалъ на полъ бумаги, нашелъ паспортъ и бросилъ его на полъ.

Петръ поднялъ и спряталъ въ карманъ.

— Ну, покорно благодарю - съ, за хлѣбъ - соль вашу спасибо. До свиданья-сь! Ахъ, да я и забылъ было! Данный мнѣ двадцать пять рублей извольте получить обратно; вѣдь я вашего порученія не исполнилъ.

Петръ досталъ двадцатипятирублевку и подалъ Гусарчикову. Тотъ схватилъ ее и разорвалъ въ клочки.

— Ишь ты!—покачалъ Петръ головою.—Не жаль денегъ-то чужихъ. Злоба разбираетъ! А каково бы той барынѣ несчастной было, коли бы все уладилось-то? То-то!

Онъ вышелъ изъ кабинета и добродушно, съ сознаниемъ своей полнѣйшей правоты, отправился пить чай, пославъ съ артельщикомъ свои вещи на квартиру и простившись съ прислугой.

Еще не успѣлъ придти въ себя Андрей Ивановичъ и раненымъ тигромъ ходилъ по комнатѣ, какъ къ нему прибѣжала горничная Лукерья Федоровны и передала ему приглашеніе немедленно придти къ „самой“.

— Приду! — простоналъ Гусарчиковъ, и, когда горничная ушла, повалился на постель и принялся рвать свои завитые волосы.

Объясненіе ему предстояло не легкое, но какъ бы то ни было, а идти было надо. Онъ умылся холодной водой, натеръ виски одеколономъ, выпилъ для успокоенія и храбрости три рюмки коньяка и пошелъ.

— Пріѣдутъ! — сіяя злобно-радостной улыбкой, встрѣтила его старуха, видимо клюнувшая на радости.—Пріѣдутъ, Андрюша. Натѣшусь я, отведу душеньку! Садись, выпьемъ, заку-

симъ. Шампанскаго выпьемъ, вотъ какъ я рада! Да что ты такой? Здоровъ ли?

— Ничего-съ!

Гусарчиковъ сѣлъ.

— Наше дѣло, Лукерья Федоровна, не удалось, — сказали онъ наконецъ.

Старуха поблѣднѣла.

— Какъ не удалось? Почему?

— Петръ вещи... потерялъ. Я думаю, что не потерялъ, а укралъ онъ ихъ.

Старуха медленно встала, сжимая кулаки.

— А-а, вотъ что! Укралъ? Петръ укралъ?—произнесла она какъ-то особенно тихо.—Ты, ты укралъ,—вдругъ крикнула она.

-- Лу...

-- Молчать! Ты укралъ! Польстился на брилліанты? Затаилъ? Нарочно эту затѣю придумалъ, грабитель. Обманулъ, одурачилъ!

— Лукерья Федоровна, голубушка, — всталъ Гусарчиковъ, складывая руки, какъ для мольбы,--да провались я на этомъ мѣстѣ, да отсохни у меня языкъ! Зачѣмъ мнѣ? Я облагодѣтельствованъ вами.

— Лжешь, Андрюшка! Укралъ, негодяй, укралъ, нарочно подстроилъ все.

— Господи! Да, хотите, я Петьку верну, онъ признается самъ.

— Вмѣстѣ, заодно! Или укралъ, или... или продалъ меня. Маринкѣ продалъ. Недаромъ все красавицей ее называлъ; польстился и продалъ, съ нея отступного взялъ. Пріѣдутъ вѣдь они, что я дѣлать буду? Варваръ ты, злодѣй ты! Вѣдь... письмо мое у нея, показывать будетъ всѣмъ, хвалиться. Вѣдь я бы милліоновъ великихъ не взяла за то, чтобы такое письмо написать! Злодѣй, предатель! Ахъ!..—старуха схватила за голову, упала на диванъ и съ какимъ-то истерическимъ визгомъ зарыдала.

Гусарчиковъ стоялъ посреди комнаты.

— Лукерья Федоровна, голубушка,—заговорилъ онъ,—вѣдь дѣло поправимое: я завтра самъ все устрою, самъ ей вещи подкину.

Старуха подняла голову.

— Еще? Еще вещей? Да ты... ты душой меня, что ли, считаешь совсѣмъ? Изъ ума я выжила, по-твоему? Одурачилъ, вещи мои укралъ, да еще... Вонъ, сію минуту вонъ! Завтра со двора вонъ. Адвоката возьму, сдашь ему и вонъ! Помнишь, вексель

далъ на двадцать тысячъ, когда я долги твои, негодяй, уплатила? Подамъ его ко взысканію, не уплатишь—засажу въ яму. Пошелъ!

— Лукерья Фе...

— Пошелъ! Или ребятъ кликнуть? Если не укралъ, если правда это, зачѣмъ не уладилъ все, какъ слѣдуетъ? Вѣдь я... я написала ей, осыпала себя, а она... она цѣлехонька будетъ!—старуха схватила со стола бутылку и замахнулась на Гусарчикова.—Вонъ!—еще разъ крикнула она и пустила бутылкой, но Гусарчиковъ уже выбѣжалъ.

Придя домой, онъ легъ на постель, стиснулъ зубы и лежалъ такъ около четверти часа, переживая адскія муки. Онъ зналъ, что старуха не переѣмнитъ своего рѣшенія, не проститъ его, и считалъ себя погибшимъ.

XXXIV.

Привыкнувъ жить наравнѣ съ самыми богатыми молодыми людьми, втянувшись въ эту жизнь съ кутежами, съ поѣздками по „Ярамъ“ и „Стрѣльнамъ“, съ рысаками, съ тысячными шубами, Гусарчиковъ видѣлъ теперь, что приходится отказаться отъ всего этого и ограничиться житьемъ на проценты съ крохотнаго капитала, который кое какъ останется отъ краха. Да даже врядъ ли и останется что.

Гусарчиковъ простоналъ и открылъ глаза.

Надъ кроватью для шика висѣло оружіе. купленное у какого-то прогорѣвшаго барина. Висѣли пистолеты, кинжалы, сабли и тутъ же четыре револьвера.

„Застрѣлюсь!—мелькнула на секунду мысль, но сейчасъ же и улетѣла,—это вѣдь такъ страшно“.

Гусарчиковъ всталъ, прошелся, вынулъ опять коньяка прямо изъ бутылки и сѣлъ.

„Ее, старуху, убить... Убить ее!—вдругъ мелькнула другая мысль.—Будетъ, пожила. Все равно—умретъ скоро, а добро пойдетъ богатымъ родственникамъ. Серіями у нея есть тысячъ на сорокъ; билетовъ съ выигрышами сорокъ штукъ и по одному въ октябрѣ надо получить выигранныхъ двадцать пять тысячъ; кредитными есть двѣ-три тысячи... Много... Хорошо это! Можно жить... На Петра свалить. Прогнали за пьянство, онъ и убилъ. У него и вещи найдутъ, улика. Все помогаетъ мнѣ“.

Гусарчиковъ взглянулъ на часы. Было двадцать минутъ двѣнадцатаго ючи.

— Пора! — проговорилъ онъ и взялъ со стѣны охотничій ножъ.

Ясное, твердое сознание вернулось къ нему; но мысль совершить убійство не оставляла его. Онъ пошелъ, одѣлъ пальто, шапку и галоши.

Обыкновенно Андрей Ивановичъ, приходя къ старухѣ, не докладывалъ о себѣ; горничная пускала его во всякое время и сама убѣгала въ контору большого дома, гдѣ у нея жила тетка съ дочерью. Дѣвушка о ссорѣ ничего не знала, и хотя удивилась немного позднему приходу Гусарчикова, который обыкновенно ходилъ часовъ въ девять, но конечно пропустила его; до его прихода она хотѣла было ложиться спать, уже совсѣмъ собралась, но, соблазнившись явившейся теперь возможностью погулять, захотѣла воспользоваться ею.

— Вы, Андрей Ивановичъ, посидите у барыни? — спросила она.

— Да, побуду.

— Можно мнѣ къ тетенькѣ сбѣгать? Я ненадолго-съ, минутомъ вернусь.

„Надо сперва удерживать, а потомъ отпустить“, — подумалъ Гусарчиковъ и такъ и сдѣлалъ.

— Ну, да ладно, иди! Только не болѣе часа, полутора. Ты не видала тутъ во дворѣ моего Петра?

— Нѣтъ-съ. Да вѣдь вы прогнали его, слышала я.

— То-то и есть! А онъ шляется тутъ, недавно вотъ подъ окнами шлялся все. Не забрался бы, мошенникъ, не обокралъ бы! Воръ—онъ. Ну, иди!

„Когда кончу, зайду къ теткѣ горничной и скажу, что старуха легла спать; дѣвушка, такъ не увидавъ ея, и ляжетъ, а утромъ все падетъ на Петра“, — подумалъ Гусарчиковъ и заперъ за горничной дверь.

— Кто тамъ?—кликнула старуха, услыхавъ шумъ въ передней.

Гусарчиковъ не отвѣчая снялъ съ себя пальто, повѣсилъ его, а спрятанный подъ пальто ножъ засунулъ за голенище сапога.

— Кто тамъ?—снова окликнула старуха.

Гусарчиковъ вошелъ въ ея комнату.

Дукерья Федоровна, видимо приготовившаяся идти спать, сидѣла въ ночной кофтѣ около столика и примачивала виски укусомъ послѣ обильной выпивки. Гусарчиковъ рѣшилъ попытаться прежде умиротворить старуху, попросить у нея прощенья и ужъ послѣ, если это окажется невозможнымъ, привести въ исполненіе свой планъ. Старуха приложила руку щиткомъ ко лбу и взглянула на вошедшаго.

Узнавъ Гусарчикова, Лукерья Федоровна оттолкнула тарелку съ укусомъ и выпрямилась.

— Зачѣмъ?—грозно и злобно спросила она.

— Я...

— Пошелъ, откуда пришелъ! — перебила старуха. — Какъ только у тебя духа хватило войти ко мнѣ? Другой бы послѣ такой низости глаза посовѣстился показать!

— Простите! Я заглажу... Я...

— Убирайся, говорятъ. Видѣть тебя не могу. Эй, кто тамъ есть?

Гусарчиковъ съ отчаяніемъ оглядѣлъ комнату. Приходилось начинать.

— Такъ никогда, никогда не простите? — какъ-то плача воскликнулъ онъ.

— Вонъ, говорю, пошелъ вонъ! Слышишь?

Гусарчиковъ сдѣлалъ два шага впередъ такъ, что между нимъ и Лукерьей Федоровной осталось разстояніе не болѣе аршина.

Старуха удивленно отшатнулась назадъ и вдругъ вскочила, увидавъ выраженіе лица Гусарчикова. Это лицо было страшно.

— Что ты? Куда ты?—прошептала она.

— Къ тебѣ!

Гусарчиковъ ринулся впередъ и схватилъ Лоскутникову лѣвой рукой за плечо, а правою—за горло, но рука скользнула изъ-подъ быстро опущеннаго подбородка старухи и въ пальцахъ этой руки Гусарчиковъ почувствовалъ страшную боль. Старуха схватила его за пальцы зубами, потомъ присѣла, вырвалась отъ него и отскочила назадъ, издавъ пронзительный крикъ.

— Не уйдешь! — прохрипѣлъ Гусарчиковъ, наклонился, не спуская глазъ съ Лукерьи Федоровны, и досталъ ножъ.— Не... не уйдешь!

Старуха крикнула еще разъ, но уже слабѣе, и метнулась въ сторону. Въ стѣнѣ, на томъ мѣстѣ, куда отбѣжала старуха, былъ шкафъ для платья съ полуотворенной теперь дверцей. Старуха бросилась въ этотъ шкафъ, вырвавъ вложенный въ замокъ ключъ, и плотно захлопнула за собою дверцу. Этотъ шкафъ отворялся очень туго и, какъ гардеробъ, не имѣлъ скобки. Захлопнутую теперь дверцу отворить безъ ключа было нелегко, какъ плотно задвинутый ящикъ стола.

Гусарчиковъ ударилъ ногой въ дверь шкафа и испуганно отскочилъ, дико озираясь: ударъ былъ такъ громокъ, что могъ вызвать прислугу изъ другой половины.

Правая рука ныла и прокушенные пальцы причиняли невыносимую боль. Гусарчиковъ досталъ лѣвой рукой платокъ и обвязалъ укушенную руку, а потомъ взялъ ножъ и съ помощью его, работая одною рукой, сталъ отворять дверцу.

Летѣли щепы, но плотно затворенная дверь не отворялась. Время шло.

— Погибло!.. Все погибло!—шепталъ онъ, подсовывая ножъ подъ дверь и ворочая имъ.—Пропалъ... Совсѣмъ пропалъ... Придуть сейчасъ...

Гусарчиковъ началъ стонать, какъ раненый звѣрь, отъ злобы, неудачи и отъ боли въ рукѣ. Онъ употребилъ всѣ силы и, задвинувъ ножъ по самую рукоятку, поднялъ его. Хрупкая сталь хрюснула, и ножъ переломился у самого основанія.

— Охъ!—простоналъ Гусарчиковъ; онъ готовъ былъ зубами и ногтями замѣнить работу ножа.—Выйди!—крикнулъ онъ.—Не трону... Клянусь, не трону... Прости, не губи!.. Христа ради!.. Уйду... Ну, не выходи, только не доноси на меня, прости, пощади... Простишь? не донесешь?—Онъ вскочилъ на ноги и застучалъ кулаками въ шкафъ.—Донесешь, не простишь?.. Такъ я-жъ тебя!.. Я... я сожгу тебя!... Домъ сожгу!..

Изъ шкафа послышался глухой, продолжительный стонъ.

Гусарчиковъ оглянулся.

На столѣ, за которымъ сидѣла старуха, лежали ключи. Онъ взялъ ихъ, попробовалъ которымънибудь отворить дверцу шкафа, однако это не удалось. Тогда онъ быстро сталъ отпирать ящики комода и выбирать изъ нихъ пачки серій, билетовъ, кредитокъ, и разныя вещи. Когда было выбрано все, онъ быстро принесъ изъ передней пальто, одѣлъ его, уложилъ въ карманы невзятые еще пачки денегъ и, взявъ лампу, погасилъ ее. Лишь одинъ уголъ комнаты освѣщался лампадой предъ образами. Гусарчиковъ глянулъ въ этотъ уголъ и дрогнулъ. Сурово и печально глядѣли на него лики святыхъ иконъ, освѣщенные лампадой.

— Прости... прости, Господи! — прошепталъ Гусарчиковъ и брызнулъ керосиномъ изъ лампы на кровать старухи, на положенное около кровати платье и комодъ.

Въ лампѣ керосина больше не было. Дрожа всѣмъ тѣломъ, подошелъ Гусарчиковъ къ лампадкѣ и, зажмуривъ глаза, вынулъ ее изъ бронзоваго вмѣстилища, вернулся къ кровати, зажегъ отъ лампы бумагу и поднесъ къ налитанному керосиномъ бѣлью. Ярко вспыхнуло пламя и съ шумомъ охватило постель.

Гусарчиковъ отскочилъ. Въ ту же секунду распахнулась

дверца шкафа, и старуха съ неописуемымъ ужасомъ выскочила изъ него и ринулась вонъ.

Догоняемый пламенемъ, которое охватило всю комнату, Гусарчиковъ побѣжалъ за нею.

Изъ распахнутой двери на улицу его охватило свѣжимъ воздухомъ, и онъ услыхалъ дикіе вопли и крики выбѣжавшей на дворъ Лукерьи Федоровны.

— Ушла!.. Пропала!..—вскрикнулъ онъ и выбѣжавъ слѣдомъ за старухой, съ рыданіями повалился на спѣгъ.

— Пожаръ!.. Пожаръ!.. Горимъ!—раздались крики.

Хлопнула калитка, зазвенѣли гдѣ-то разбитыя стекла, прокатился звукъ полицейскаго свистка, и черезъ пять минутъ множество народа уже ворвалось во дворъ, а цѣлыя толпы бѣжали къ горѣвшему флигелю. Около воротъ человекъ десять мужчинъ и женщинъ окружили не громко, но истерически рыдающую Лукерью Федоровну, а два дворника вязали кушаками поднятаго Гусарчикова. Отъ него пахло керосиномъ, изъ его кармановъ валились свертки и пачки денегъ, и дворники поняли, что это—поджигатель.

Съ грохотомъ и звономъ подѣхала къ охваченному пламенемъ флигелю пожарная команда, а на темномъ небѣ, мигая и колеблясь, вставало зарево начинавшагося пожара.

На другое утро, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ флигель, чернѣла груда обгорѣвшихъ бревень, а въ одной изъ комнатъ большого дома лежала, окруженная роднею и докторами, Лукерья Федоровна. Въ сосѣдней комнатѣ писали дознаніе два полицейскихъ, а на столикѣ лежали опечатанные деньги и вещи, отобранныя отъ Гусарчикова.

Старуха лежала съ закрытыми глазами и была блѣдна, какъ мертвецъ.

— Священника бы мнѣ! — слабо попросила она.—Умру я, умру безъ покаянія.

Окружающіе стали было уговаривать ее, но она слабо махнула рукой.

— Умру. И пора, и слава Богу... Грѣшная я; задумала невѣсткѣ отмстить, зло носила, только зломъ и жила... Марину бы повидать, простить ее и у нея... у нея прощенье попросить. Можетъ, она не виновата, а виновата—Богъ съ нею... Прощаю всѣмъ все...

Послали за Мариной. Она съ мужемъ уже знала о пожарѣ въ домѣ бывшей свекрови, а къ полудню узнали они и всю исторію.

Марина пріѣхала, когда старуху уже исповѣдали и причастили. Въ чистомъ бѣльѣ, умытая, причесанная, лежала больная

на высоко приподнятыхъ подушкахъ, и уже неземное что-то было на ея блѣдномъ, какъ мраморъ, лицѣ.

Лукерья Федоровна долгимъ-долгимъ взглядомъ поглядѣла на подошедшую Марину.

— Какая пригожая, свѣжая!.. Жить хочетъ, — проговорила она и сдѣлала знакъ, чтобы Марина подошла поближе. — Зло имѣешь на меня?

— О, нѣтъ! — съ ясной улыбкой отвѣтила Марина. — Я сдѣлала вамъ много зла и горя... Простите меня!

— Никто не узнаетъ, умираю вѣдь я, — заговорила старуха шепотомъ, — скажи: изъ-за тебя убили Киму?

— Клянусь, я не хотѣла этого! — проговорила Марина. — О, клянусь вамъ! Своимъ счастьемъ клянусь, счастьемъ мужа.

— Вѣрю, голубка. А была ты вѣрна моему сыну до самой его смерти?

— О, да!

— Вижу, что чиста, непорочна... Прости меня! Хотѣла я, окаянная, погубить тебя и вотъ... Охъ, горитъ!.. Горю, спасите, спасите!

Марина съ ужасомъ отошла отъ постели.

Съ больной начался жаръ, бредъ, она металась по постели и дико кричала.

Среди ночи Лукерья Федоровна Лоскутниковой не стало.

XXXV.

Прошелъ годъ слишкомъ. По кладбищу одного изъ московскихъ монастырей, въ теплый лѣтній день, шла молодая женщина, одѣтая въ изящный костюмъ, въ сопровожденіи кормилицы съ ребенкомъ. Рядомъ съ нею шелъ молодой человѣкъ, читая надписи на могильныхъ крестахъ и памятникахъ.

Это были Марина и Бусовъ.

Павелъ Петровичъ сталъ какъ-то солиднѣе, плотнѣе и, быть можетъ, положеніе, деньги, сознаніе силы и полного счастья придали ему немного самодовольный видъ вполне увѣреннаго въ себѣ человѣка. Съ Мариной произошло не то. Самодовольства въ ней не было, она только дышала вся здоровьемъ и счастьемъ.

Со стороны монастыря шелъ по кладбищу монахъ съ непокрытою головою и въ однѣмъ подрясникѣ, какъ послушникъ, хотя былъ уже не первой молодости.

Бусовъ окликнулъ его.

— Скажите пожалуйста, отецъ, гдѣ тутъ могилы Лоскутниковыхъ?

Монахъ дрогнулъ слегка и поднялъ голову. Его блѣдное, очень благообразное лицо выразило не то радость, не то испугъ и тревогу.

— Боже! Марина Григорьевна!—воскликнулъ онъ и пошелъ навстрѣчу Маринѣ.

— Кто это?—спросилъ Бусовъ, но вдругъ изумленно всплеснулъ руками и произнесъ:—Иванъ Борисовичъ Лоскутниковъ?

— Да, онъ... Смиренный инокъ Іоаннъ нынѣ... Господинъ Бусовъ, супругъ Марины Григорьевны? Помню, помню...

Марина съ изумленіемъ смотрѣла на этого блѣднаго, худощаваго человѣка въ черномъ подрясникѣ, отыскивая знакомыя черты и не находя ихъ. Голосъ только былъ похожъ.

— Боже, какая встрѣча! Какая переменѣна!—проговорила Марина.—Давно вы здѣсь?

— Нѣтъ, но какъ будто давно. Уѣхалъ я тогда въ Сибирь, хотѣлъ работать, деньги наживать и не нажилъ, а только отъращеніе получилъ. И къ нимъ, и ко всему, что до сихъ поръ интересовало меня, получилъ я полное, полное отъращеніе. Захотѣлось забвенія, захотѣлось уйти куда нибудь... И какая все это суета, мелочь все какая!—заклучилъ Иванъ Борисовичъ.

— Что?

— А вотъ все, чѣмъ мы жили и что волновало насъ. Вотъ чѣмъ все это кончится,—и онъ обвелъ рукою кругомъ пространство кладбища, усыпанное надмогильными крестами.

— Да, но вѣдь много и счастья даетъ жизнь, — возразила Марина.

— Да, да, даетъ, даетъ, — поспѣшно согласился съ нею Иванъ Борисовичъ, словно стараясь смягчить свое мнѣніе о жизни. — Но здѣсь все же лучше... Вы пріѣхали поклониться праху Лукерьи Федоровны и Кимы? Пойдемте, пойдемте, я покажу вамъ ихъ могилки... Часто бываю, часто.

Иванъ Борисовичъ торопливой походкой пошелъ по дорожкамъ и привелъ Бусова и Марину къ могиламъ Лоскутниковыхъ, украшеннымъ дорогими мавзолеями и чугунными рѣшетками художественной работы.

— Вотъ,—указалъ онъ.

Марина помолилась отъ души, отъ чистаго сердца, прощая и прося прощенія.

— Вотъ,—повторилъ Иванъ Борисовичъ, кивнувъ на мавзолей:—вотъ люди жили, страдали и кончили жизнь. Зачѣмъ они жили, ради чего умерли?.. Ахъ, жизнь, жизнь!

Онъ низко-низко поклонился и быстро пошелъ къ кельямъ.

Черезъ минуту его черная фигура скрылась за оградой кладбища.

Марина и Бусовъ поглядѣли другъ на друга и пошли. Какъ-то вольнѣе дышалось по ту сторону монастырскихъ стѣнъ и легче, свободнѣе становилось на душѣ.

— Вотъ зачѣмъ и вотъ ради чего и для кого можно и должно жить!—сказала Марина, садясь въ коляску и принимая отъ кормилицы своего ребенка. — Вотъ онъ мой... Для него и буду жить. И я счастлива, и ты, Павелъ, долженъ быть счастливъ... Да?

— Да!—съ убѣжденіемъ сказалъ Бусовъ, и коляска помчалась отъ стѣнъ тихой обители.

К О Н Е Ц Ъ.





2007054490